

Книга-сенсация
американской литературы

Лорен Грофф

ТАЙНЫ ТЕМПЛТОНА

В этом романе есть все, чего ждет от хорошего современного романа даже самый требовательный читатель. Все — и много больше.

СТАНДОН КИНГ

Лорен Грофф
Тайны Темплтона

*Посвящается моим родителям — Джеральду
и Джанин Грофф*

—

«А ведь и верно, мой друг! — вскричал старый Натти Бампо, хлопая себя по коленке. — Не может человек узнать себя, если не знает истоков своих».

Джейкоб Франклин Темпл. Колонисты Темплтона

Кто может отворить двери лица его? Наводят ужас зубы его... Из ноздрей его струится свет, а очи его подобны глазницам утренней зари... Излучает сияние след, что стелется за ним, и уводит сей след в седые глубины. На земле нет ему подобных, кто так же не ведал бы страха. Ничто не укроется от всевидящего взора его, ибо царит он над всеми чадами гордыни.

Библия короля Якова. Иов 41:14, 18, 32–34

Это история сотворения.

Мармадьюк Темпл. Повести американской глуши, 1797

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интересный вымысел... каким бы парадоксальным ни показалось это утверждение... рассчитан на нашу любовь к истине — не на одну только любовь к фактам, что черпаем мы из достоверных имен и дат, но и на нашу любовь к той самой высшей истине, к истине самой природы и незыблемых устоев, к истине, которая является первичным и основным законом человеческого сознания.

Джеймс Фенимор Купер.

Из ранних критических эссе, 1820–1822

Однажды зимой, когда я была уже взрослой и находилась очень далеко от дома, я стала просыпаться каждую ночь со странным ощущением — мне не давали покоя сны, в которых я видела мое тихое маленькое озеро. Я скучала по родным местам так, как скучают по близкому человеку. Из той долгой зимней тоски и родилась эта книга — мне захотелось написать историю о любви к родному Куперстауну.

Для начала я, как прилежная ученица, засела за чтение и проштудировала множество книг об истории города и о творчестве Джеймса Фенимора Купера, ибо нельзя взяться писать о Куперстауне и не написать при этом о Фениморе Купере. Но вот какая любопытная произошла вещь — чем больше я погружалась в факты, тем чаще они срывались с якоря и уносились по течению. Как-то сами собой они начали облекаться у меня в голове в истории, и истории эти постепенно занимали место фактов. У меня менялись даты, рождались дети, которых на самом деле никогда не существовало, исторические фигуры приобретали новые черты, превращались в совершенно новых персонажей и начинали вытворять что-то немыслимое и пугающее. Постепенно я начала замечать, что пишу уже не о Куперстауне, а скорее о каком-то его искаженном, перевернутом отражении.

Поначалу я испугалась, но, к счастью, на помощь мне пришел сам Джеймс Фенимор Купер. В романе «Пионеры» он тоже писал о

Куперстауне, и подлинные факты у него тоже пошли чуточку вкривь и вкось, поэтому он решил переименовать свой город в Темплтон, штат Нью-Йорк. Тогда я перестала переживать по этому поводу и последовала его примеру.

Приблизительно в то же время в дверь ко мне постучались его персонажи и, напросившись в гости, так сказать, присоединились к вечеринке. Пришли ко мне Мармадюк Темпл и Натти Бампо; Чингачгук, и вождь Ункас, и Кора Манро. Собственной персоной явилась даже Почтенная Петтибонс, только вторая часть ее имени заменилась на более смешную — Притибонс. Их приход не был случайным — ведь я выросла на этих персонажах, жила в их обществе, как будто они были настоящими живыми людьми, они-то и сформировали в моей голове мифический образ моего города. Они стали неотъемлемой частью моего Темплтона.

Ведь что такое в конечном счете художественная литература? Это искусство передавать правду посредством вымысла, то есть лжи. В итоге получилась у меня совсем другая история о моем городе, нежели та, что я взялась писать поначалу. Здесь исторические факты стали исходным материалом. Это была попытка поведать совсем другую правду о моем городке у озера, правду, пронизанную таинственностью и магией, что окружала меня в детстве. Такие мифические образы, как Эбнер Даблдэй, и чудовище, живущее в озере, и Кожаный Чулок, и многие-многие другие, мы, местные жители, привыкли считать частичками подлинной истории нашего города. Мой Темплтон похож на Куперстаун, как похожа на дерево отбрасываемая им тень; он принял его очертания, как принимает очертания земной поверхности расстеленная на ней ткань.

Конечно, все персонажи книги по большей части являются плодом вымысла, а любое сходство их с реальными живыми обитателями Куперстауна случайны. Реальные исторические фигуры изменены до неузнаваемости. Я надеюсь только, что этого не произошло с самим городом, местом, которое я люблю всей душой.

Глава 1

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

В день моего бесславного возвращения в Темплтон мертвая туша весом футов в пятьдесят всплыла на поверхности озера Глимерглас. Это был один из тех редких багровых июльских рассветов, когда долина, обрамленная стенами холмов, словно громадная чаша, наполняется густым туманом, а птицы поют так боязливо, будто не могут определить, ночь ли еще или день.

Туман не успел поредеть, когда доктор Клуни, гребя в лодке по озеру, обнаружил это чудовище. Воображаю, как все случилось: лодка бесшумно скользит по воде, мерцая в сумраке красным носовым огоньком, весла с тихим плеском оставляют на водной поверхности расходящиеся круги. И вдруг за спиной у доктора нависает остров, какого здесь никогда не бывало, да и не остров вовсе, а необъятное брюхо дохлого зверя. Старый доктор сидит к нему спиной и поначалу его не видит. Но вот лодка приближается к туше и упирается носом в ее упругую резиновую плоть, как будто кто пальцем ткнул в надувной шар. От толчка доктор обернулся, но, неготовый к такому зрелищу, не сразу понял, что перед ним. Увидев огромный и жуткий глаз, белесый и омертвелый, несчастный испуганно заморгал и потерял сознание.

Когда доктор пришел в себя, предрассветная мгла уже рассеялась, а озерная гладь была в полосах света. Доктор обнаружил, что лицо его мокро от слез, а сам он кружит в лодке вокруг плавающего кверху брюхом зверя. Во рту у него стоял приторно-жженный вкус лакричных леденцов — давно забытый вкус далекого детства. И только когда чайка, опустившись на плоскую челюсть левиафана, спугнула это пришедшее из детства леденцовое воспоминание, только тогда доктор Клуни окончательно очнулся и отчаянно заработал веслами в направлении пробуждающегося города.

— Чудо! — кричал он. — Чудо! Сюда, скорее, смотрите!

А я в тот самый момент брела по парку, что расположен через улицу от Эверелл-Коттеджа, моего отчего дома. Не меньше часу провела я в низине, где город зимой заливают каток, — все собиралась с духом. Пелена тумана

окутывала мой огромный нелепый дом: первоначальная его постройка датировалась 1793 годом, одно крыло относилось к викторианскому 1890-му, другое — к 1970-м, когда представления о вкусе были совсем утрачены. Облагороженный вуалью тумана, дом обретал более внятные формы и казался почти красивым. В бредовых фантазиях я представляла, как увижу в нем мать среди бесчисленных семейных реликвий и тихое привидение, обитавшее в моей детской, — бледные, словно мелом намеченные очертания вроде костей на рентгеновском снимке.

Я чувствовала: призрачный мир распадается, как трещит и лопается нить за нитью веревка, натянутая до предела.

Еще в Буффало, торопливо оглядев себя в душевой, я ужаснулась. В кого я превратилась? Из зеркала на меня смотрела незнакомая мне особа в измятой грязной одежде, с лицом в красных вздувшихся волдырях. Я осунулась, исхудала, распухла, искусанная аляскинской мошкаррой. Мои волосы, наголо остриженные в апреле, теперь отросли и в беспорядке торчали каштановыми клочками. Оголодавший полудохлый птенец, которого собраты выбросили из гнезда за немощность и уродство.

Ночная мгла вокруг начала светлеть. Меня вырвало, но я так и не тронулась с места, даже услышав на Озерной улице звук приближающихся шагов. Я знала, кто это. Бегуны, или, как их еще называли здесь, «молодые побеги» — сплоченная группа нестарых еще мужчин, совершающих каждое утро пробежки по улицам Темплтона в любую погоду: в снег, и в дождь, и в такой вот густой туман. Шаги приближались, я даже слышала, как компания переговаривается, слышала, как эти неугомонные дышат и отплеиваются на ходу. Они вбежали из темноты в круг света одинокого уличного фонаря и, заметив в парке мою фигуру и, возможно, уловив в ней что-то знакомое, но так и не узнав меня издали, все шестеро помахали мне. Я помахала в ответ и долго провожала взглядом нехуденьких крепышей, пока они не скрылись из виду ниже по улице.

И ноги сами понесли меня к дому, к гаражным воротам. Вскоре рука моя уже тянулась к дверной ручке, и из передней на меня пахло запахами соломы, пыли и горького апельсина — запахами моего дома. Я чуть было не развернулась и не пустилась в малодушное бегство. Еще бы! Я не виделась с матерью больше года — у меня не было денег, а она ни разу за все это время не предложила оплатить мне дорогу. Но как бы то ни было, я тихонько проскользнула в дом, надеясь сколько-нибудь вздремнуть, пока она не проснется. Поставив свои сапоги рядом с ее белыми старушечьими ботами, я вошла по передней сначала в кухню.

Вопреки моим ожиданиям Ви почему-то сидела там за столом, перед ней лежал раскрытый «Фриманз джорнал». Профиль ее отражался в стеклянной двери, выходящей на лужайку в два акра, озеро и холмы. Она, видимо, только недавно вернулась с ночной смены: ноги ее отмокали в эмалированном тазике с горячей водой, глаза были закрыты, лицо она склонила над чашкой чая, словно пытаясь отпарить его черты, как-то разгладить их: в ее сорок шесть у матери была дряблая неровная кожа, свидетельствующая о слишком большом количестве наркотиков, принятых в слишком юном возрасте. Плечи ее были понуро опущены, в разъеме расстегнутой сзади на юбке молнии виднелись красные трикотажные трусики и сдобная полоска тела над ними.

Мать показалась мне откровенно старой. Если бы я внутренне не подготовилась к встрече, зрелище наверняка разбило бы мое сердце.

Кажется, я пошевелинулась или шумно сглотнула слюну, ибо Ви повернулась в мою сторону, прищурилась, поморгала, со вздохом провела по лицу ладонью и пробормотала:

— Примерещится же!

Я усмехнулась.

Она снова посмотрела на меня, сосредоточенно наморщив лоб.

— Да нет, как будто не мерещится... Вилли, это и впрямь ты?

— На этот раз не мерещится. Это действительно я. — Я подошла и поцеловала ее в подбородок. От нее пахло больничными антисептиками, но из-под них пробивался другой, ее собственный запах — что-то птичье, напоминавшее теплые пыльные крылья.

Вмиг зардевшись, она сжала мне руку.

— Выглядишь ты ужасно. И с чего это вдруг тебя принесло?

— Ну вот! — Я вздохнула и отвернулась, уставив тоскливый взгляд в озеро, подернутое колечками редющего тумана. Когда я снова повернулась к матери, улыбки на ее лице не было.

— Какого?.. Какого черта? Какого черта тебе здесь понадобилось? — спросила она, с каждым произносимым словом сжимая мою руку все крепче, пока не затрещали косточки.

— О Господи! — взмолилась я.

— Так... — отреагировала она. — Если у тебя что-то стряслось, то следовало молиться раньше.

Только теперь я заметила у нее на груди грубый железный крестик — будто она сходила в Музей ремесел и собственноручно выковала себе там распятие из двух сапожных гвоздей. Я пощупала его и нахмурилась.

— О... Ви, ты что, впала в религию? Ты же хиппи! Забыла? Массовое

верование — такая же паршивая штука...

Она выдернула у меня крестик.

Не твое дело! — И долго еще избегала моего взгляда.

— Нет, Ви, я серьезно. Что с тобой происходит? — настаивала я.

Мать вздохнула:

— Люди меняются, Вилли.

— Люди, но не ты же! — не унималась я.

— Да ты должна радоваться, что я меняюсь, — возразила она и потупилась, словно только сейчас обнаружив меня в своем доме, тогда как я должна была быть на Аляске, в тундре, где круглые сутки полярный день.

Сейчас я должна была рыть носом лишайники в поисках убедительных доказательств того, что человеческая цивилизация существовала более тридцати пяти тысячелетий назад, искать в глубинах вечной мерзлоты какой-нибудь зуб или орудие труда, смазанное тюленьим жиром. И делать все это я должна была под неусыпной опекой доктора философии Праймуса Дуайера и профессора Бартона П. Трэшера из Стэнфордского университета, где через несколько месяцев мне предстояло защитить диссертацию и после этого в новом качестве опять устремиться навстречу жизни, как можно более яркой и ослепительной.

Когда, учась еще на втором курсе, я потрясла мою мать, заявив, что намерена сосредоточить свои яростные амбиции на области археологии, она в первый момент растерялась, затем сказала: «Эх, Вилли, доченька, что же ты собираешься открывать? В этом мире уже до тебя все открыто. Зачем же копать в прошлом? Не лучше ли думать о будущем?»

И тогда я часами взахлеб объясняла ей, какое же это чудо, сдув с находки пыль многих веков, обнаружить, что держишь в руке древний череп, или, откопав кремневый нож, заметить на нем отметины от зубила, оставленные уже давным-давно мертвой рукой. Как и многие те, в чьих душах страсти давно перегорели, улавливают в других порывы эмоций, мать сразу почуяла эту страсть во мне. Ей самой хотелось того же. Археология сулила незнакомый огромный мир, пустыни и тундры, а главное, могла унести далеко-далеко от Темплтона во всяком случае, мне казалось, что матери моей всегда хотелось именно этого. И она честно вкладывала средства в свою мечту, видя дочь бесстрашным открывателем костей и черепков, пробивающим туннель из современности в древность. И вот сейчас, глядя на меня и кривясь от противного жужжания моторной лодки на озере, она проговорила:

— Ох, Вилли, у тебя неприятности. — Это было утверждение, не вопрос.

— Нет, Ви, — отозвалась я. — Я давно уже окончательно запуталась.

— Разумеется. Иначе с какой бы радости ты оказалась здесь, в Темплтоне? Ты и на Рождество-то раз в году с трудом выбираешься сюда.

— Черт возьми, Ви! — Я плюхнулась на стул и уткнулась подбородком в стол.

Мать посмотрела на меня и вздохнула:

— Извини, Вилли, я очень устала. Давай выкладывай, что там у тебя случилось, потом я посплю и мы будем со всем разбираться.

Потупившись, я одним духом выпалила одну из версий в сильно усеченном варианте:

— Знаешь, Ви, кажется, я беременна. И по-моему, от доктора Праймуса Дуайера.

Мать прикрыла ладошкой рот:

— О, святые небеса!

— Прости, Ви, но это еще не все. — Останавливаться было нельзя.

И я поведала ей, как вдобавок пыталась переехать двухместным самолетом его жену, а поскольку та работает у нас в университете заместителем декана по работе со студентами и против меня теперь, возможно, выдвинут обвинения в покушении на убийство, вернуться в Стэнфорд мне не удастся. Я умолкла, чтобы перевести дух, и ждала, сосредоточив взгляд на побелевших костяшках пальцев на руке матери. Это сердитое сопение и злобный прищур через стол я помню еще с детства, когда у нас с Ви доходило до схваток. А пару раз за какие-то особо тяжкие прегрешения она даже треснула меня этим своим с побелевшими пальцами кулачком.

Но сейчас она меня не ударила, зато тишина повисла такая, что я даже слышала, как отбивает время маятник на старинных часах моего деда в столовой. Часам было две сотни лет. Я робко подняла глаза. Ви покачивала головой.

— Что я слышу? — проговорила она, пальцем отодвигая чашку. — Я растила тебя и надеялась, что в тебе не будет изъянов, и вот пожалуйста, из тебя вышла такая же безголовая сучка, как и твоя мамаша! — Лицо ее дергалось и все более багровело.

Я хотела тронуть ее за руку, но она отдернула ее, словно боясь обжечься.

— Мне надо принять таблетки, — сказала она, поднимаясь. — Высплюсь как следует, потом будем думать. — Она поплелась к двери и, не оборачиваясь, бросила: — Да, Вилли, а что у тебя с волосами? Они были такие красивые...

Сказала и вышла. Я слышала, как ее шаги отдавались на каждой скрипучей доске старого дома, а потом на большой лестнице в дальнем конце холла, ведущей в хозяйскую спальню.

Такая прохладца в наших с Ви отношениях появилась лишь в последние несколько лет. Когда я была маленькой, а мать еще очень молодой, мы с ней, случалось, До полуночи играли в карты, хохоча до упаду, после чего я просыпала школу и всякие там дни рождения, когда меня туда приглашали. В городе к нам с матерью отношение было особое — как к последним потомкам его основателя Мармадь-юка Темпла и прямым потомкам великого романиста Джейкоба Франклина Темпла, чьи романы входили в школьную программу старших классов и чье родство со мной до слез умиляло учителей, когда я в том признавалась. Но мы были очень бедны, мать — молодая и незамужняя — слишком помешана на своем макраме и свободных взглядах, поэтому, когда мы выбирались на улицу из своего эксцентричного дома, меня всегда преследовало ощущение, будто мы с ней идем против всего мира. Особенно хорошо запечатлелся в моей памяти один случай (мне было тогда лет десять, Ви, стало быть, как и мне сейчас, двадцать восемь) — я слушала под ее дверью, как она долго плакала, не один час кряду: ей нагрубили в бакалейной лавке. Я всю ночь не спала и представляла себе — вот вырасту большая-пребольшая, настоящая великанша, и пройду по Главной улице, сметая и сокрушая на своем пути наших врагов.

И вот теперь, оставшись на кухне одна, я допила за матерью чай, чтобы хоть как-то растопить кусок льда, забивший мое нутро. Ви была не права — меня тянуло домой. Темплтон был для меня чем-то вроде не самой важной конечности, чем-то таким, что я воспринимала как само собой разумеющееся. Это был мой милый маленький городок с большими старинными особняками и первозданным озером, не городок даже, а большая деревня, где каждый знает всех по имени, но деревня очаровательная, со своими рюшечками и оборочками, делающими ее неповторимой — музеем бейсбола, оперой, громадной больницей, а главное, с этим причудливым смещением сельской простоты и городского лоска. Я приезжала сюда, когда мне было необходимо укрыться в надежном убежище, дать душе отдохнуть, восстановиться — однако этой необходимости довольно давно не возникало.

Сколько-то времени я сидела в одиночестве за столом, наблюдая в окно за воронами, нагрянувшими в огород поклевать овощей, буйно разросшихся на грядках безо всякого присмотра со стороны Ви, но с ее милостивого позволения. Потом моторная лодка, которую мы слышали с

матерью, прожужжала обратно, и вскоре множество других лодок огласили ревом поверхность озера, словно севшая на него стая диких гусей. Охваченная любопытством, я вышла на крыльцо. Холмы, окружавшие озеро, казались отсюда ляжками спящего льва. Я подождала. Вскоре лодки показались снова — все вместе они тащили что-то огромное, бледное, поблескивающее на утреннем солнце.

Забыв об усталости, я понеслась босиком по холодной от росы траве к Приозерному парку. Я промчалась мимо нашего прудика, теперь заросшего тиной так, что он стал больше похож на лягушачье царство, чьи обитатели при моем приближении шумно попрыгали в воду. А мой путь лежал дальше по лужайке, к бетонному мостику через Тенистый ручей, за которым мне пришлось вторгнуться в частные владения миссис Хэрриман, откуда я смогла выскочить на дорогу, ведущую к Приозерному парку, и уже с нее наблюдать за людьми, приближавшимися к берегу.

Я стояла под памятником вождю могикан, самому знаменитому из персонажей прославленного уроженца нашего города Джейкоба Франклина Темпла, и вокруг меня медленно собиралась толпа — люди, которых я знала с детства и которые кивали, узнавая меня, поначалу изумляясь такой перемене в моей наружности, но тут же, смешавшись, умолкали, впечатляясь торжественностью момента. Да и чему было тут удивляться? Темплтон — это город, обросший легендами: и бейсбол, оказывается, придумали здесь; и какой-то окаменелый десятифутовый великан, изъеденный временем, был вырыт из-под земли прямо под старой мельницей. В общем, проще сказать, миф на мифе: среди нас и сейчас живут некие духи прошлого. И к этому дню мы также были готовы. Благодаря мифу, что в нашем озере обитает чудовище. Эти истории мы рассказывали друг другу в детстве в летнем лагере у костра. И городской дурачок Пиддл Смолли, взобравшись на скамью в парке, в штанах наизнанку, как всегда, мокрых — за что и был прозван Зассанцем, — возбужденно вещал всем о том, как в дождливый апрельский день, стоя на мосту над Саскуиханной и глядя на вздувшуюся от половодья реку, он видел: мимо проплыло что-то огромное и ощерилось на него черной гнилой пастью. Тут он обычно начинал верещать, причитая: «Глимми! Глимми! Глимми!»

Почти весь город сбежался сейчас на берег озера. Все наблюдали за тем, как прибывают лодки. Туристический катер «Вождь Ункас» надрывно стонал, борясь с волнами у причала. Из него, напрягая суставы, повыпрыгивали давешние бегуны. Они закрепили канаты, которыми была обвязана пушка, о чугунные крючья в стенах набережной. И пока сюда не

набежали шумливые туристы с вездесущими камерами и пока телевизионщики еще мчались сюда со скоростью девяносто миль в час из Онеонты, Ютики и Олбани, мы, жители Темплтона, имели возможность в тишине и спокойствии поглазеть на свое чудовище.

В тот короткий промежуток времени у нас была возможность разглядеть целиком его гигантскую тушу цвета густых сливок. Цвет местами становился лимонно-желтым. Существо походило на карпа, вымахавшего до невероятных размеров, с толстенным брюхом и круглыми глазками, но с длинной и прямо-таки точеной, как у балерины, шеей и четырьмя плавниками-ножками, пухлыми, как у лягушки. Лодочные веревки врезались в шкуру зверя, и из образовавшихся ран сочилась темная густая кровь. Я выступила из толпы, чтобы потрогать несчастного гада, и моему примеру последовали остальные. Шкура на его брюхе была пористая, покрытая коротким пушком, почти таким же нежным, как у меня на руке, только гуще, и на ощупь напоминала кожу персика. Вопреки моим ожиданиям шкура не нагревалась на солнце и от чудовища веяло холодом, словно оно было не из плоти, а из льда, который, говорят, до сих пор лежит на дне нашего ледникового озера.

Как-то сразу было понятно, даже еще тогда, что это одиночная особь. Складки вокруг глаз придавали морде древнего мертвого озерного жителя какое-то печальное выражение, а сам он распространял впечатление такого скорбного одиночества, что все собравшиеся в то утро в парке ощутили какую-то оторванность свою от мира, несмотря на то что теснились друг к другу в толпе. Позже мы узнали, что, когда водолазам не удалось добраться до дна озера, они начали спускаться туда в батискафах — все искали еще одного такого же зверя — в пару. Но другого они, как ни старались, не нашли, только всякий хлам — ржавые тракторы, пластмассовые буйки и какой-то допотопный фонограф. И еще — сохранившуюся тушку фаэтона с косточками спаниеля в утробе. И множество человеческих скелетов — останки тех, кто утонул или был утоплен насильственно, — разложенных в ряд по хитрой причуде не то течения, не то метафизики, в подводных пустотах шельфа близ башни Короля-рыбака, у мыса Юдифи.

В то утро, коснувшись рукой брюха зверя, я вдруг ощутила тоску. Мне почему-то вспомнилось, как в юности мы с друзьями однажды удрали в полночь на пляж за пирсом и там, хихикая, искупались голышом в темной, с рябью воде, отражавшей звезды, и плавали до середины озера. Ощущение идеальности этого черного пространства ввергло нас в какую-то благоговейную немоту. Я, помнится, задрала голову и начала кружиться в

воде, и звезды над моей головой тоже кружились. Я не чувствовала ни рук, ни тела, только теплую обволакивающую черноту, собственную голову и глаза. И вот сейчас, трогая зверя, я вспомнила, как в ту далекую ночь почувствовала в темных бездонных глубинах внизу под собой что-то невероятно огромное, белое и поющее...

Глава 2

МАРМАДЬЮК ТЕМПЛ

Отрывок из «Повестей американской глуши», 1797

Весной 1785 года я оставил мою семью в Нью-Джерси и отправился путешествовать по бескрайним и унылым просторам Нью-Йорка, чтобы запастись впечатлениями и увековечить свое имя в местах, что принесли мне впоследствии успех и славу. Это было чудесное время, после революции, когда в нашей молодой стране такой человек, как я, бывший безграмотный бочар, мог сделать себя из ничего и прославиться. Путешествие мое было трудным, и на этой земле, еще не отогревшейся после зимы и утоптанной только ее кровожадными коренными обитателями, я был один. Я постоянно чувствовал на себе все глаза леса и спал, зажав в руке нож.

Достигнув наконец края моих земель, я оставил лошадь пастись в зеленой долине, а сам устало полез на гору, чтобы обозреть с высоты места, по каким не ступала нога человека. Лес стоял отрешенный, и я нашел там какие-то неведомые оранжевые грибы, выросшие прямо на узловатых древесных корнях. Сначала я пробирался по густой темной чаще, потом в этом мраке показался пробел, и через поваленные деревья я вышел на свет к краю обрыва.

Внизу передо мной простиралось озеро, обрамленное холмами и сверкающее как стеклянное блюдо. Три ястреба кружили в бледно-голубом небе над взгорьями, поросшими сосняком. Я наблюдал сверху за медведицей с медвежатами, вышедшими из чащи напиться воды. В этой пустынной дикой глуши не было ни ветерка, стояла первозданная благая тишь.

Вот тогда-то взору моему вдруг явился призрачный город на краю озера, настоящий город со шпилями и высокими крышами, с дымами и людской толчеей на улицах. Я опустился на колени среди нетоптанных папоротников и мысленным взором стал вглядываться в этот город, который мне предстояло построить в этих девственных краях, — Темплтон, город великой значимости, огромный метрополис, ни в чем не уступающий Филадельфии или Лондону. И, обводя глазами окрестные

холмы, я видел на них пасущиеся стада, фруктовые сады, виноградники и пшеничные поля. Я воображал, как воздвигну на этом диком месте великую цивилизацию, как из ничего, собственными руками, выстрою здесь город.

Должно быть, я простоял так на том обрыве много часов, потому что, когда я очнулся от грез, колени мои гудели. Поднявшийся ветерок прогнал с моих глаз эту призрачную картину, и ей на смену пришла другая, еще более причудливая — что-то огромное и белое, вздымая волну, проступало сквозь толщу воды, окруженное темным пятном, и потом вдруг ушло в глубину. Позже я понял, что это была туча, отражавшаяся в зеркальной глади озера, но в тот момент картина сия наполнила мое сердце жутью, я ощутил во всем теле слабость, меня охватил озноб, и я затрясся как в лихорадке. Я поднялся с колен и ринулся обратно во мрак чащобы. Только там, под прохладной сенью деревьев, я вспомнил свое первое видение во всем его великолепии — будущий город Темплтон с богатыми урожаями и ремеслами. Ступая по влажному перегною, я поклялся себе, что обязательно вернусь сюда и выполню свою волю — выстрою в этом диком месте город мечты. Гору, откуда я впервые узрел мой Темплтон, я так и назову — Горный Вид, а зеркальное озеро, которым я любовался, будет называться Глимерглас — Мерцающее Стекло. И, бредя среди первозданных дебрей, я воображал себя Адамом, ступившим в новый Эдем. Я был безгрешным и чистым, и взор мой пылал решимостью, и каждый мускул мой был напряжен в предвкушении созидания.

Глава 3

ВИВЬЕН, УМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ

В тряском автобусе, залитом солнечным светом, ехала девочка. Ее щеки были покрыты угревой сыпью, а полиэстровое платье выкрашено в черный цвет в раковине женского туалета на одной из автостанций Среднего Запада. Краска плохо взяла ткань — оранжевые цветочки еще просматривались на волокнах, и цвет получился не черный, а пепельный, а там, где платье плотно прилегало к телу, на коже оставались черные следы, напоминавшие синяки. Впрочем, платье мало где прилегало так плотно, ибо и прилегать было нечему — открытый, на лямочках, топ, пришитый к юбке, такой короткой, что короче некуда. По правде сказать, девчонка напрасно напялила это платье — во-первых, она была для него, что ни говори, полновата, да к тому же отсидела и отбила на ухабах всю попку, пока добиралась из теплого февральского Сан-Франциско на север штата Нью-Йорк, где бушевали ледяные ветра. Только этого холода девчонка, конечно, не чувствовала, так как несколькими часами ранее приняла одну чудесную таблеточку и теперь мирно и сладко посапывала, приоткрыв рот.

Сердитая фермерша, забравшаяся в автобус в Эри, штат Пенсильвания, наблюдала за спящей с негодованием, сосредоточенно проводя языком по верхней десне. Две сотни миль она натужно кряхтела, как курица над яйцом, и наконец припечатала: «Хиппи!» Выпустив таким образом пар, она тут же уснула, причем точно в такой же позе, что и девчонка.

Девчонкой была, конечно, Вивьен, моя мать. Это было начало 1973 года, ей было семнадцать, и она возвращалась домой в Темплтон. В тот момент она была самой честной и искренней, какой ей довелось быть — сначала любимой дочкой из хорошей семьи, по природе бунтаркой, увлекающейся натурой, хиппи из Сан-Франциско, потом матерью, больничной медсестрой, религиозной фанатичкой и преждевременно состарившейся женщиной. Вивьен была человек-луковица — это я заподозрила, нагрянув домой в день, когда всплыло мертвое чудовище. Тогда мне показалось, что ярая баптистка, скрывавшаяся под многими слоями этой луковичной шелухи, как раз и была ее настоящей, едучей, понимающей до слез сердцевиной.

Но тогда, в далеком семьдесят третьем, она была просто девчонкой,

пусть и изрядно нашпигованной таблеточками. Дешевенький оловянный медальон хлопал ее по груди, не знавшей лифчика, в такт трясущемуся автобусу и словно бы в знак сочувствия к новому для нее состоянию осиротелости. Она лишь смутно осознавала, что родители ее почему-то умерли, хотя толком не знала, как и почему, до нее так и не дошло до конца, что их больше на этом свете нет. Когда Вивьен очнулась от сна, первым, что бросилось ей в глаза, были белые здания Темплтона на берегу озера, сбившиеся в кучу, словно готовая злобно зашипеть стая гусей. Вивьен была тогда очень наивна и даже не подозревала, что город вскоре ополчится против нее. «Эта девочка зашла слишком далеко! — станут скоро шептать здесь. — Вы только посмотрите на нее!» По их меркам, она была опасна, эха бунтарка-отщепенка, развращающая детей, ибо благодаря ей и никому другому те узнавали, что такое спиртное, секс и этот неряшливый, неопрятный вид.

Но Ви о таком надвигающемся предательстве пока и понятия не имела, она знала только одно — Темплтон ее город. Она вела происхождение от знаменитого Мармадюка Темпла и считалась прямым потомком как этого великого человека, так и его не менее великого сына, прославленного романиста Джейкоба Франклина Темпла. Этот город был ее родовым гнездом, хотя, будучи хиппи, она вроде бы не должна была верить в подобную чепуху.

Бедная Вивьен. Высадившись из автобуса у старого железнодорожного депо и оттащив на обочину стибренный у кого-то синий чемодан, она и предположить не могла, что здесь не найдется ни единой души, кто подвез бы ее до города. Она просидела там целый час, дрожа от холода, уверенная, что предупредила отца о приезде и что тот подойдет к автобусу. Наконец она вспомнила: автомобильная катастрофа... тот ужасный телефонный звонок во время веселой вечеринки... она упорно думала, что адвокат просто разыгрывает ее, сообщая о том, что ее родителей больше нет в живых.

И вот новоявленная сирота в легком калифорнийском платьице вынуждена была волочить за собой чемодан в гололед до самого центра — по Главной улице, мимо здания городского суда, мимо памятника жертвам Гражданской войны, мимо одинокого подмигивающего фонаря на Каштановой, до самого Эверелл-Коттеджа, отчего дома, где ее не ждали ни свет, ни тепло — никто, одна гнетущая тишина.

Рядом с телефонным аппаратом она нашла записку от адвоката, но слишком устала, чтобы читать ее. Лишь тяжело поднявшись в родительскую спальню, где на большом матрасе остались две одинаковые

вмятины, она наконец поняла, что произошло. Что это хоть и казалось чем-то ложным и обманчивым, но было, как выяснилось, самой настоящей, неизбежной правдой. Проснувшись утром в их постели, она поняла, что родителей по-прежнему нет и что она опоздала на их похороны всего на сутки.

Весь день Вивьен слонялась по дому в тупом оцепенении, словно голова ее была набита шерстью, и впервые в жизни чувствовала себя сиротой. Но она не плакала, как не плакала еще сколько-то лет, пока однажды, разрезая на дольки еще теплый, с грядки, помидор, вдруг не бросила нож и не побежала в родительскую спальню, и там рыдала взахлеб три дня подряд, не поднимаясь даже тогда, когда ее четырехлетняя дочка стояла на пороге, сосала пальчик и совала в красное и мокрое от слез лицо матери коробку с растворимой кашей. Только наплакавшись вдоволь, Ви осушила слезы, счистила с подбородка три присохших помидорных семечка и спустилась на кухню, где продолжила колдовать над гаспачо, приготовлением которого занималась до того, как устроить себе этот маленький перерыв.

Официальная версия смерти моих бабушки с дедом выглядела так: Джордж и Фиби Аптон (урожденная Типтон) погибли в одночасье в автокатастрофе. В некрологе говорилось, что они ехали с очень большой скоростью по Восточному шоссе, когда их машину занесло на скользкой дороге и они полетели в пропасть. Во время падения они сильно побились, получили смертельные ранения и утонули в воде зимнего озера. Джордж был историком, в свое время получил степень доктора философии в Йельском университете и работал научным сотрудником в библиотеке Государственной исторической ассоциации штата Нью-Йорк. Библиотека эта располагалась в старинном особняке, именуемом Домом Франклина, и Джордж называл ее сокращенно ГИАН. Отстроена она была еще Джейкобом Франклином Темплом, выстояла, конечно, все это великое множество поколений, но содержать такую громаду Джорджу оказалось не по средствам.

Джордж был не из тех, кто привык горевать об утраченных состояниях, но его робкая женушка Фиби, заводя любую речь, частенько начинала ее с фразы: «Когда мы были богатыми...» Печально вздыхая, она, например, говорила: «Когда мы были богатыми, хозяин мясной лавки всегда отпускал нам в кредит». Или: «Когда мы были богатыми, мы знали с Рузвельтами». Последнее не имело никакого отношения к ней лично, ибо знакомство с Рузвельтами водили родители Джорджа. В городе у нас считалось, что своего состояния семья лишилась во времена Великой

депрессии двадцать девятого года, хотя есть подозрение, что произошло это скорее по безалаберной непрактичности Джорджа, нежели по какой другой причине.

Сам Джордж нередко говаривал, что меньше всего на свете его волнует презренная прибыль. Он вообще был странным — одряхлел раньше времени, был суров до аскетичности и жил только затхлым духом книжных собраний. Ви не могла припомнить, чтобы он хоть когда-нибудь обнял ее. Но она не обижалась, она понимала его и всегда говорила: «Его же вырастила бабушка, а у бабушки его была только одна страсть — сиротский приют в Помрой-Холле». У Ви вообще зачастую складывалось впечатление, что отец чувствовал себя не бабушкиным родственником, а одним из ее сирот. Его собственная мать утопилась в озере, когда Джордж пребывал в самом нежном возрасте. Отца с тех пор он больше не видел — не пережив горя, тот уехал в Манхэттен и раз в месяц присылал мальчику денежный чек и скупое послание. Но Джордж, как рассказывала мне Ви, был по-своему счастлив. У него, как выяснила Ви по возвращении в Темплтон, была, оказывается, одна-единственная неодолимая страсть, которой он отдавал себя целиком.

Трясаясь в то утро словно в лихорадке в кабинете адвоката, Ви узнала: неумная страсть отца к работе была даже сильнее, чем она могла себе вообразить. В сущности, именно эта страсть, как доверительно поведал ей адвокат, по-видимому, и сгубила ее флегматичного отца, отправив его вместе с женой и «кадиллаком» в пропасть.

— Видишь ли, папа твой был к тому же еще... ну... как бы это сказать, слишком чувствителен к критике.

Вивьен, чертыхнувшись, вынуждена была согласиться, вспомнив, как отец выходил из себя, когда кто-либо позволял себе отпустить пусть даже самое невинное критическое замечание по поводу республиканской партии, Темплтона или его съехавшего в сторону галстука. Адвокат заулыбался, испытав заметное облегчение. Чонси Годд был старым другом семьи и имел привычку произносить слова медленно и нараспев, когда хотел придать им особое значение. А еще он любил пялиться на сиськи — сначала на них и только потом уже на их обладательницу. Сиськи ему, кажется, много о чем говорили. Вот и сейчас он убедился, что эти девчонки-хиппи и впрямь такие раскованные, как о них говорят.

— Вивьен, — произнес он нерешительно, обращаясь не столько к ней, сколько к соскам под ее платьем. — Ты, наверное, слышала... э-э... о книге твоего отца?

Неа, — ответила Вивьен, потрянув упругой девичьей грудкой, отчего

старика бросило в пот. — А он что, написал книгу? Ух ты, ну надо же!

На самом деле она знала про книгу. Она получила ее по почте вместе с пятидесятидолларовым чеком, который ежемесячно ей высылали родители. И даже снизошла до того, чтобы черкнуть отцу открытку. Прочтя целых три главы книги, она-запихнула ее под ножку тумбочки у кровати — чтоб не качалась. Запихнула и благополучно о книжке забыла. Такой забывчивости немало способствовал стоявший на той самой тумбочке кальян, который она курила каждое утро, едва проснувшись.

И вот теперь адвокат оживил ее память. Он сообщил, что отец работал над книгой ни много ни мало восемь лет — начал еще задолго до того, как Вивьен, охваченная бунтарским духом, покинула родной кров, пустившись в свободное плаванье. В книге, как сообщил адвокат, рассказывалось о Мармадьюке Темпле и его позорной тайне. Тайна, по словам адвоката, должна была волновать всех — и Вивьен, и семью ее матери, и всех американских историков. Тут адвокат умышленно замолчал, дабы придать своим речам пущей убедительности.

— И что же это была за тайна? — спросила Вивьен, невольно заинтересовавшись.

Адвокат зычно прокашлялся и пустился в объяснения:

— Твой отец выдвинул гипотезу, что темплтонские предки твоей матери, Эвереллы, вели свое происхождение от внебрачной связи Мармадьюка Темпла и принадлежавшей ему рабыни по имени Хетти. — Адвокат откинулся на спинку стула и впервые за все утро внимательно посмотрел в лицо собеседницы, надеясь увидеть ее реакцию. Он еще не забыл той скандальной шумихи, которая поднялась по выходе книги, и сейчас ожидал прочитать на лице моей матери что-то похожее на потрясение.

Но та лишь изумленно улыбнулась, заметив:

— Ого! Значит, я негритоска.

Пока Чонси Тодд переваривал эту идею, неторопливый мыслительный процесс в головке Вивьен перетек в совершенно иное русло. Личико ее омрачилось, на нем обозначилось выражение разочарования.

— Секундочку! — сказала она. — Если мой папа — потомок старого Мармадьюка, и мама тоже, выходит, это инцест? Так? То есть я, выходит, родилась в результате инцеста?

Вивьен разволновалась. «Ну тогда все понятно. Этим все объясняется», — заключила она про себя, хотя было совершенно неясно, что именно можно тут объяснить.

Озадаченный Чонси Тодд провел рукой по лицу и, снова таращась на ее

грудь, вздохнул.

— Видишь ли, Вивьен, — завел он. — Речь идет, возможно, о пяти поколениях. Так что твои родители состояли лишь в очень отдаленном родстве.

— А-а, ну да... — Она помолчала, затем снова нахмурилась: — В чем же тогда проблема?

У Чонси Тодда возникло ощущение, будто его посадили на разогнавшуюся, потерявшую управление карусель. Зажмурив глаза, чтобы избавиться себя от созерцания сей изумительной, свободной от сбрауи грудки, он, вложив в голос все имеющееся у него в запасе самообладание, объяснил: Мармадюк Темпл, будучи истинным американцем, человеком, собственными руками выковавшим свою судьбу, и квакером, наконец, при всем при этом имел рабов, что само по себе уже было весьма возмутительно. Но еще того хуже — он, женатый человек, вступал во внебрачные связи с рабынями, а это уже настоящий скандал! От этого был ущерб всем, ибо терял в весе идол по имени Мармадюк Темпл. Он оказался совсем не таким, каким его принято было считать. После страстной двадцатиминутной речи Чонси Тодд тяжело дышал, дивясь своему пылу и гордясь красноречием. Открыв зажмуренные глаза, он обнаружил: Вивьен смотрит на него с еще большим недоумением.

— Ну и что? — вымолвила она. — Он тоже был человеком, правда? Никто и не утверждает, что он был богом или еще там кем... А люди иной раз такие гадкие вещи делают. Ну хватит. А то я что-то не понимаю, в чем тут загвоздка.

— Загвоздка, как ты говоришь, в том, что ты здесь в меньшинстве. В подавляющем меньшинстве! Весь Темплтон был этим взбудоражен, и ты должна об этом знать. Темплтон был в расстройстве. И американская научно-историческая общественность тоже. Твоего отца поносили и порицали за такую спекулятивную версию. Его даже хотели уволить из ГИАНа. Будучи его доверенным лицом, я хорошо знаю, как он переживал из-за этого и из-за всех осудительных отзывов в прессе. Переживал и так же, как ты, не понимал, из-за чего весь шум. — И, сокрушенно качая головой, адвокат прибавил: — Он был как слепец. Не понимал, обо что ударился. И поэтому я думаю, что этот несчастный случай с твоими родителями на дороге, возможно, и не был несчастным случаем.

— Знаете что, мистер Чонси Тодд, — сказала тогда моя мать. — Я так не думаю. Я имею в виду все эти родственные связи. Они же не были никогда секретом. И мать моя, и бабушка всегда говорили, что состояли в родстве с Мармадюком Темплом через что-то там незаконное. Что от них

все и пошло. И они всегда гордились этим родством. Только говорили, что не могут его доказать. А мой папочка, как я понимаю, как раз взял и доказал. Так? Но факты от этого не перестали быть фактами. Я имею в виду историю. История — она состоит из фактов, правильно? И что-то меня совсем не тянет во всем этом копать.

В пыльном кабинете, обитом ореховыми панелями, на некоторое время воцарилась тишина. Чонси Тодд подошел к окну и выглянул на улицу. Мимо спортивной трусой проследовала немногочисленная группа молодых мужских особей с молочной белизны ляжками, торчащими из-под рискованно коротеньких шорт.

— Помешались на здоровье, — буркнул презрительно адвокат. Повернувшись к Вивьен, он бросил тоскливый взгляд на ее грудь и снова сел. — Я думаю, Вивьен, с этим на сегодня все. Теперь что касается завещания. — И он достал из папки документ.

Вот тогда-то Вивьен и узнала: родители не оставили ей ничего. Кирпичный особняк с видом на озеро, выстроенный еще ее двоюродным прапрадедушкой Ричардом и дававший долгие годы доход их семье, подлежал продаже для уплаты налогов. Портрет дородного Мармадюка Темпла кисти Гилберта Стюарта, масло, и жалкие портретные потуги романиста Джейкоба Франклина Темпла, уходили из родимых стен Эверелл-Коттеджа в ГИАН в счет уплаты похоронных расходов. Огромная библиотека, включавшая в себя первые издания всех книг Джейкоба Франклина Темпла, почти целиком должна была пойти с молотка для уплаты остальных счетов. Правда, Вивьен могла утешиться, оставив себе на память по экземпляру каждой книги, так как Джейкоб, слава Богу, имел привычку держать по пять копий каждого своего издания, написанных от руки. Драгоценности ее прапрабабушки, Шарлотты Франклин Темпл, тоже шли на продажу, и Ви имела право оставить себе только карманные часики с дарственной надписью их владелице от любящего отца. Сам Джордж еще при жизни передал во владение ГИАНу все наиболее ценные бумаги — карты и письма Мармадюка, записки Джейкоба, в которых тот запечатлел свое восхищение такими людьми, как Эдгар Аллан По, Сэмюэл Морс и генерал Лафайет, и прочие архивные ценности. Ви получала лишь семейную Библию, молитвенник жены Мармадюка и огромную коллекцию бейсбольных раритетов, собранную отцом ее отца Астериском Саем Аптоном, знаменитым бейсбольным комиссионером. Она также могла оставить себе мебель, стоявшую на тот момент в Эверелл-Коттедже. После всего сказанного и сделанного на счету в банке у нее оказалось пятнадцать тысяч долларов — подарок от дедушки ко дню рождения и

остатки от миллионов Мармадьюка.

— Конечно, хорошо, что Эверелл — Коттедж твой, — сказал Чонси Тодд. — Мать сберегла его для тебя.

Вивьен сиротливо смотрела на адвоката. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, и тер переносицу. Трясаясь через всю страну в автобусе, она тайком для себя решила: она все продаст, заберет деньги и купит себе миленький, увитый глицинией домик с видом на океан в Кармеле-бай-зе-Си. Она решила, что станет поэтом — слова, как она всегда говорила мне, пока я росла, были для нее в ранней юности самой притягательной вещью. Несколькими годами позже, когда я училась в классах постарше, она читала мои убогие школьные сочинения и со знанием дела, прямо-таки играючи, переиначивала их, после чего даже эти суконные тексты начинали приобретать некий смысл. В том самом автобусе она в деталях представляла себе свою долгую и безмятежную жизнь в доме у моря, искренне полагая, что работать ей больше никогда не придется. По-видимому, посредством этих мечтаний она пыталась заглушить печаль, точившую ее изнутри, это еще не до конца постигнутое чувство утраты.

Теперь же, в кабинете Чонси Тодда, все стало выглядеть несколько по-другому — ей, по-видимому, придется остаться здесь на какое-то время, чтобы привести эту развалину Эверелл-Коттедж в более или менее приличное состояние, а потом попытаться продать. Но даже тогда денег у нее останется лишь лет на десять относительно безбедной жизни и в месте, куда более скромном, чем то, о котором она мечтала, а потом ей скорее всего придется найти работу, если, конечно, к тому времени она не станет известной поэтессой.

Адвокат смотрел в ее бледное, усыпанное угольной крошкой подростковых угрей личико, и что-то вроде жалости шевельнулось в его душе.

— Денег у тебя, конечно, не много, — заключил он не без сочувствия, — но при разумных тратах тебе хватит на вполне достойную жизнь.

— На достойную, говорите? Великолепно!

Чонси Тодд, не уловивший сарказма, решил, что с ним согласились, и, пялясь на девичью грудь, расплылся в довольной улыбке. В ответ Ви, взявшись рукой за левую грудь, сделала ею дяде «до свидания», после чего, в возмутительном своем платице и туфлях на пробковой платформе, отправилась восвояси.

Вернувшись домой, она долго стояла у окна в гостиной и смотрела на озеро. Снежные демоны кружились вихрями над его ледяной

поверхностью, и сосны в белых шапках наблюдали за ними с холмов. Вивьен почему-то представился Мармадюк Темпл, прелюбодействующий с рабыней, и она рассмеялась.

Потом, все так же стоя у окна, она замечталась. Она то воображала себя милой принцессой в воздушном розовом платье, то ей мерещилось, что она выступает перед восхищенной аудиторией историков: рассевшись на старинных стульях в родительской гостиной, они увлеченно внимают ей и, дымя табачными трубками, то и дело кричат «браво!». После каждого удачного выступления отец нежно гладит ее по щеке, провожая спать. «Девочка моя! Моя умница!» — говорит он. И у этого холодного окна ей почему-то припомнились слова, которые она знала с детства — они всплыли сами собой, словно бы ниоткуда. «Весной 1785 года я оставил мою семью в Нью-Джерси и отправился путешествовать по бескрайним и унылым просторам... — бормотала она себе под нос... Сначала я пробирался по густой темной чаще, потом в этом мраке показался просвет, и через поваленные деревья я вышел к краю обрыва... В этой пустынной дикой глуши не было ни ветерка, первозданная благая тишь. Вот тогда-то взору моему вдруг явился призрачный город на краю озера, настоящий город со шпилями и высокими крышами, с дымами и людской толчеей на улицах. Я опустился на колени среди нетоптанных папоротников...»

Это были слова Мармадюка Темпла, произнесенные им в то сокровенное мгновение, когда он впервые увидел землю, где ему предстояло построить Темплтон. И вот этого смелого, героического, поистине великого человека теперь выставляют закоренелым рабовладельцем. Что за гримаса судьбы!

Ви посмотрела на портрет Мармадюка, что висел над камином.

Не волнуйся, старина. Теперь, когда я знаю про тебя такое, ты мне нравишься даже больше! — Она рассмеялась. Смех ее перешел в хохот и эхом разнесся среди стен холодного дома. Ви хохотала долго и надрывно, даже чуть-чуть описалась. Но вдруг резко умолкла. Сомнений не было: человек на портрете усмехнулся и подмигнул ей. Сочувственно подмигнул.

Пораженная чудесным обстоятельством, Вивьен задумчиво смотрела на портрет. У нее и раньше случались странные видения, но обычно они были вызваны веселящими веществами. А еще в детстве она часто видела привидение, бродившее по Эверелл-Коттеджу. Оно являлось Ви гигантским дрожащим голубем, ронявшим по всему дому огромные призрачные перья. Так что это подмигивание портрета отнюдь не было чем-то находящимся за гранью возможного. Глядя на Мармадюка, она робко улыбнулась ему и подмигнула в ответ. Потом ее замутило, и она

побежала в ванную и там вытошнила съеденные на завтрак консервированные ананасы — все, что удалось найти в кухонном буфете. Ее тошнило еще с утра. И пупок немного раздулся. И месячных у нее последний раз не было.

Вивьен, похоже, была беременна.

Историю моего зачатия я знала еще задолго до того, как научилась говорить. Глаза Ви загорались радостью и ностальгией, когда она описывала, как жила в Сан-Франциско в хипняцкой коммуне, где стилем жизни была, как выражалась сама Ви, «экспериментальная свободная любовь», хотя я всегда воспринимала ее как любовь напрокат, только напрокат задешево. В этой коммуне было четверо мужчин и только три женщины, так что Ви никогда не ложилась спать в одиночестве, а учитывая, что там ошивались еще всякие йоги, художники, ситаристы и оголтелые вегетарианцы, то и они, конечно, со всей радушностью приглашались принять участие в празднике любви.

И было ей только семнадцать, как она сама говорила со вздохом. Откуда она могла знать о каких-то там мерах предосторожности? Весь следующий месяц Ви просыпалась с запахом рвоты во рту, ходила как во сне, ее все время мутило. В общем, о том, что беременна, Вивьен знала еще до того, как сделала анализ мочи.

В день теста на беременность Ви сидела в хлопчатом больничном халатике, ноги ее мерзли на холодном полу. Наконец к ней вышла медсестра, такая же девчонка, года на три постарше, и, стыдливо краснея, не глядя пациентке в глаза, объявила:

— Вы беременны, мисс Аптон.

Беременна, конечно, мной — Вильгельминой Солнышком Аптон, которую хипповая мамаша звала просто Солнышком до двух лет, пока во мне не проснулся дух противоречия и я не перестала отзываться на эту «кличку».

Когда стыдливая медсестра сообщила Ви о беременности, та уже знала: ей придется застрять в Темплтоне. В вязком болоте, которое представлял собой мозг моей матери, все-таки бродили какие-то мысли. Она понимала, что не сможет завязать с наркотиками, если вернется в Сан-Франциско, а здесь, в Темплтоне, раздобыть их будет почти невозможно. Сердце у нее было здоровое, и рожать ребеночка с заторможенным развитием ей вовсе не хотелось. Да и что толку было возвращаться в Сан-Франциско, если она понятия не имела, кто из тех четверых мужчин — да прибавить к ним остальных околачивавшихся в коммуне — является моим отцом. Впрочем, когда я уже родилась, вернее, месяцев через десять с лишним после ее

возвращения домой, она сократила число претендентов до трех. Моя розовая кожа подсказала ей: это не негр. Все это она поведала мне, когда мне было всего два годика и когда я и представить-то не могла, что такое секс. Да, моя мать всегда отличалась откровенностью. И, пока я не подросла достаточно, чтобы получить представление о механике вышеупомянутого процесса, мне нравилась эта идея про трех отцов — тут одному-то будешь рада, так представьте, какое счастье иметь сразу трех!

Однажды меня отправили домой из детского сада за то, что я устроила там конфуз. Миссис Пэррот, сочувственно погладив меня по головке, приколола к моей курточке записку. Мать от души хохотала, когда открепила ее в нашем стареньком «вольво», а дома наклеила в мой альбом. «Дорогая мисс Аптон, — значилось в том послании. — Сегодня Вильгельмина хвасталась перед детьми своими якобы тремя отцами, за что я ее наказала, отправив домой. Старайтесь осторожнее упоминать о своих прошлых неразборчивых связях в присутствии впечатлительных деток. Эти крохи имеют довольно большие уши. Миссис П.»

— Эта целка хоть бы писала поразборчивей, — выдавила мать сквозь смех, когда приклеивала записку в альбом.

Но в тот момент в больнице, щупая свой живот и чувствуя внутри мою слабенькую пульсацию, Ви точно знала: она останется в Темплтоне и будет растить здорового ребенка подальше от гедонистических соблазнов. Она решила, что станет хорошей матерью, а я буду расти здесь в полной безопасности.

Откровенно говоря, эта часть истории всегда казалась мне немного сомнительной, я только не могла понять почему. Я просто слушала и впитывала. И, пока сама не побывала в Сан-Франциско, была очень даже рада, что выросла в нашем маленьком красивом городке. Но потом, увидев этот великолепный раззолоченный город в дымке тумана, я поняла, как убог и провинциален наш Темплтон с его дикими ордами туристов, приезжающих полюбоваться на колыбель бейсбола; наш маленький захудалый Темплтон, где нет даже приличного кинотеатра. Мне было очень жаль, что я не выросла в Сан-Франциско с его трансвеститами в невероятных одеяниях, с его знаменитыми кафе; мне казалось, я была бы совсем другим человеком, если б выросла в таком большом и впечатляющем городе. Я была бы лучше, значительней. В общем, мне мой аквариум показался мал.

Вивьен, должно быть, догадывалась, что я была бы рада более яркому детству. Она могла бы задуматься об этом тогда, когда решила осесть в Темплтоне навсегда. И даже могла бы уговорить себя вернуться в Сан-

Франциско, чтобы дать своему ребенку жизнь, которую наполнили бы запоминающиеся впечатления. Но в ту затяжную холодную весну она была беременна, бедна как церковная крыса, напугана, и нервы ее шалили от слезания с наркотиков — одним словом, тогда она была неспособна задумываться и рассчитывать жизнь на много ходов вперед. Конечно, нетрудно вообразить, какой одинокой и никчемной она чувствовала себя в этом городе из-за отсутствия образования, в городе, повернувшемся к ней спиной. А огромный старый дом и эта внезапно свалившаяся на нее нищета лишь еще более усугубляли ее одиночество. Вот и росла я на просторной зеленой лужайке перед домом, лето напролет играя возле пруда, вырытого еще при моем дедушке неподалеку от центра города. Это была поистине сказочная привилегия, но при всем том одета я была в обноски с благотворительной раздачей при пресвитерианской церкви и уж совсем в трудные времена бегала в «Грейт американ» за уцененным сыром. Я была не кто-нибудь, а Вилли Аптон, потомок знаменитостей, любимица учителей истории, меня каждое лето приглашали на практику в ГИАН и на встречи с известными писателями, но при этом я не переодевалась на уроках физкультуры — по той простой причине, что боялась, как бы кто не увидел плачевное состояние моего белья.

Впрочем, это Вивьен тоже считала полезным для моего воспитания; ее излюбленным педагогическим орудием было немножко сырой морковки вместо пряника и регулярная порция едких назиданий вместо кнута. «Ничего не достигнешь, не приложив хоть немного усилий», — постоянно твердила она и всякий раз на Рождество (в случае с нами — языческое) мне приходилось своими руками делать гирлянды из оберточной бумаги, и только после этого мне разрешалось пойти к моим игрушкам, тоже по большей части самодельным — каким-то допотопным уточкам, выструганным из дерева, и тряпичным куклам, сляпанным некогда черной рукой жертв американского рабства. В шесть лет я училась читать по сборнику Энн Секстон «Превращения» и запнулась на слове «предпоследний». Страдальчески вздохнув и сдув со лба челку, я заявила:

— Не могу это прочесть!

Ви, не отрываясь от вязанья, с невозмутимой улыбкой произнесла:

— А я уверена, Солнышко, — можешь.

— Нет, не могу! — крикнула я и швырнула книгу через всю комнату.

Поджав губы, моя мать встала и удалилась на кухню. Приготовив себе там целую тарелку хрустящих хлебцев, намазанных маслом и медом, она вернулась в комнату и начала неторопливо, с наслаждением поедать их, а когда я, не выдержав, подбежала тоже взять себе один хлебец, убрала

тарелку за спину, открыла книгу и положила ее мне на колени.

Я, конечно, поняла, что она задумала, но упорно отказывалась прочесть слово, бесившее меня длиной и непостижимым коварным смыслом. Поэтому мне пришлось лишь наблюдать, как Ви смачно хрустит хлебцами, закатывая от удовольствия глаза, облизывая пальцы и приговаривая: «Такой вкуснотищи я сроду не ела!» Когда на тарелке остался всего один хлебец, я не стерпела — и выдала вслух несколько собственных версий проклятого слова: «Пре-под-след-ный, пре-дос-плед-ный, пере-пос-лед-ный». Наконец у меня получилось. Мать улыбнулась, протянула мне хлебец, и я жадно смолотила его в ту же минуту.

Кстати, она была права — такой вкуснотищи я и сроду не ела. В те годы, хоть я и осмеливалась с ней спорить и идти против ее воли, она всегда оказывалась права. Мне и в голову не приходило, что она может быть не права — в мои ранние годы мать была единственной моей подругой. А я ее. А потом она отдала меня в детский сад, а сама записалась на курсы медсестер в Онеонте, после чего получила работу в больнице Финча у нас в Темплтоне и мир ее внезапно расширился. У нее появились подруги, они пили с ней кофе, терли свои ноющие спины и жаловались ей на судьбу. Чуть позже, уже в старшей школе, я начала подозревать: некоторые из женщин были ей не просто подругами — особенно те, кто оказывался у нас по утрам в субботу, завтракал ее омлетами и смотрел со мной мультики. Меня настораживали их крутые бедра, голодные обкусанные рты, странные улыбки... Они не догадывались, что я за ними наблюдаю, но я заподозрила кое-какие странности еще задолго до того, как узнала об их существовании. Окончательную точку в моих «изысканиях» поставила сама мать, назвав себя как-то спьяну бисексуалкой, — мне тогда было уже шестнадцать.

Такая вот жизнь была у Вивьен в годы после моего рождения. Она работала медсестрой в отделении неизлечимых больных, скрашивая последние дни потерявшим всякую надежду людям неистощимыми запасами нежности, какой мне от нее почти не доставалось, но я точно знала — она у нее есть, только сидит глубоко внутри. И уже совсем недавно, всего за несколько месяцев до моего бесславного возвращения в Темплтон, она, просыпаясь по утрам, нет-нет да и благодарила судьбу за то, что сумела выжить тогда, в семидесятые. А иной раз у нее было чувство, что она израсходовала всю себя — отдала мне без остатка. В начале своего долгого пути к Христу она проводила многие часы в горячей молитве, пытаясь оградить меня от ужасных ухабов и ям, которые ей виделись на моем пути. Глубоко за полночь она сидела за кухонным

столом, низко склонив голову, и молилась, от всего сердца желая мне успеха. Иногда в этом молитвенном механизме что-то заклинивало, и тогда она ощущала всю хрупкость такой конструкции, как вера в Бога.

А я, находясь на другом конце страны, в Сан-Франциско, где ночами терзала эзотерические трактаты, вдруг отрывалась от текста, словно услышав далекий зов. В такие моменты этот громадный пульсирующий мир представлялся мне коварным и жестоким, вероломные сирены на его улицах, казалось, так и заманивали ловушки смерти и хаоса. В ту зиму после атаки на Нью-Йорк страна погрузилась в угрюмый мрак и замерла в шаге оттого, чтобы ввергнуться в апокалипсис. Наш хрупкий мир повис на волоске, и такую же хрупкость я чувствовала внутри себя. Мне достаточно было лишь легкого толчка, чтобы свалиться в пропасть.

Только зная все о Вивьен, можно, наверное, понять ее состояние в тот день, когда всплыло чудовище, а я вернулась домой. Странных параллелей трудно было бы не заметить — беременность, незамужнее одиночество, в одночасье утраченные амбиции. Мое возвращение в Темплтон было унижительным. Вместе с ним, который раз в жизни, рухнули ее собственные амбиции — погибли как сбитый ударом трости цветок. Да и как еще ей было смотреть на меня в то утро, когда я стояла перед ней, двадцативосьмилетняя дурочка, грязная с дороги, отощавшая, остриженная как мартышка, с разбитым сердцем, с глазами, распухшими от слез? Конечно, она видела во мне только жалкую неудачницу, а уж никак не ту элегантную и успешную молодую женщину, какой она всегда хотела меня считать. Ощущение, что годы прошли впустую, а силы были потрачены зря, в один миг опустошило ее. И я могу себе вообразить, как она в тот момент меня ненавидела.

***ВОТ КАК ВИЛЛИ АЛТОН ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЛА СЕБЕ
СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ***

Хетти Эверелл (рабыня) ← Мармадюк Темпл → Элизабет Темпл (жена)

⋮

{ (В этом промежутке множество поколений, о которых она была лишь смутно слышана; среди них – прабабка с ее секретным приютом, бейсбольный комиссионер, писатель и др.)

Фиби Тилтон
1923 – 1973

брак в 1951 году

Джордж Франклин
Темпл Аптон
1933 – 1973

⋮

Вивьен Аптон
1955 –

(плюс кто-то один из трех хиппи из коммуны в Сан-Франциско)

⋮

Вилли «Солнышко» Аптон
1973 –

Глава 4

«МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ» РАССКАЗЫВАЮТ

Нам нравится бегать трусцой. Мы бегаем вместе уже двадцать девять лет и будем бегать, пока хватит сил. Пока не развалимся на части и не начнем харкать кровью. Пока из нестарых не сделаемся стариками — как когда-то из молодых еще не старыми, про кого говорят «средних лет». Так вот и бегаем. Зимой — под снегом, по скользкому льду. И летом, которое у нас в Темплтоне всегда бывает бархатным. Бегаем по утрам, когда можно спокойно полюбоваться красотой нашего города. Когда он принадлежит только нам, а туристы в своих постелях еще видят сны о бейсболе, Клайдсдейле и гольфе. О, как красив наш город на заре! Он согревает душу, как праздник, — и наша больница с дымовой трубой, похожей на огромный торчащий палец, и озеро, сверкающее словно змеиная чешуя, и Музей бейсбола, и Музей ремесел, и холмы, и наши дома, веером раскинувшиеся в туманной долине, дома, где в это время еще мирно спят наши семьи. Не спим только мы, «молодые побеги». Мы бежим трусцой и любимся всей этой красотой, как любовались ею двадцать девять лет подряд и летом, и зимой, и весной, и осенью.

Иногда мы только молча пыхтим на бегу, а иногда разговариваем — о наших семьях, о наших проблемах.

Например, о том, как средний сын Большого Тома огорчает его, ошиваясь со своими дружками-балбесами в «Тростниковой хижине» в Мушином ручье.

О семейных проблемах Сола, который, будучи женат уже трижды, до сих пор не имеет детей.

О тромбозе Маленького Тома.

О любовных интрижках Дуга.

О дочке Иоганна, которая ни с того ни с сего вдруг стала лесбиянкой, и о том, что подобное, похоже, стало болезнью у этих стриженных современных девчонок.

О нашем острослове Фрэнки и о смерти его родителей. Теперь и шутки его стали горше, они для нас как черный кофе — пьешь его морщась,

стараясь проглотить поскорее.

Да что там говорить! Мы знаем все-все друг о друге, даже то, о чем старались умалчивать. Просто бег помогает нам где выговориться, где помолчать за компанию, бег во всем дает нам утешение. Мы знаем все о делах друг друга, о наших тайных желаниях; мы знаем все, но никому не расскажем. И когда бежим, мы короли этого города, он принадлежит нам. Только мы просыпаемся, когда все еще спят, и, обегая город, храним его. Его верная, неусыпная стража. Всегда вместе и всегда начеку.

Мы были первыми, кто услышал вопли бедного доктора Клуни в то туманное утро. Конечно же, сразу изменили курс и помчались к нему. Мы сразу поверили ему. Взяли веревки, сели в свои моторки и поехали смотреть. И мы увидели его — оно было такое большое, такое белое и такое прекрасное! Дуг, как ни старался, даже не мог скрыть слез. Да разве один только Дуг! И Сол был тронут до глубины души, и Фрэнки, который, наверное, вспомнив о своих родителях, стал вдруг кашлять, чтобы не разрыдаться. Большой Том, и Маленький Том, и Иоганн — они тоже жалобно моргали. Мы словно вдруг обнажили души, словно почувствовали свой возраст. Возраст и одиночество.

Это мы позвали людей, сбегали за другими лодками. Это мы обвязали наше чудо веревками и потащили к берегу. Это мы привязали его к постаменту памятника Натти Бампо и его собаке. Или Чингачгука с собакой — мы толком так и не знаем, кто именно из них увековечен в этой бронзовой статуе. И это мы разбудили доктора Цукермана из выездной биостанции и вызвали Национальную гвардию.

А потом, сделав все это, мы гладили холодную коченеющую шкуру чудовища. И каждый с головокружительной тоской вспоминал давно минувшее детство. Вспоминал залитую солнцем лужайку, кузнечиков и терпкий запах новенькой кожаной футбольной перчатки, древний замшелый валун, аромат жевательной резинки, ласковый ветерок, залетающий под короткие штанишки, гомон озерных гагар и теплое-теплое солнце.

Глава 5

СЕКРЕТЫ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДКА

Чудовище плавало кверху брюхом, и к нему стекалась толпа.

С Главной улицы набежали туристы с сумками, набитыми всякими бейсбольными принадлежностями, с клубными битами и камерами. Они топтались на жарком июльском солнце, пытаясь отдышаться, прихлебывали на ходу кофе, шаркали шлепанцами. Некоторые, не сдержавшись, даже пустили слезу, и другие, глядя на них, тоже начинали всхлипывать — кто громче. В такой толпе щемящее чувство, охватившее было меня, куда-то делось. Скорее всего его просто спугнули. Здесь все были мне очень уж хорошо знакомы — бывшие школьные воздыхатели, отрастившие брюшко и заделавшиеся республиканцами, подружки по девчачьей футбольной команде — их я узнавала теперь с трудом, — старые доктора, знающие вдоль и поперек тайны моего организма. Когда же я увидела, что навстречу мне с распростертыми объятиями и заплаканным лицом ринулся наш директор начальной школы, эдакий лысый гномик, тут я и вовсе не выдержала и бросилась в панике через соседские уголья, по мостику через Тенистый ручей, домой, под надежные стены Эверелл-Коттеджа. Пока еще я не готова была общаться со всеми ими.

Вообще-то в любом городе человек может легко оставаться незамеченным — в этом благословенное преимущество городов. Любых, но только не нашего Темплтона. Здесь все равно как в большой деревне. Здесь всем известно, что я Вилли Аптон, потомок великого рода Темплов, звезда школьных команд по велосипедной гонке и футболу, школьная королева красоты, умница, подававшая большие надежды, без пяти минут великое разочарование всего города. Прислонясь к холодному оконному стеклу, я ждала, когда сердце перестанет трепыхаться в груди, как проглоченная цаплей лягушка. А затем побрела по огромному дому. Поднялась по скрипучим ступенькам мимо вывешенных в ряд портретов многочисленных предков в мою бывшую детскую спальню. Она была частью первоначального старого дома, в ней провела детство и моя мать. С тех пор комната так и осталась нетронутой. Мутно-розовые стены, почти

совсем выцветшие в местах, куда часто заглядывало солнце. Поблекшие пионы на занавесках. Огромная кровать с пологом на четырех столбиках и старинный телефон с круглым диском. Мои девичьи плакаты куда-то все подевались с двери и со шкафов, служившие мне игрушками чучела были аккуратно сложены в старую плетеную колыбель в углу, книги в идеальном порядке выстроились на полках, а все трофеи, упакованные в коробку, отправились на чердак. На всем лежал толстый слой пыли. Со стороны Приозерного парка начал доноситься шум ревушей толпы, и я закрыла ставни.

В этом благодатном сумраке я села на постель. Скинув туфли, подняла голову: в углу было заметно какое-то слабое мельтешение — призрак Эверелл-Коттеджа, это я точно знала. Моей матери оно являлось в виде птицы, мне — в виде размытого чернильного пятна. Его фиолетовые контуры были так расплывчаты и неуловимы, что увидеть их можно было лишь боковым зрением — такой же зрительный отпечаток остается обычно, если долго смотреть на яркую лампочку, а потом перевести взгляд.

— Привет, — поздоровалась я с привидением, стараясь не шевелиться и потупив глаза. — Рада видеть тебя снова.

Я то ли увидела, то ли почувствовала, как привидение приблизилось.

— Вот, вернулась ненадолго, — сказала я. — Надеюсь, ты не против?

В ответ оно посветлело, стало краснеть, а местами даже и розоветь, и вдруг, зыбкое, все исчезло.

Это было доброе привидение. Я жила с ним, пока не уехала учиться в колледж, частенько просыпалась посреди ночи и краем глаза видела, как оно поспешно исчезает — словно до этого момента исправно сторожило мой сон. Я неизменно ощущала его смутное присутствие, набухающее и темнеющее, когда я врала кому-нибудь по телефону или хлопала дверью, была несдержанна с матерью или даже просто ковыряла в носу. Мое привидение почитало чистоту, ненавидело пот, плевки, запахи — в общем, все неприятные отправления человеческого тела. Но по-настоящему оно пригрозило мне лишь однажды — когда, уже будучи в старшем классе, я потихоньку провела к себе потенциального ухажера, с чьей помощью собиралась избавиться от порядком надоевшей мне девственности. Тогда мое привидение, маячившее у нас сбоку, почерневшее до цвета свежего синяка по краям и сильно поблекшее в середине, разрослось до невероятных размеров, заняв собой почти всю комнату. Оно швырнуло нас об стену с такой силой, что чуть не вышибло из нас дух, после чего парень, едва не наделав в штаны, позорно бежал. Когда он в понедельник пришел в школу, одна прядь волос была у него абсолютно седая. Он перестал

разговаривать с девчонками и впоследствии, уже в колледже, окончательно чокнулся, выскочив однажды из шкафа в чем мать родила.

Несколько мгновений я как будто была одна в комнате, но потом, даже с закрытыми глазами, Почувствовала: привидение вернулось.

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — проговорила я, открывая глаза. — Что мне очень и очень грустно.

В ответ, после паузы, трепетание.

— Это все из-за одного парня, — продолжала я. — Вернее, из-за одного мужчины.

Я немного подождала и, когда края моего привидения сердито потемнели, поспешила объяснить:

— Я его ненавижу!

После этих слов привидение приблизилось — темное влажное пятно, от которого веяло анисом и прохладой. Почувствовав вдруг, что очень устала, я прилегла на кровать.

— Да и не одна я такая, знаешь ли. Весь мир предается грусти. Это как вирус. И кончится это заболевание плохо. Ледники тают, озоновые дыры увеличиваются. Террористы взрывают здания, водопроводы заражены радиоактивными отходами. Ужасный птичий грипп передается от голубей людям и убивает миллионы. Даже миллиарды. Люди заживо гниют и мрут прямо на улицах. Солнечная активность растет. А еще голод, каннибализм. Младенцы-мутанты с глазами на пупке. Ужасное это место — земля, чтобы еще рожать здесь. Да, ужасное. Просто ужасное!

Мне вспомнилась моя лучшая подруга Кларисса, оставшаяся там, в Сан-Франциско, больная, свернувшаяся калачиком под одеялом, и ее парень Салли, нежно глядящий ее по лицу, чтобы она уснула. Мне захотелось позвонить ей, но ноги и руки словно окаменели и не двигались. Я задумалась о чудовище и о том комочке плоти, что живет теперь у меня внутри, и постепенно мысли мои дошли до Праймуса Дуайера. И вспомнились мне почему-то просторы штата Нью-Йорк за лобовым стеклом в то раннее утро, какие-то горбатые покосившиеся сараи и вспугнутый машиной олень, мгновенно нырнувший в лес. И как после этой сорокачасовой автомобильной гонки, когда мне все время казалось, что рядом со мной на соседнем кресле сидит, поблескивая круглыми очками, улыбающийся Праймус Дуайер, уже после поворота за Музеем ремесел я увидела выплывший из темноты мой маленький городок, такой добрый и родной, и тогда вдруг почувствовала, как что-то большое и важное во мне начало растворяться и исчезать.

Я вспомнила все это, и глаза мои закрылись сами собой. «Я же должна

быть сейчас на Аляске, искать там следы первого человека, — сказала я себе и, вздохнув, совсем уже с трудом прибавила: — Что я делаю в Темплтоне?» Сказала и уснула.

Мне снился Праймус Дуайер, а когда я очнулась, в мозгу по-прежнему колыхался убогий, унылый пейзаж Аляски. Еще сквозь опущенные веки я почувствовала слабый свет и, открыв глаза, увидела восход, краснеющим полосатым шатром накрывший деревья Приозерного парка. Вот где надо было прятать чудовище от июльского солнца, подумала я. Принимая горячий душ, с мылом и шампунем, я чуть не рыдала от облегчения. Закончив, я посмотрелась в запотевшее зеркало: выглядела я теперь гораздо лучше. Все такая же худенькая, такая же потерянная, но лицо уже не распухшее, и глаза откуда-то появились, и даже какое-то тщеславное чувство, шептавшее мне на ухо, что я не такая уж уродка и по-прежнему весьма хороша собой. И даже мой животик, внутри которого я нащупывала руками живое биение, был по-прежнему плоским.

Я нашла какую-то огромную старую футболку, натянула ее и спустилась вниз. Мать повернулась ко мне из-за кухонной стойки — с сырой куриной грудкой в руках — и слабо улыбнулась.

— Проснулась, моя спящая красавица! — Голос ее был хриплым, точно она сама только что вылезла из постели. — Знаешь, сколько ты проспала? Тридцать шесть часов! Я даже зеркальце тебе ко рту подносила — проверить, дышишь или нет.

— И я дышала?

— Почти нет. — Она нашла брынзой с мексиканскими приправами. — Ты бы только знала, какое событие пропустила. Невероятно! — Она кивнула на телевизор. На экране его репортерша, покрасневшись от возбуждения и восторженно прикладывая руку к груди, другой рукой указывала на чудовище — огромное, желтоватое и расплывчатое, похожее на гигантский кусок подтаявшего сливочного масла. Чуть дальше был виден памятник Последнему из Могикан и его собаке. Приозерный парк. Мать улыбалась и выжидательно смотрела на меня.

— А-а, ты про чудовище? Так я же знаю, — отозвалась я. — Я была там, когда его вытаскивали.

Ви посмотрела на меня с удивлением, нахмурилась, будто я отказалась от подарка, над которым она ломала голову много времени, и вернулась к куриным грудкам. Ее железный крестик позвякивал о стойку. Я повернулась к экрану. Там уже другой репортер начал брать интервью у

какого-то ученого. Снизу в кадре появилась строчка: «Доктор Герман Хван, всемирно известный биолог, специалист по изучению позвоночных». Я прибавила громкости.

Репортер, четко отделяя одно слово от другого, сообщал в микрофон:

— Весь мир с затаенным дыханием ждет, когда станет известно, что же такое жители Темплтона, штат Нью-Йорк, вытащили вчера утром из озера Глиммерглас. Что вы можете сказать нам по этому поводу, доктор Хван?

— Да пока, знаете, не... — замялся ученый, то и дело поправляя на переносице очки. Он заметно вспотел от волнения и от жара направленных на него софитов, на рубашке под мышками темнели влажные пятна. — По правде говоря, мы пока ничего не можем сказать. Ничего более или менее вразумительного. А вообще-то, конечно, это поразительная находка. — Совсем разволновавшись, он часто-часто заморгал. — Просто поразительная и прекрасная! Это поистине исторический день!

— Исторический? — оживился репортер. — Доктор Хван, почему исторический? Объясните, пожалуйста, зрителям.

— Видите ли, Питер, прежде всего таких открытий у нас давно уже не было. В сущности, с 1938 года, когда у побережья Сулавеси в Индонезии местными рыбаками была выловлена особь латимерии. По сути дела, это живой динозавр. Животное, считавшееся исчезнувшим около восьмидесяти миллионов лет назад. И вдруг оно было найдено! Но открытие на озере Глиммерглас, возможно, будет еще более значимым. Просто пока мы не знаем, что это за животное. Оно может оказаться каким-нибудь совершенно новым, еще не изученным видом. Возможно, его даже нет в списке ископаемых животных! — Биолог неловко рассмеялся.

— Да-а, это поистине невероятно! Профессор Хван, а вот один из наших зрителей спрашивает, можно ли считать эту находку так называемым недостающим звеном? Что вы думаете по этому поводу? — с важным видом вопрошал репортер.

Пока биолог собирался с мыслями, задумчиво шевеля губами, моя мать очень тихо проговорила:

— Солнышко, мне нужно сказать тебе кое-что.

Я ждала, что она скажет дальше, но она молчала. Биолог же наконец подал голос.

— Прошу прощения, — уточнил он. — Но недостающее звено между чем и чем?

— М-м-м... — растерялся репортер. — Между, как я понимаю, рыбами и... не рыбами. Так, наверное.

Биолог потер мокрый лоб. На груди его тоже проступил пот.

— Э-э... я, правда, не знаю, что это такое, но может быть. Еще очень рано о чем-либо говорить.

Репортер поблагодарил ученого, и камера отъехала. Далее последовало интервью другого репортера с мэром нашего города, дородным мужчиной, известным своим пристрастием ко всяким расписным тросточкам и непомерно коротким шортам, а еще не просто громким, но прямо-таки оглушительным голосом, от которого, казалось, вздрагивала земля.

— У нас, жителей Темплтона, — пророкотал он, — всегда существовал миф о чудовище, живущем в озере Глимерглас. Мы так и зовем его — Глимми. На протяжении многих лет эти истории привлекали сюда туристов, которые, сидя у костров, рассказывали их друг другу...

Тут моя мать, перепачканной брынзой рукой выключив телевизор, решительно заявила:

— Вильгельмина Солнышко Аптон, ты меня слышишь? Мне нужно поговорить с тобой.

— О Господи! Я минуты три уже жду, что ты хоть что-нибудь скажешь!

— Не поминай имя Господа всуе, — одернула она меня.

— Ви!.. — вздохнула я. — Ты можешь сколько угодно верить в Господа и все такое, но это не означает, что ты будешь мне назидать и цепляться к моим словам.

— В моем доме правила устанавливаю я. — Она уселась за стол, разложив перед собой куски сырого мяса и сыр. — Это правило номер один. Теперь правило номер два — пока мы не разрешим твои проблемы, которых ты сама себе нахватала, ты не будешь сидеть целыми днями в доме и киснуть. Ты меня слышишь?

— Слышу, — буркнула я, теребя тигровую лилию в вазе.

— Ты займешься делом. Пойдешь поработаешь в ГИАНе. Я не сомневаюсь, в Национальном американском музее обрадуются новой порции черепков. Начни какие-нибудь раскопки. Почитай лекции... я не знаю... устройся в Музей бейсбола. Или обрядись в старинное платье и отправляйся в Музей ремесел, поучись вязать веники. В общем, историку есть чем заняться. Можно придумать что-нибудь подходящее, пока ты не сможешь вернуться в Стэнфорд.

— Знаешь, Ви, — ответила я, — не люблю тебя огорчать, но, я считаю, возвращение в Стэнфорд не обсуждается.

— Это мы поглядим. — Она покосилась на меня. — А пока займись чем-нибудь. Иначе совсем раскиснешь. Я вот могу тебе предложить помыть вместо меня больничные утки. Меня бы такая помощь устроила. —

Она улыбнулась, и лицо ее на мгновение помолодело. — Да и тебе трудовые заботы не помешают.

— Видишь ли, Ви, я люблю тебя, однако утки мыть не буду. Никогда.

— А я считаю так — если ты живешь со мной, то, боюсь, у тебя нет выбора. — Она вздохнула, потеряла лоб, и рот ее повис в унылой складке. — Вилли, я просто не могу в это поверить. Не могу, и все. Я же возлагала на тебя такие надежды. Я хотела, чтобы у тебя получилось все, что не могло получиться у меня, потому что не была такой умной, такой красивой, как ты. В пятнадцать лет я сбежала из дому, не желая доучиваться в школе, как меня заставляла мать. И вот мой печальный итог.

— Да все ты правильно делала, Ви! — Я попыталась ее утешить, но вдруг поняла: мне больше нечего ей сказать.

Далее последовала тягостная болезненная тишина, в которую вторгались лишь крики толпы из парка, кваканье из лягушатника и мерное тиканье дедушкиных часов в столовой. Потом мать сказала:

— Ну что ж, когда-нибудь я охотно выслушаю твою историю полностью — когда ты созреешь. Возможно, смогу помочь. К тому же покаяться в грехах само по себе полезно — это облегчает душу.

Я потупилась, уставив взгляд на свои руки. Молниеносной вспышкой в памяти мелькнула картина — красные блики от брезентовой палатки на моем спальном мешке, густой пушок на руке Праймуса Дуайера, пустая бутылка из-под виски. Я передернулась, прогоняя воспоминание.

— Знаешь, Ви, я не думаю, что это надо рассказывать, — откликнулась я. — Ничего хорошего нет в той истории. Правда, нет ничего хорошего.

— Ну разумеется. Теперь ты думаешь именно так. Но ничего, все образуется, вот увидишь. — Она похлопала меня по руке, оставив на моих пальцах хлопья тертого сыра. — Мне больно видеть тебя такой, Вилли. Куда подевалась твоя энергия, твой задор? Вид у тебя просто жалкий.

— Знаю. Моя энергия застыла маленьким комочком посреди аляскинской тундры.

— Еще бы. — Лицо ее озарилось каким-то нежным светом, и она добавила: — А все-таки я рада видеть тебя дома.

Вздохнув поглубже, она закрыла глаза и продолжила:

— Я говорила, что мне нужно многое тебе рассказать, и сделаю это. Я все откладывала, и сейчас, возможно, не лучший момент, но чем дольше скрываю от тебя правду, тем больше лжи между нами. — Пристально глядя на меня, она теребила на груди крестик.

— Что именно? Что ты хотела сказать? Говори! — Я уже начинала нервничать.

— Дай мне минутку, Вилли. Это не так просто.

— О Господи! Наверняка что-то ужасное.

— Это с какой стороны ты на все посмотришь. Только сначала, Вилли, я должна извиниться за то, что врала тебе столько времени. Ты готова?

— Нет.

— Ладно, все равно слушай. Я лгала тебе, Вилли, когда говорила, что у тебя три отца. Отец у тебя один, он живет в Темплтоне. Почтенный гражданин, и у него есть семья. Я не знаю, известно ли ему о твоём существовании. Нет, он, конечно, знает о твоём существовании, только... вряд ли знает, что принял участие в твоём появлении на свет. Я просто уверена: он не подозревает о том, что ты его дочь. Как и ты понятия не имеешь, что он твой отец. Просто поделился спермой, только и всего.

Я тупо моргала. Мать вдруг заметно просветлела и улыбнулась:

— Ты не представляешь, какое это счастье — сказать после стольких лет правду!

— О Господи! — опять простонала я.

— Я тебя предупреждала — не поминай его имя всуе. Это правило номер один.

— Потаскушка! — не сдержалась я.

— Так лучше.

— Потаскушка, потаскушка!..

— Я тебя понимаю.

Я отвернулась к окну и стала смотреть на озеро. Дикая утка чинно плыла, похожая на старую даму в купальном чепчике.

— Но ты хоть знаешь, кто этот человек, который якобы является моим отцом? — спросила я наконец, все еще глядя в окно.

— Может быть, — отозвалась мать после некоторого раздумья. По ее удовлетворенной усмешке я поняла: она ожидала от меня худшей реакции.

— Ну и кто он?

— А вот этого я не могу тебе сказать.

Я уставилась на нее.

— Не можешь — или не хочешь?

— Не хочу. Это было бы нечестно по отношению к нему.

— Нечестно?! Ничего себе!

Ваза с тигровыми лилиями почему-то не разбилась о стену, как я того хотела, а глухо стукнувшись об нее, упала на пол. Из нее вылилось немного воды, но лилии остались на месте. Рвать и метать было бессмысленно — мне сейчас требовалось что-то другое.

— Значит, говоришь, нечестно? — в ярости заорала я, навалившись на

стол.

Схватившись руками за крестик, мать закрыла глаза. Открыв их снова, она уже улыбалась.

Да укрепит тебя Господь, Вилли. — Она смотрела на меня с умильной кротостью, и на кухне у нас запахло жженой плотью горящего на костре мученика.

— Только не надо разыгрывать передо мной святошу! — вскричала я. — Не надо, Ви. Я тебе все равно не поверю! Ты лицемерка! У меня в Темплтоне живет отец, и я даже его знаю, и ты целых двадцать восемь лет это от меня скрывала! Двадцать восемь лет ты заставляла меня верить, что я родилась в результате разнuzданного блуда, творившегося в какой-то там хиппняцкой коммуне. И теперь ты не хочешь сказать мне, кто он! Ну нет: больше я не позволю тебе меня иметь! Теперь ты расскажешь мне все про свою жизнь! Все до капельки! Поняла?

— Я же попросила у тебя прощения... — Она беспомощно теребила косу.

— А ты не подумала, Ви, об одной простой вещи? Что, если я встречалась с его сыном? Ты, может, не знаешь? Я встречалась с половиной школы. Боже! А что, если я встречалась с ним самим?!

Рассмеявшись, моя чертова мать продемонстрировала железную выдержку.

— До поступления в колледж ты не имела привычки путаться со старыми мужиками.

— Нет, ты просто ужасная женщина! — в гневе воскликнула я.

— Прости, не сдержалась. А вообще-то все это не смешно, и торговаться мы с тобой не будем.

— Кто он? — требовательно спросила я.

— Ты же знаешь, я не могу тебе сказать.

— Кто он?

— Никто.

— А если я угадаю?

— Не угадаешь.

Угадаю.

Нет! А если и угадаешь, я этого не подтверждаю.

— Стало быть, я его знаю.

— Может быть.

— Ну дай хоть подсказку!

— Ни за что!

— А как же обещания не врать, не держать от меня секретов?

— Это мое вранье и мои секреты.

— Ну вот что, Вивьен Аптон, черт тебя подери! Ну-ка быстро дай мне какую-нибудь подсказку! Можешь считать это епитимьей за то, что всю жизнь врала своей единственной дочери относительно ее папочки. А хочешь, называй это снисхождением, или Божьей правдой, или как там тебе больше нравится.

— Нет, моя милая. Я баптистка, а не католичка. И прекрати поминать имя Господа всуе.

— А ты дай мне хоть какую-нибудь чертову подсказку, и я перестану упоминать твоего чертова Христа всуе, черт возьми!

— Ладно. Но только одну. Это ничем не чревато, потому что ты все равно никогда ничего не докажешь. Сам он говорил мне это только однажды, и это просто досужие домыслы. Так что получи свою подсказку, только она тебе не поможет.

— Боже мой! Да говори же!

— Ладно, ладно. Ты ведь знаешь, что мы ведем свое происхождение от Мармадьюка Темпла по двум линиям — по Аптонам и Эвереллам?

— Конечно, знаю.

— Так вот он утверждал, что тоже вел свое происхождение от Мармадьюка. Была там, дескать, у кого-то внебрачная связь. Я не собираюсь рассказывать тебе в подробностях все, что он говорил мне, скажу только: ты, Вилли Аптон, ведешь свое происхождение от Мармадьюка Темпла по трем линиям. Только представь — по трем!

Мать раскраснелась и тяжело дышала. После паузы она вытаращила глаза, плотно поджала губы и, откинувшись на спинку стула, стала выжидательно смотреть на меня, вдруг сообразив, что наделала. Могу себе представить улыбочку на моем лице в тот момент. Ведь эта тайна, которую она старательно хранила целых двадцать восемь лет, все эти годы сжигала ее изнутри. Я-то знала, как она всегда гордилась своим происхождением — гораздо больше, чем хотела это признать. Когда она растила меня в одиночку, мысль о великих предках согревала ее, давала ей сил, из-за этого она в общем-то и осталась в Темплтоне. И вот сейчас, освободившись от своей тайны, она наблюдала, как та, словно демон, вприпляс уходит от нее прочь.

Наконец спохватившись, она сказала:

— Только вот что, Вилли, не вздумай ничего раскапывать. Ты ведь не будешь?

— Дорогая моя Вивьен, — отозвалась я, — ты забыла, кто я по профессии. Раскапывать — как раз мое дело.

— Пожалуйста, не надо.

— Знаешь, Ви, ты сейчас не в том положении, чтобы просить меня об одолжениях. Ни сейчас, ни потом.

— О Боже! Я вижу, ты этого так не оставишь!

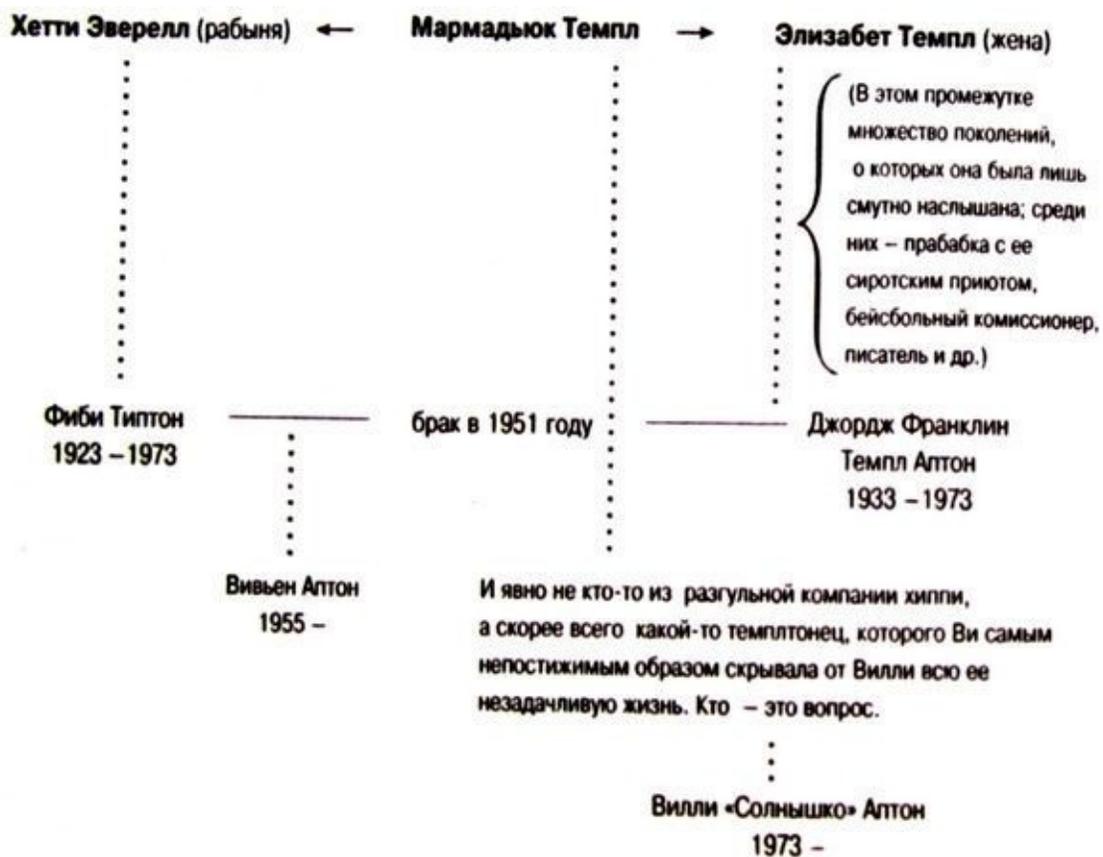
— Ну да. Упрямая натура, да накипело в душе порядком.

— Ой-ой-ой!.. Что я наделала! — забормотала она в сложенные чашечкой ладошки.

— Да. А что ты, кстати, наделала? На вопрос, кто он, ты мне пока не ответила. — Я вдруг поняла, что устала от этого разговора. Я вытянула вверх руки и почувствовала в животе живое биение. — Ну вот что, Ви, — сказала я. — Я, кажется, нашла, чем буду заниматься. Это ж вроде твое правило номер два. Хорошее правило, скажу я тебе. Трудно мне будет, понимаю, но в себе я уверена.

Мать поднялась из-за стола, бормоча что-то себе под нос, и снова занялась куриными грудками, время от времени бросая на меня косые взгляды. Когда она мыла салатные листья с огорода, я вышла на крыльцо и стояла там, наблюдая за сгущающимися сумерками. Я любовалась желтенькой абрикосовой луной над раскинувшимися ляжками холмов и слушала отголоски оркестра в ночном клубе, разносившиеся над озером как совиное уханье. А наш маленький Темплтон, казалось, притих и затаил дыхание. В парке на набережной, судя по видневшемуся отсюда мерцанию, устроили свечное бдение. И я в этой густеющей ночи представила себе чудовище — как оно плавает, подсвеченное этими огнями, и мелкая рябь озера лижет его бока.

***ВОТ КАК ВЫГЛЯДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИЛЛИ АПТОН
О ЕЕ РОДОСЛОВНОЙ ПОСЛЕ ПЕРЕСМОТРА ТАКОВОЙ***



Глава 6

ВОЛЧЬЯ НАПАСТЬ

Несколько часов после ужина я собиралась с духом, чтобы позвонить Клариссе. Разбудить ее я не боялась — у них там в Сан-Франциско даже еще не стемнело. И я не боялась, что она будет ругать меня за то, что я сама себе устроила. Боялась я другого — что пропала на целых два месяца, торчала на этой дурацкой Аляске, где в тундре ни одного телефона, и за все это время ни разу не поговорила с ней, хотя получила от нее два длиннющих душевных письма. Я боялась, потому что по ее голосу всегда мгновенно определяла, как у нее дела, — боялась, что расстроюсь, если окажется, что они идут плохо. Боялась понять по ее голосу, что состояние моей тридцатиоднолетней подруги далеко от поправки, боялась, что не перенесу этого в моем нынешнем состоянии. Вот и сидела я на постели с допотопным дисковым телефонным аппаратом на коленях и, застыв, тупо смотрела на него часами.

С Клариссой я познакомилась в нашем гуманитарном колледже в первый же день моего первого осеннего семестра, когда на двадцать минут раньше положенного пришла в старую обсерваторию со скрипучими полами на занятия французской группы, которые вознамерилась посетить. Открыв дверь, я прямо-таки испугалась, увидев преподавателя с какой-то девчушкой — я приняла ее за его дочку. Миниатюрная, с пружинистой белобрысой шевелюрой, одета она была во все цвета радуги. С порога мне показалось, что этой девочке лет десять, не больше. Они разговаривали, но обернулись, когда я вошла.

Девочка говорила на удивление глубоким грудным голосом:

— Вот напугала! Я чуть со страху не умерла! Да ладно, чего стоишь? Заходи!

Преподаватель блаженно улыбался, глядя на нее с обожанием.

Я подошла ближе. По смышленным озорным глазам и манере держаться я поняла, что она гораздо старше, чем мне показалось.

— Это профессор Серже, а я Кларисса Ивэнс. Мы беседуем о Жорж Санд. Второстепенная писательница, на мой взгляд, просто в этом семестре мы проходим «Индиану». По второму кругу. — Она подмигнула преподу,

и тот хихикнул. Кларисса, добродушно мне улыбнувшись, добавила: — А ты, значит, новенькая. Садись рядом, будешь у меня списывать.

Но я, насупившись, села не рядом с ней, а напротив.

— Вилли Аптон, — представилась я как можно более холодно. — Вполне справлюсь сама.

Личико ее несказанно оживилось, и она, подмигнув мне, радостно крикнула:

— Ага! Храбрая, значит! Вот это мне нравится! — В этот момент дверь открылась — в аудиторию начали заходить студенты.

Суждения Кларисса высказывала блестящие, но ее французский оставлял желать лучшего, тут даже преподаватель был бессилён — все старался подавить улыбку, стоило ей лишь открыть рот. С занятий в тот день мы шли вместе и смотрелись, наверно, жутко смешно: я, тощая каланча, и маленькая Кларисса, — эдакие цапля и беспрестанно дымящий сигаретой попугайчик.

С тех пор мы везде были вместе — и на занятиях, и в столовой с ее друзьями, среди которых не было ни одного тупицы. Я даже переехала в соседнюю комнату в общежитии, когда девушку, жившую с ней в одном блоке, исключили из колледжа за приторговывание спиртным. Кларисса поражала меня — она сшибала ряды за рядами в кегельбане и непринужденно цитировала Ницше, могла таскаться пешком по восемь часов подряд и не ныть и делала маникюр лучше, чем в любом салоне красоты, оставляла на сигаретах красные кольца губной помады, роняя вокруг себя окурки как цветок лепестки. Она обходила стороной всякие дразги и сплетни, но друзей своих, исключительно из любви, передразнивала постоянно. Никто не обижался, наоборот, всем было весело. Шутки у нее всегда были такие плоские, что я каждый раз и смеялась и морщилась одновременно. А когда она увела у меня парня, Салли Берда, то с милой улыбкой сказала мне: «Ну вот, одну птичку уже поймала» — и предоставила мне цеплять остальных. В мужской гребной команде она была рулевым, и по реке то и дело разносился ее голос: «Ну давайте же, вы, суки, поднажмите!» И они давили на весла что было сил, потому что это была Кларисса. И занимали первые места на соревнованиях.

Собравшись съездить домой в Темплтон на День благодарения, я, уже готовая, с дорожным рюкзачком, заглянула к ней в комнату. Она лежала на постели среди бедлама и читала, явно никуда не собираясь.

— Кларисса! — позвала я. — Ты когда уезжаешь?

Не отрываясь от книги, она ответила:

— А я не уезжаю, я здесь остаюсь.

— На День благодарения?! Ты что? Куда это годится?

— А что такого? Домашние разносолы меня не интересуют. Мне их там никто не приготовит.

— Бог ты мой, подружка! — воскликнула я. — Решено! Ты едешь со мной в Темплтон!

Пришлось ее, конечно, уламывать, но в итоге она поехала. По дороге я видела, как поражали Клариссу нищета и убогость северного Нью-Йорка — какие-то заброшенные сараи, торчащие из мерзлой земли словно китовьи ребра, трейлеры, запрудившие шоссе, и призрачные городишки, сплошь состоявшие из обшарпанных ветхих домов Викторианской эпохи. Мне показалось, она уже начала жалеть, что поехала в Темплтон, — наверное, уже представляла себе какой-нибудь уписанный кошками диван, на котором ее уложат, и жуткий сквозняк, от которого ей придется дрожать всю ночь. Вообще единственной вещью, раздражавшей меня в Клариссе, было ее непомерно расточительное отношение к деньгам, позволявшее ей тратить на прическу никак не меньше сотни баксов и питаться одним только бельгийским шоколадом. Вот я и решила еще побольше припугнуть ее, наплетя, что мой двоюродный братец Билли-Боб (на самом деле несуществующий) непременно захочет покатать нас на своем снегокате. А еще объяснила, за что мою бабушку (тоже несуществующую) прозвали Выпивохой — за то, что она якобы открыла свою первую пивную банку в девять лет. Открыла с утра и продолжала в том же духе весь день, нимало не беспокоясь тем обстоятельством, что время от времени валялась на полу в полной отключке и только успевала повернуться на бок, чтобы поплевать. Весь север штата Нью-Йорк вымирает — так объяснила я Клариссе и рассказала, как мы с друзьями потешались над названиями окрестных городов: Сиракузы — Сирые Кузи, Олбани — Долбани, Онеонта — Ой-Не-Он-Ты.

Кларисса только успевала удивленно морщить лоб, но, когда мы, обогнув озеро, въехали в Темплтон и она увидела старинные особняки и сверкающие чистотой улицы, наводненные толпами восторженных туристов, прямо-таки просветлела и оживилась.

— Вот так сюрприз! — удивленно сказала она, повернувшись ко мне. — Какой изумительный город!

— Ну да, довольно милый, — засмушалась я.

— Нет, не милый, а просто идеальный!

Кларисса и моя мать мгновенно поладили — Ви даже оставалась с нами полуголодать с пирожными и винцом и много смеялась; я в жизни не

видела ее такой веселой.

Благодарение в тот год выдалось на редкость снежным, и, когда мать однажды дежурила в ночь, мы с Клариссой отправились на праздник огней в Музей ремесел. Там в сугробах были вырыты чаши, в них мерцали огни, подсвечивавшие эти снежные шары изнутри золотистым светом. В свежем морозном воздухе пахло кедровой стружкой и сладковатым потом лошадок, катающих нас в санях. Перезвон бубенцов сливался со звуками скрипки, несшимися из таверны Шермана, где всю отплясывал народ, и с веселыми воплями ребятишек, затеявших бой снежками.

Потолкавшись в народной аптеке, мы с Клариссой потом долго стояли там на крыльце, любясь стилизованной под старину деревней. Только что мы нанюхались всяких целебных снадобий — пиретрума, тисового бальзама, прополиса, сушеной ивовой коры; мы щупали модель человеческой головы и разглядывали черных жирных пиявок, ползавших по дну аквариума. Аристабулус Мадж, подрабатывавший здесь смотрителем — а вообще он был городским аптекарем, — добродушно наблюдал за нами, склонив голову набок, а потом вручил нам ароматные лавандовые мешочки для белья.

На-ка вот бери, Вилли Темпл, — сказал он мне, по своему обычаю назвав меня такой фамилией.

И я, как всегда, притворилась раздосадованной:

— Вилли Аптон.

— Да называй как хочешь, — продолжил он и, по заведенному, хитровато мне подмигнул.

Когда мы вышли, Кларисса вздохнула:

— Я чувствую себя какой-то фифой. Чудно, правда?

Я посмотрела на ее дорожные сапоги, джинсы за три сотни баксов и улыбнулась.

А потом сказала то, о чем думала в тот момент и что прозвучало не менее чудно. Сказала я следующее. Когда у людей закончится нефть, как пророчит мой преподаватель экономики, когда вся наша инфраструктура развалится и мы не сможем обеспечивать себя привычными товарами, нам всем придется прийти в этот Музей ремесел и начать осваивать заново давно забытые и жизненно важные искусства. И я лично буду этому очень рада.

— Наш мир самодостаточен! — Говоря, я была так возбуждена, что, конечно, не видела, какую рожу скорчила тогда Кларисса. — В этом музее целый кладезь забытых знаний. Здесь делают все — обувь, бочки, колеса, метлы; ткут полотно. Здесь можно научиться животноводству и народной

медицине. Это место что-то вроде запасного генератора, поддерживающего культуру. Когда рухнет цивилизация, мы можем просто приехать в Темплтон.

И только дойдя до финальной пламенной речи и посмотрев на Клариссу, я поняла, что разозлила ее.

— Вот обязательно тебе надо все испортить! — С этими словами она спрыгнула в сугроб и зашагала прочь. Маленькие красные помпончики у нее на шапке сердито подскакивали.

Перед отъездом, когда мы прощались, моя мать сжала руками лицо Клариссы.

— В этом доме для тебя всегда найдется комната.

— Ви! — в ужасе одернула я мать. — У Клариссы своя семья.

Ви на меня даже не посмотрела. Поцеловав Клариссу в лоб, она сказала что-то очень тихо, что-то вроде: «Сироту сирота видит издалека».

Уже позже, в машине, на въезде в Массачусетс, я, не сводя глаз с ледяной дороги, попросила:

— Скажи мне, Кларисса... скажи, что нашептала тебе моя мать?

Ответила она не сразу — молчала еще миль пятнадцать. Потом, закурив сигарету, хотя я никому не разрешала курить у меня в машине, выдохнула дым в приоткрытое окошко и проговорила:

— Все правильно она сказала.

И, не переставая смотреть в окно, она рассказала мне, что была единственным ребенком в семье; престарелые родители, преподаватели по профессии, души в ней не чаяли. И однажды, когда ей было почти шестнадцать, они всей семьей поехали в путешествие по Норвегии. На Дороге троллей ее отец подогнал взятый напрокат «вольво» к краю скалистого обрыва — хотел пофотографировать. Пока родители любовались сказочным видом, Кларисса отошла за дерево пописать.

Когда она вернулась, родителей не было. Фотокамера аккуратно стояла на краю обрыва. На последнем снимке запечатлелись их улыбающиеся лица на фоне расстилающегося внизу фьорда — фото отец сделал с расстояния вытянутой руки.

Кларисса металась, звала их, но они не откликались. Она стала громко кричать — ответом ей было насмешливое эхо.

Скалы внизу тщательно обыскали, но тела так и не были найдены. Кларисса вернулась в Коннектикут одна. Необходимые дела устроились сами собой. Она получила деньги по страховке, продала дом и большую часть мебели, и на руках у нее оказалась внушительная сумма. Но из родных у нее никого не осталось и не к кому было податься погостить на

праздники.

Когда мы уже подъехали к стоянке перед общагой, она повернулась ко мне и сказала:

— Только попробуй растрепать кому-нибудь — я убью тебя. Поняла? Я не шучу. Умрешь больно и мучительно. Задушу, а может, и освежую, если силенок хватит.

— Ладно, не скажу. Но почему?

— Не хочу, чтобы меня жалели. — И она ущипнула меня за руку. — Никто, даже ты. Возможно, у меня с головой не в порядке. — Она грустно усмехнулась собственной шутке.

Кларисса закончила колледж и стала журналисткой, хотя ее выбор профессии поначалу меня удивил. Но ее миниатюрность, яркость натуры и чертовски обаятельная, обезоруживающая манера общения притягивали к ней людей, она вызывала у них доверие. Свою работу она выполняла качественно. И жених у нее был — Салливан Берд, парень весьма неглупый, веселый и добрый. Правда, поначалу я все никак не могла понять, как может здоровый человек, не извращенец какой-нибудь, спать с девушкой, которой по виду не дашь и тринадцати, однако в конечном счете смирилась. Салли Берд стал архитектором. Лицо у него было добродушное, как у мишки-коалы, и за Клариссой он ухлестывал с самой первой их встречи — они познакомились на концерте, и он таскался за ней весь вечер. Напрочь забыв о негласном правиле не давить на жалость малознакомой девушки, он все канючил словно в бреду: «Будь моей девушкой, ну пожалуйста!» Она поначалу смеялась, потом сдалась и, к удивлению нас обеих, обнаружила, что Салли добрый и нежный. Они были вместе пять лет. А минувшей зимой у них начались разлады. Пошло все с одной вечеринки в баре (как сейчас помню, автомат наяривал «Люби меня нежно», и вкус мохито во рту помню). Спор возник ни с того ни с сего и мгновенно перешел на личности. Салли успел обзвать Клариссу снобкой, выпендреницей, эгоисткой и мужичкой, а она его — занудой, слабаком, безмозглым рохлей и тормозом, только к тому времени друзья наши начали потихоньку сматываться кто куда и вскоре вся компашка рассосалась.

— Я не могу выйти замуж за этого человека! — твердила Кларисса в такси по дороге домой, после того как я буквально силком вытолкала ее из бара. Он меня совсем не знает!

Целую неделю они жили порознь, но вскоре уже снова ходили под ручку. Но теперь (возможно, мне это только показалось) между ними поселилось какое-то сомнение, холодок, какого я не замечала прежде. Я стала подозревать, что иногда, отправляясь якобы в командировку на

выходные, она уезжала в Темплтон к моей матери, где на втором этаже в крыле, отстроенном в семидесятые, у нее была своя комната (мы так и называли ее — Кларисси́на комната). Конечно, я никогда не высказывала вслух подозрений — ведь каждый имеет право на уединение.

А потом вдруг — ей было тогда двадцать девять — Кларисса обнаружила, что больна.

Однажды вечером в конце февраля мы пошли на открытие персональной выставки нашей подруги по колледжу. Хитэр была скульптором и уже приобрела известность, хотя в свое время мы знали ее только как пухленькую бойкую старосту, мечтавшую об одном — выскочить за головастого мужика. Теперь она отошала до неузнаваемости от своей растительной диеты, носила какие-то крестьянские хлопчатобумажные платья ручной работы и делала из всяких органических материалов инсталляции на тему человеческого тела — громадные сиськи, животы и пенисы из листьев, семян и сплетенных в косы трав. Мы едва успели войти и заполучить в руки по бокалу шампанского, как Кларисса вдруг вздохнула и схватилась за голову:

— Ой, Вилли, что-то я так устала! Я никогда не чувствовала себя такой разбитой!

Но я пропустила жалобу мимо ушей — все искала глазами Хитэр, чтобы похвалить ее выставку, — а Кларисса сетовала на разбитость уже три месяца. Я списывала это на ее загруженность, так как знала, сколько соков выжимает из нее работа над историей о каком-то коррумпированном полицейском из Беркли. Тогда же я, отступив от Клариссы на шаг, услышала слабый вскрик. Я повернулась. Она сидела на гранитном пьедестале под монументальной золотистой задницей, половинки которой были выложены из переплетенной соломы. «Бывший лен», — гласила табличка под сим шедевром. Кларисса была бледна как полотно и мотала головой.

— Что с тобой? — воскликнула я, присев рядом с ней на колени. Потрогав ее за руку, я поняла: у нее жар. — С тобой все в порядке?

— Не знаю. Кажется, да, — отозвалась она. — Ви считает, у меня малокровие. Я избавлюсь от него, уже начала есть побольше говядины.

— Подожди-ка, ты что же, звонила Ви? Стало быть, есть о чем волноваться?

Она пожала плечами:

— Да ты понимаешь, у меня никогда так раньше не было. И вот еще посмотри, это выскочило три дня назад. — И Кларисса, отогнув нижнюю губу, показала мне на десне синюшно-красный пупырышек величиной с

горошину.

— Какая жуть! — не сдержалась я.

Она печально усмехнулась:

— Вот и Салли так же сказал. — Она залпом выпила шампанское и встала. — Все будет нормально, только мне сейчас нужно лечь. Пойдем поищем Хитэр и попросимся.

Всю следующую неделю мы не виделись, но когда встретились в воскресенье утром, чтобы вместе позавтракать, она показалась мне совсем исхудавшей и все время щурилась и моргала от яркого света, лупившего в окна. К тому же лицо ее было покрыто какой-то сыпью, проступавшей так отчетливо, что ее можно было принять за грим. Я обняла Клариссу и, даже не присаживаясь, распорядилась:

— Ничего не заказывай. Я веду тебя к доктору. Прямо сейчас.

— Не надо. Никуда мы не идем. В пятницу я была у дерматолога, и он сказал, что это скорее всего из-за моей пенки для умывания.

— Ты была у дерматолога?! Кларисса, а что, если это?..

Но Кларисса лишь отмахнулась и, зайдясь в мокротном кашле, успокоила меня:

— Я просто хочу получить свою плитку шоколада, кружку кофе побольше и хочу, чтобы моя лучшая подруга развеселила меня немножко, а уж потом пойду домой, приму горячую ванну и буду заканчивать статью, которую надо было сдать еще три дня назад. А потом лягу спать. Вот так, Вилли. Прости, но меня все уже достали этим. Сил моих больше нет слушать.

— Ладно. — Я села. — Будь по-твоему, фашисточка ты моя миниатюрная.

— Правильно говоришь — мелкая блоха больнее кусает. — И она рассмеялась так же весело, как в былые времена. Это меня успокоило, и я заказала себе омлет.

После этого Кларисса исчезла на несколько недель. Я без конца набирала номер ее телефона, но она не отвечала и не перезванивала. Я заезжала к ней домой, но домофон тоже не откликался. Я решила, что ей полегчало и она, наверное, поехала собирать материал для очередной статьи. Как-то вечером у меня было свидание с одним студентом-юристом в кафешке в парке Менло. Студент мой все налегал на спиртное, уже через час я изнывала от скуки и очень обрадовалась, когда позвонил Салли. Забыв о хорошем тоне, я схватила трубку прямо за столом, но в обычно спокойном голосе Салли звучала тревога:

— Вилли? Кларисса ведет себя как-то странно. Ты не могла бы срочно

приехать? Как скоро ты будешь?

— Через двадцать минут, — ответила я и, увидев, как мой ухажер, наклонив бокал, вытягивает оттуда языком последние капли, прибавила: — Через восемнадцать.

Клариссу я застала в одном топчике, без трусов, с распухшими глазами, всю покрытую какой-то чудовищной сыпью. Стоя на журнальном столике, она размахивала ветками горшочной пальмы (которую обожала и берегла) и несла какую-то околесицу.

Я обратилась к ней, но она меня будто не слышала. Я подошла ближе и шепнула ей в самое ухо:

— Кларисса, милая, что ты делаешь?

— Муравьи, — прошептала она, продолжая нести прежнюю ерунду. — Целые полчища муравьев пытаются заползти на меня.

Я повернулась к Салли и бросила ему свои ключи.

— Иди открывай машину.

Я сдернула Клариссу со стола, натянула на нее трусы, юбку, шлепанцы, перекинула через плечо и потащила ее, орущую и барахтающуюся, к машине, где на водительском сиденье уже сидел Салли, побелевшими руками вцепившись в руль.

В больнице долго ждать не пришлось. Из палаты, куда унесли Клариссу, вышла врачиха и, участливо коснувшись наших рук, сообщила:

— Мне очень жаль, но, похоже, у вашей подруги эритематозная волчанка. Сыпь, воспалившиеся суставы, температура, психоз — все признаки заболевания налицо. Еще две недели, и у нее отказал бы весь организм. Почки поражены и оболочка легких. И мозг.

Бедный Салли вжался в стул и обхватил голову руками.

— Волчанка? — произнес он. — Так это ж хорошо, правда? Это ж не какая-то ужасная болезнь. Не СПИД там и ничего такое. Это ж лечится, правда?

— Это не лечится, — объявила докторша. — Это аутоиммунное заболевание. Но при помощи стероидов, антипсихотиков и антидепрессантов, а возможно, еще какого-то усиленного лечения, о котором мы поговорим позднее, ваша подруга сможет вести полноценную здоровую жизнь. Правда, о работе пока и говорить нечего — ей нужен приблизительно год полного покоя. Я намерена назначить ей клиническое лечение моноклональными антителами. Удовольствие дорогое, но идеально подходящее для данного случая.

— Это невозможно, — возразил Салли. — Она журналистка, она не может бросить работу!

— Не то что возможно, а абсолютно необходимо! — отрезала докторша. — А теперь, извините, мне нужно идти. — И она засемила прочь.

Согнувшись, Салли зажал голову меж колен и тяжело дышал. На спине его по рубашке расползались огромные пятна пота.

— Все в порядке, Салли. Ты иди, если тебе надо. Я останусь, — сказала я.

Он отер пот с лица.

— Нет, не только ты ее друг.

— Знаю. — Я стиснула его руку и почувствовала между нами какой-то холодок.

Проснувшись на следующий день, Кларисса была в ярости («Где это я, черт возьми?!» — орала она), и, кроме меня, некому было сообщить ей о ее болезни. Салли уехал домой собрать в больницу Клариссе что-нибудь из вещей, а я за это время умудрилась охмурить какого-то молоденького практиканта, тот дал мне ненадолго свой ноутбук, и я села поискать в Интернете что-нибудь про эту болезнь.

Я объяснила Клариссе, что многие спокойно живут с волчанкой долгие годы, что название болезнь получила из-за сыпи на лице — дескать, в старину такая красная распухшая физиономия напоминала лекарям волчью морду, а *lupus* по-латыни — «волк». Такое же название носит еще созвездие и какая-то пресноводная рыба — кажется, из рода щук. В Оксфордском словаре я нашла ссылку на первое упоминание о болезни в «Ланфран хирург», датированное примерно 1400 годом, и с дурным чосеровским прононсом зачитала Клариссе: «*Summen clepen it canstum, e summen lurum*».

— То есть волчанка — это не рак, и она лечится, — перевела я.

— А-а, то есть жить все-таки можно, — мрачно отозвалась Кларисса, совсем какая-то щупленькая под простыней, с волосами, разметавшимися по подушке. — Ура, волчанка! Будем радоваться.

Я перечислила ей, что она должна чувствовать (боль в суставах, разбитость), и обрисовала лечение, поспешив утешить, что волчанкой болели такие известные люди, как Фланнери О'Коннор и даже, кажется, Джек Лондон, на что Кларисса отреагировала с иронией.

— Хорошая у меня компания, — оживилась она.

Я добавила, что заболевание это наследственное, и поинтересовалась, не умирал ли кто-нибудь у них в семье преждевременно.

— То есть кроме моих родителей, преждевременно свалившихся с обрыва в норвежском фьорде? Нет, никто... Хотя нет, няня... Она умерла в

сорок лет.

Я удивленно посмотрела на Клариссу, и она пояснила:

— У нее тоже была сыпь и болели суставы.

Я сообщила ей, теперь уже перепуганной, что ей не разрешат вернуться к работе, пока она не выздоровеет. Спорить она не стала только потому, что была очень слаба. Она лежала с закрытыми глазами, и я, приняв ее за спящую, удалилась.

В больнице она провела месяц, пока не выгнали инфекцию из почек и мозга и не устранили плеврит. К встрече подруги я подготовилась — расставила по квартире вазы с люпинами (мрачная шутка), — и она хохотала до слез, увидев цветы. Мы долго смотрели фильмы по телевизору, потом она повернулась ко мне и сказала, что знает, что мне нужно собираться в экспедицию, чтобы я не переживала из-за нее, потому что она все равно хочет спать, да и Салли в любом случае придет уже через час.

— Нет, я останусь, — возразила я.

Но она шутками все-таки выпроводила меня, даже спустилась со мной вниз. Перед тем как сесть в машину, я поцеловала ее в лоб.

— И нечего пудрить мне мозги, — сказала она, попыхивая сигареткой мне в лицо. — У меня рак, не волчанка. Так что я теперь крабик, а не волчица.

— Боже, Кларисса! Не надо так шутить!

Она пожала плечами:

— Это я так пытаюсь войти в нормальную колею.

В апреле, за день до того как Клариссе лечь в больницу, где ей предстояла терапия моноклональными антителами, мы с ней завтракали на ее кухне. Она вдруг отставила чашку с кофе и сказала:

— Слушай, а давай сделаем одну штуку!

— Какую?

— Побреем меня. Наголо. Почему бы и нет?

— Это еще зачем? — удивилась я.

Она нахмурилась:

Потому что теперь я могу, Вилли. Я всегда мечтала обрить голову наголо, но мне духу не хватало. А теперь хватает. К тому же у меня жутко лезут волосы. — И она показала мне пучок волос в руке.

— Хорошо, — согласилась я.

Мы собрались и отправились в наше излюбленное место — тюльпановый сквер, — и там на скамеечке, на ветру, я отрезала Клариссе ее роскошные кудри. Потом долго натирала ее лысую черепушку

лосьоном, пока та не начала блестеть. На нее вдруг нашла слабость, она закрыла глаза. Я тем временем взяла и оттяпала себе изрядный клочок волос на макушке.

Открыв глаза, Кларисса сначала пришла в ужас, потом залилась смехом.

— Неужели ты сделала это ради меня? За компанию?

Улыбаясь, я отхватила еще пучок. И теперь уже Кларисса брила мне налысо голову.

Обратно мы шли, держась за руки, и ветерок обдувал наши беленькие макушки. Встречные усмехались, принимая нас черт знает за кого. А какой-то рокер с голым торсом, на мотоцикле, придя в восторг от нашего вида, заорал нам вслед:

— Нет, я обожаю этот город! Это ж надо — влюбленные лысые дамы!

На следующий вечер после приезда в Темплтон я позвонила Клариссе совершенно автоматически. Только услышав в трубке гудки, я поняла, что набрала номер. Я хотела нажать на рычаг, но в трубке уже раздался низкий грудной голос Клариссы:

— Не знаю, кто там, но я смотрю кино, так что вряд ли вас чем-то порадую.

Голос у нее оказался живее, чем я ожидала. Я улыбнулась про себя и сказала:

— Кларисса, лапочка, только ты не волнуйся! Ты меня уже порадовала.

Когда она навизжалась от радости и наоралась на меня вволю за то, что не позвонила ей сразу по приезде домой, я рассказала ей свою историю.

О докторе Праймусе Дуайере ей было известно — он мой преподаватель, вел у меня семинары, к тому времени у него уже было громкое имя в научном мире, и я была счастлива, когда мне назначили его в научные руководители.

Но Кларисса не знала, что между собой мы в шутку называли его Мистер Жаба. Прозвище он получил за вечные клетчатые жилеты, карманные часы, пивное брюшко, британский акцент, блестящий нос и до обидного куцый подбородок. Ездил он на новеньком красном «фольксвагене-жуке», и кто-нибудь из нас, завидя его на улице, обязательно заводил озорную частушку: «Едет-едет наш плейбой, красноносый, чуть кривой!» Шутили мы, конечно, недобро, но считали, что во всем виновата его жена, одевавшая его так по-дурацки. Жена эта, наша замдеканша по учебной части, была костлява до безобразия, ходила неизменно в строгих черных кашемировых костюмчиках и славилась

неуемной ревностью. Например, всем было ясно, что именно по ее милости ему возбранялось закрывать дверь в аудиторию, когда он беседовал там с аспирантками. Мы звали ее не иначе как Озверелая Сука.

Но душку Праймуса мы любили. За его ум и романтическое, но в то же время серьезно-возвышенное отношение к археологии. «История человеческого общества, — любил говаривать он, важно разводя руками, — это все равно что палимпсест поверх палимпсеста. Чем глубже копаешь, тем больше слоев обнаруживается». И мы увлеченно слушали и робко надеялись, что он возьмет нас в экспедицию на Аляску, для которой ему выделили огромный грант и от которой все ждали больших открытий.

Каждый год в мае Мистер Жаба и Озверелая Сука устраивали в своем роскошном доме на Лос-альтос-Хиллс вечеринку в честь окончания очередного учебного года. На таких вечеринках он обычно объявлял, кого из студентов возьмет летом на раскопки. Каждая из нас страстно мечтала оказаться там — это такой скачок в карьере! Но он никогда не выбирал девушек, и все знали, по какой причине — из-за «той, кого надлежало бояться». Так что приходили мы на вечеринки, просто чтобы пожрать и попить на халяву.

В тот год там собрался весь факультет и почти вся администрация. Но я решила не ходить. Из-за Клариссы. Мы как раз недавно узнали, что у нее волчанка, да еще голову я себе побрила. В последнее время у меня болела коленка, даже пришлось отказаться от утренних пробежек, из-за чего я с зимы набрала лишних десять фунтов. А в тот вечер я вообще засиделась в гончарном классе — в драных джинсах, фланелевой рубашке, вся перепачканная глиной, я выглядела ужасно и уж никак не празднично. К тому же я была просто уверена: в этом году, как обычно, опять выберут парня.

И вот, когда мой преподаватель гончарного дела вышел из мастерской, я, крутя гончарное колесо, на котором у меня «выпекалась» ваза, вдруг представила себе, как люди, чистенькие, нарядные, праздничные, звонят в дверь Дуайера. Я смотрела на свою недоделанную вазу, описывающую круг за кругом, и мне вдруг больше всего на свете захотелось тоже оказаться на празднике. Я отмыла лицо и руки от глины и облачилась в чистую тунику — прямо поверх джинсов, надеясь и пятна от глины прикрыть, и преобразиться в эдакую богемную и шикарную особу.

На праздник я прибыла в тот момент, когда Праймус Дуайер уже стоял с бокалом в руке на краю бассейна на доске для прыжков, слегка пошатываясь...

— В этом году, — объявил он, — я беру с собой на Аляску следующих

аспирантов... — Здесь он замешкался и откашлялся. — Джона Бердсли и Вильгельмину Аптон.

Я так и застыла с бокалом вина у губ. Я видела, как сощурились глаза Озверелой Суки и как ее костлявые кулачки угрожающе уперлись в бока. Но, выйдя вперед, подталкиваемая дружескими тычками в спину, я увидела, как она смерила меня оценивающим взглядом — мое расплывшееся лицо, остриженную голову, жуткую одежду, — и моментально расслабилась. По этому взгляду я сразу поняла, что она мысленно окрестила меня Кувалдой, и нахмурилась. Она это заметила и послала мне гаденькую притворную улыбку.

— В этом году у нас едут два аспиранта, — продолжал речь Дуайер, — потому что в этом году мы обязательно найдем то, к чему так долго и упорно приближались!

— Ура! — закричали все, кто толпился на лужайке вокруг бассейна.

— Ура, — прошептала я в свой бокал, чувствуя слабость в коленях и дрожь во всем теле.

В день отъезда я, конечно, вырядилась как могла — в самое свое женственное шмотье. На мне было розовенькое платье-мини, высоченные каблучищи и страшное количество косметики. Группу отъезжающих я застала на пути к стойке досмотра, где Дуайер и его супруга устроили трепетное прощание. В кои-то веки он не был одет как холостяк викторианских времен, на нем была вполне нормальная одежда и походные брюки цвета хаки, такого же цвета рубашка, застегнутая на все пуговицы, и сапоги с металлическими набойками. Правда, в этом наряде он был похож на исследователя из Географического общества. Джон Бердсли не мог сдержать усмешки, когда увидел меня, прежде чем пройти через металлодетектор. Дуайер с женой наконец-то отлепились друг от друга — вот тут-то они и увидели меня.

Дуайер чуть не грохнулся в обморок и поспешил отвести глаза от моих длинных голых ног. Жenuшка его мрачно насупилась. Но время поджимало, и я пошла через металлодетектор. Дуайер последовал за мной, и я уловила едва заметную нотку паники в голосе его супруги, когда она крикнула нам вслед:

— Удачи! Всего хорошего!

Полет из Сан-Франциско до Солт-Лейк-Сити был не из приятных — теснота эконом-класса, убогие арахисовые орешки в пакетике и какая-то жалкая содовая с лаймом. Но во время перелета от Юты до Аляски, когда мы с Джоном сидели, уткнувшись каждый в свою книжку, к нам подошла стюардесса и сказала, что в первом классе есть одно свободное место. Это

Праймус Дуайер очаровал ее настолько, что она согласилась предложить пустующее место одному из нас. Мы с Джоном скинулись на пальцах, я выиграла и перешла в соседний салон. Праймус Дуайер расслаблялся у занавешенного иллюминатора, я же опустилась в удобное креслице и стала смотреть кино.

Где-то на полпути он похлопал меня по плечу и предложил мне шоколадного печенья — осторожненько так предложил, как зверушке в зоопарке. Я поставила фильм на паузу, мы разговорились. Говорили о нашем проекте; если вкратце, то вот о чем — какая замечательная версия, что исконные жители Северной Америки пришли в нее из Сибири через Берингов пролив. Задачей нашего проекта было установить время этого переселения, учитывая имеющиеся открытия, — следы пребывания людей на Аляске, как показали раскопки, относились к периоду за тридцать три тысячи лет до нашей эры, хотя остатки наиболее древних поселений на Аляске датировались всего четырнадцатью тысячами лет до нашей эры. Мы сошлись во мнении, что это расхождение во времени представляет собой большую загадку. Праймус Дуайер с ребятами из Гарварда раскопал древнее поселение близ Кейп-Эспенберга, датированное примерно двадцатью пятью тысячами лет до нашей эры. И если бы нам теперь удалось обнаружить следы человеческого существования, относящиеся к еще более раннему периоду, это стало бы поистине великим открытием.

К тому времени когда мы сменили тему на более легкую, и я и доктор уже водили какой-то невразумительный хоровод — проще говоря, флиртовали. У нас была уйма времени, но приходилось шептаться: все вокруг спали, даже стюардесса на откидном сиденьице — как будто всех усыпили. На лице собеседника я обнаружила очаровательные ямочки и была крайне удивлена. Как я не замечала их прежде? Ямочки — моя слабость! Теперь я больше не видела лоснящегося красного носа и отсутствия подбородка. Я была очарована. Считала, конечно, весь разговор невинным — вплоть до момента, когда он вдруг скользнул рукой мне под юбку. Я удивленно приподняла бровь.

У меня было два варианта. Первый — очень вежливо переложить его руку на подлокотник и продолжить беседу. Мы бы остались друзьями, а моя карьера осенью резко пошла бы вверх. Второй вариант — вернуть на место бровь, пойти запереться в просторной туалетной комнате (первый класс как-никак!) и подождать, когда в дверь поскребутся. Тогда бы мы шаловливо хихикали и шушукались, а у платья моего розовенького подол бы задрался вверх, его брюки скользнули бы вниз, а потом вдруг в самом разгаре всех этих проказ я бы увидела на его лице совершенно

серьезное выражение, и поцелуй, последовавший за этим, не был бы уже ни легкомысленным, ни глупым. В тесноте туалетной кабинки, где отовсюду раздавалось жужжание двигателя, а за дверью мирно сопели бизнесмены, я бы увидела выражение, какое меньше всего ожидала бы увидеть именно на этом лице, и поняла бы, что начинаю безудержно и неуклонно лететь в пропасть...

Тут Кларисса меня прервала и приглушенным голосом объявила:

— Ну и дура же ты, Вилли Аптон. Большая толстая дура.

Какое-то время мы обе молчали. Наверное, думали об одном и том же — о том, что не так уж, видимо, и несвойственно для меня принимать откровенно неверные решения. Во-первых, меня всегда тянуло к солидным дядечкам. В колледже у нас был преподаватель фотографического дела, лысеющий пьяница. В проявочной, когда я однажды стояла там в сумрачном свете красной лампы, склонясь над кюветой, где начало вырисовываться лицо старушки, которую я щелкнула в тот день на улице, этот преподаватель подошел ко мне сзади и положил руки мне на живот. Такие вот обжимания длились потом два семестра, пока он не уволился. Во-вторых, я питала заметную слабость ко всякого рода шутам. Меня тянуло к мальчишкам, кого понесло учиться на клоуна в какой-нибудь цирковой колледж, к таким, кто любит повеселить публику. То есть мужчины, способные рассмешить меня, казались мне сексуально более привлекательными. А однажды во время какой-то вечеринки (я тогда уже несколько месяцев как решила завязать с мужиками) мне приспичило обжиматься в ванной с девчонкой (другую девчонку я еще умудрилась затащить потом к себе домой). Так я обнаружила в себе склонность к бисексуальности.

Итак, я рассказала Клариссе про то, как весь салон спал словно заколдованный, когда мы с Праймусом вышли из туалетной комнаты. Как после этого между нами не возникло никакой неловкости или смущения, как он, едва усевшись на свое место, взял меня за руку и вырубился, и спал с открытым ртом, будто ребенок. И как всю дорогу потом был нежен со мной — и от Анкориджа до Ноума, от Ноума до Кейп-Эспенберга, и от Кейп-Эспенберга в «лендровере» до самого-самого конца пути. Везде, где нам приходилось ждать, он покупал мне кофе, и я то и дело ловила на себе его голодный и томный взгляд.

И это еще раз повторилось. Еще, еще и еще. Почти каждую ночь — в моей отдельной палатке, в застегнутом от холода спальном мешке. Даже когда из-за холода я не могла помыться.

Это напоминало мне род безумия. Да еще в таком невозможном месте, где все время на небе солнце. Нас окружали тысячи перелетных птиц, вносящих жизнь в унылый и вместе с тем величественный пейзаж. Раскопки продвигались успешно. Атмосфера сложилась дружеская, ребята из Гарварда оказались хорошие, кормежка просто отличная — один из гарвардских аспирантов до того, как посвятить себя науке, трудился где-то шеф-поваром. Работали мы на измор, так что в конце долгого трудового дня особенно хотелось нежности от кого-то. А этот кто-то весьма изменился — загорел, окреп, отрастил щетину на слабеньком подбородке — словом, возмужал. Перемену эту заметила не только я. Мачообразный гей из числа аспирантов даже начал звать нашего Праймуса не иначе как «доктор Умереть-Не-Встать». Сама я тоже очень похудела и прокалилась на солнце дочерна. А главное, похорошела. Ну и, конечно, учитывая то, что в тундре даже самое маленькое траханье не может остаться незамеченным, вся наша группа неизбежно была в курсе происходящего. Все гарвардские ребята были лично знакомы с женой Праймуса — она не раз ездила в эти же экспедиции, — вот и старались, обращаясь ко мне, отводить взгляд.

Когда в положенный срок меня не пришли месячные, я несколько не забеспокоилась, подумав: «Чего волноваться? Так часто бывает. Перемена климата, другое питание».

В следующий раз месячные опять не пришли, меня начало тошнить.

Как раз в то самое время мы обнаружили наконец-то копыя, а на следующий день — мумифицированные мерзлотой человеческие останки. Наш специалист по костям буквально плясал от радости — по одним только зубам он почти наверняка определил: останки имеют сибирское происхождение. А Джон, наш ботаник, сказал: семена, найденные в желудке, принадлежат растению, исчезнувшему двадцать две тысячи лет назад. Начальник гарвардской группы запросил самолет.

Мы ждали на взлетной полосе, чтобы попрощаться с ним, перед тем как он отбудет в Ноум, потом в Анкоридж, а уже оттуда в университет зафиксировать открытие, и просто слонялись, играя в слова.

Наконец сквозь шум ветра мы услышали гул приближающегося самолета. Вскоре он выплыл из-за горизонта, пошел на посадку и коснулся земли. Винты еще вращались, когда из него выскочил подозрительно бледный пилот и, обогнув машину, бросился открывать дверцу со стороны пассажира.

На землю спрыгнула... Озверелая Сука собственной персоной.

Спрыгнула и потащила костлявую задницу прямиком ко мне. К тому моменту милашка Праймус уже убрал руку с моего плеча и вообще

отошел. А его женушка, сняв перчатку и засучив рукав никак не вязавшейся с погодой мохнатой шубки, закатила мне звонкую оплеуху. Челюсть у меня отвисла, а любительница сюрпризов, настигнув и ухватив муженька, поволокла его в сторону, что-то остервенело шепча.

Я смотрела им вслед, щека у меня горела. Гарвардские ребята и Джон стояли оцепенев.

А на меня нашло помутнение. Я бросилась к самолету... Распахнув дверцу, я плюхнулась за штурвал, как-то умудрилась включить двигатель и погнала крылатую машину на Праймуса и его Суку. Дуайер обернулся, глаза его в ужасе округлились, и он метнулся в сторону, утаскивая за собой жену.

Представьте себе разогнавшийся по тундре самолет с вращающимися винтами, готовый к взлету. Две крошечные человеческие фигурки, держась за руки, пытаются спастись бегством, а самолет преследует их и все норовит взять в сторону более хлипкой фигурки в меховой шубе... Пилот, набравшись нечеловеческой смелости, каким-то непостижимым образом запрыгивает на ходу в кабину и в последнюю секунду меняет направление движения машины. Взглянув мне в лицо, он молча поднимает самолет в воздух.

И везет меня в Ноум. По его признанию, он боялся, как бы я не натворила чего похуже. Из Ноума я добралась на самолете до Фэйрбэнкса, а из Фэйрбэнкса до Сан-Франциско. И все на денежки Дуайеровой жены — в черной сумочке от Гуччи, оставшейся лежать на пассажирском сиденье, я нашла кредитную карту, еще хранившую тепло ее рук. А в кабине пахло ее духами.

Когда я приземлилась в Сан-Франциско, меня колотило. Я едва передвигала ноги. Багажа у меня, конечно, не было, и я взяла такси до Стэнфорда. Меня встречали выстроившиеся вдоль обочин почетным караулом пальмы и залитые солнцем дома. Я вспотела в своем аляскинском облачении, пока загружала в машину все необходимое. И сразу же отправилась в путь. Я уже черт знает сколько времени не спала, все время плакала и гнала большую часть дороги на скорости девяносто миль в час. Остановилась я только раз — заправиться и принять душ. Тогда же переделалась в футболку и шорты. Я уже проехала Эри, а еще ничего не ела и почти ничего не видела перед собой. Лишь иногда мне мерещился на переднем сиденье Праймус Дуайер — загорелый, красивый, при полном экспедиционном снаряжении. Он ничего не говорил, улыбался. А я, еще не отойдя от бешенства, делала вид, что не замечаю его.

В Темплтон я приехала ночью перед рассветом и припарковалась у почты, где моя машина так и стояла на момент телефонного разговора с Клариссой. Я очень боялась, что мать услышит, как я подъехала, и выскочит мне навстречу с топором. Я таращилась на наш дом целый час или больше и все собиралась с силами, чтобы войти.

Далее я рассказала Клариссе о мертвом чудовище. О том, как я дотрагивалась до него и как это прикосновение всколыхнуло во мне какие-то смутные чувства, заставив ощутить бесконечность черной глубины озера. Смерть чудовища, сказала я, стала знаменем того, что все, все, все на свете раскалывается на части и летит в бездну.

Последовала долгая тягостная пауза. Я почти физически ощутила: Кларисса погрузилась в раздумье. Мой рассказ занял несколько часов, в Сан-Франциско была глубокая ночь, из трубки не доносилось ни звука. Наконец я услышала:

— Ты права. У тебя не жизнь, а полная неразбериха. С другой стороны, это не так уж плохо. Ты наконец дома. Собери себя по частям, подлечи нервы и дуй сюда, в Сан-Франциско.

— Попробую, — ответила я. — Но подожди! Видишь ли, есть еще кое-что...

— Да что же еще-то? — удивилась Кларисса.

— Да вот есть. Наша очаровательная и здравомыслящая Вивьен Аптон, представь, сдвинулась на религии...

— Знаю, — невозмутимо ответствовала Кларисса. — И что?

— Погоди... Откуда ты знаешь?

— Как откуда? Мы перезваниваемся. Это тебя дома сто лет не было, а мы общаемся.

Переварив новость, я продолжила:

— Тогда слушай. Твоя новая лучшая подруга Вивьен Аптон имела смелость сообщить мне за ужином, что вся моя предшествующая жизнь, оказывается, строилась на лжи. Ей пришлось в этом признаться, ибо Иисус Христос у нас, как известно, не приемлет лжи. Ты готова?

— Нет. А ты, я вижу, все равно собираешься сообщить мне.

— Конечно. Помнишь, мы приезжали к Ви на День благодарения и она рассказывала тебе, что я родилась от безумного секса с какими-то тремя хиппарями? Это неправда. Моим отцом является один мужчина. И он живет в Темплтоне. У него есть семья. И я знаю его, а он знает меня. И он понятия не имеет, что я его дочь. И Ви не говорила мне, кто он, но я давила, выжимала из нее по капле, пока она не дала мне подсказку. Оказывается, он ей сказал, что ведет свое происхождение от Мармадюка

Темпла по какой-то внебрачной ветви. Так что из четырех сотен мужиков определенного возраста, живущих в Темплтоне, мне надо выявить одного, который как будто приходится мне отцом.

— Но почему Ви не говорит тебе?

— Хо-о! Да она вообще запретила мне выяснять, кто он!

— Зачем ты тогда собираешься его разыскивать? — В ее голосе я уловила усмешку.

— Чтобы узнать, не наградил ли он меня какими-нибудь генетическими проблемами. И чтобы убить его потом за то, что он бросил меня, пока я росла.

Клариссу мои слова жутко развеселили. Она долго кхекала куда-то мимо трубки, потом сказала:

— Ой, Вилли, давно я так не смеялась...

— Рада, что позабавила тебя подробностями своей жизни, — ответила я.

— Ну что ты! Я не над тобой смеюсь, над Ви. Над тем, как она предпочла втирать тебе эту хипповскую версию, вместо того чтобы признаться в добропорядочности отца собственного ребенка. Чудная она все-таки...

— Чудная. И все это смешно, если не касается тебя лично. А спросить я хочу вот о чем — как мне быть? Что мне делать теперь?

— В каком смысле?

— Во всех.

Кларисса задумалась. Я слышала, как сонный Салли что-то спросил у нее и как она поспешила его успокоить: «Скоро, скоро», — и снова заговорила в трубку:

Салли совсем взбесился. Говорит, я должна спать. Он дал мне еще две минуты, потом обрежет шнур. Так что давай я тебе быстро скажу, что думаю. Насчет твоего Дуайера. Я считаю, тебе просто нужно немного подождать. То же самое касается Стэнфорда. Там, я думаю, у тебя все обойдется, потому что спать со студентками — это, между прочим, не очень хорошо, и, я уверена, чете Дуайер не нужен такой скандал. А насчет твоего отца вот что. Неужели нельзя найти способ разговорить Ви?

— Нет.

— Ну хорошо, а что она сказала? Что Мармадюк Темпл имел внебрачного ребенка?

Я долго напрягала мозги.

— Н-нет...

— Значит, кто-то из его потомков? Вообще-то обычно такие вещи

должны относиться к более поздним потомственным веткам, с моралью тогда уже было проще. К тому же поздних потомков в архивах искать легче, чем более древних. Начинай с ближайших поколений. Если ничего не найдешь, рой глубже. Думаю, надо искать среди прадедушек. Или у этого бабника Джейкоба Франклина Темпла. На него это очень похоже.

— Пожалуй, план неплохой...

— Теперь ребенок. — В голосе Клариссы я уловила печальные нотки, каких сроду у нее не слыхала. Лишь позже, проснувшись вдруг среди ночи, я припомнила ее разговор с врачом в больнице и ее бледное подергивающееся лицо, когда она вышла из кабинета. Она так и не сказала тогда, что говорил ей врач, только уже дома уткнулась в подушку и пробормотала: «Не видать мне моего ребеночка. Или он убьет меня, или мои гены убьют его». И больше ничего не объяснила.

— Ты уверена? Я имею в виду ребенка. Тест делала?

Я вспомнила, как блевала, выворачиваясь наизнанку на обочине в Небраске. И пульсацию в животе сегодня за ужином.

— Уверена.

— Тебе нужен этот ребенок?

— Не знаю, Кларисса, не знаю!.. Зачем давать жизнь еще одному человеку, когда в мире и так...

Она вздохнула:

— Перестань, Вилли, пожалей меня. Скажи мне правду — тебе нужен этот ребенок?

— Не знаю. — Сказав, я почувствовала, как он растет там внутри.

— Ну тогда и я не знаю пока, что сказать. Прости, Вилли. У меня утром встреча, а я устала. Плюс Салли. Он стоит у меня над душой, того и гляди вырвет телефон из рук.

— Ой, прости! Видишь, какая я плохая подруга! Даже не спросила, как ты. И что это на меня нашло?!

— Да я отлично. Все будет нормально, не волнуйся, — проговорила она. — Давай, детка, пока. Утро вечера мудренее. — И повесила трубку.

Глава 7

ПОЧТЕННАЯ ПРИТИБОНС

В Темплтон я приехала в давние и очень трудные времена, в 1786 году. Когда-то я была черноглазой пышногрудой красавицей, но все эти прелести увяли к моим тридцати годам, задолго до наших бедствий и путешествия в Америку. Когда-то у меня был огромный дом с большими окнами, и серебряная посуда, и тончайшее белье. У себя в городе я была уважаемой дамой, почти настоящей леди. Но все это мы потеряли и уехали из Ирландии, когда у моего капитана начались неприятности с его кораблями. Про него говорили, что он украл многие сотни у владельцев. Да разве мог сделать такое мой капитан Притибонс! Чушь какая, какая низкая, подлая клевета!

Но так или иначе, репутация его была подпорчена и мы сели на корабль, уходивший к новым землям. Бостон оказался совсем не таким, каким я себе его представляла, не просторным и светлым городом золота и роскоши, а скверной дырой, где под ногами хлюпала грязь, где коптели ужасные трубы и где несчастные ирландские мальчишки со вздутыми животами умирали от голода, как будто им не проще было сделать это дома, на родных зеленых лужайках Ирландии. Мой капитан, накачанный ромом, приходил домой за полночь, шатаясь, с карманами, опустошенными уличными девками, — гадкий душок этих потаскух я чувала на его одежде и коже даже сквозь запах перегара и пота. И вот однажды я узнала про новое место, Темплтон, где раздавали земли чуть ли не даром, и, хоть находился он в дикой глуши, я примчалась домой и собрала вещи, а когда ночью вернулся мой капитан, опять шатаясь и без памяти, я огрела его по голове каминной кочергой. Очнулся он, мыча и издавая стоны, на спине мула, за тридцать миль от Бостона.

Путешествие по диким краям было трудным; лодочник, взявшийся переправить нас через Мохок, оказался мошенником, зато уже у Вишневой долины мой капитан наконец перестал буянить и присмирел. Мы приехали в Темплтон, и город тотчас же покорило мое сердце. Покорил своими четырьмя жалкими домишками-временками, ужасающей грязью с валявшимися в ней свиньями и дымами, что стелились над земельными наделами, где люди корчевали пни и жгли на золу огромные вековые

деревья. Первым делом мы разыскали великого Мармадюка Темпла. Мы нашли его в крохотном домике, на месте которого потом выросли отель Шермана и таверна. Он сидел, взгромоздив на письменный стол ноги в грязных сапожищах, углубленный в свои бумаги, и от самого озера к нему тянулась длинная очередь. Но могла ли я, леди, ждать? Я пробились вперед. Несмотря на огрубелые руки, все в порезах и занозах, совсем не походившие на руки благородного джентльмена, Мармадюк Темпл поразил меня красотой крупных, навывкате глаз, рыжей густой шевелюрой, глубоким грудным голосом и обходительной речью настоящего квакера. Капитан Притибонс повадился потом поддразнивать меня — дескать, сердечко у меня тогда забилося, — но я быстро объяснила ему, что это не так, что этот чудесный человек просто знает, как вести себя с дамами, да для пущей убедительности закатила моему капитану в глаз, после чего он благоразумно помалкивал. Через два месяца у нас уже был домик на новехонькой Второй улице и капитан Притибонс стал сапожником, хотя отродясь не держал в руках шила. Во время строительства он пробил себе гвоздем большой палец и мне ничего не сказал. Когда я заметила, палец был красный, распухший, с гноящейся черной ранкой. Краснота стала подниматься вверх, и я поняла: дело плохо. Я побежала за Аристабулусом Маджем в аптеку. Содрав повязки, Мадж увидел, что воспаление подступает к сердцу. Выйдя от моего бедного капитана, он сказал, что тут уже ничем не поможешь. И оказался прав — через сутки капитан Притибонс оставил меня вдовой, без денег, с одной лишь никчемной сапожной лавкой, а я всего и умела, что быть настоящей леди, вести домашнее хозяйство да разгуливать по дому со связкой ключей на поясе.

И вот, просидев ночь над хладным телом, я долго думала, как мне теперь вести одинокую жизнь. Дьюк Темпл, как я знала, питался лишь тем, что умудрялся состряпать ему его слуга, — словом, обходился самой малостью, ибо слуга тот больше торчал на конюшне, сморкая сопли в рукав. В крохотном домишке Дьюка вечно было не прибрано, вечно толпился народ, таская грязь, блох, заплевывая пол. Вонь там стояла невообразимая. Поэтому, похоронив мужа на новеньком кладбище, я отправилась напрямиком к Дьюку и стала протискиваться сквозь толпу. В те времена женщин в городе не было, если не считать вдовы Крган, державшей отель «Орел», поэтому мужчины не слишком-то возражали, когда я толкала их, — скорее были рады, что к ним прикасается женщина, пусть и такая уже подвявшая, как я. Я прошагала напрямиком к Дьюку. Тот сидел, склонившись над письменным столом, как мальчишка над коробком спичек, и я сказала ему: «Господин Дьюк, мой муж умер. Не далее как

сегодня утром схоронила я моего капитана Притибонса».

Дьюк оторвался от карты и потер виски. «Да-да, миссис Притибонс, я слышал утром эту печальную новость, — проговорил он. — Я очень, очень соболезную вам».

И тогда я, словно меня прорвало, выложила ему все о своей жизни — и о том, как я имела дом с серебряной посудой и тончайшим бельем, и о том низком навете, и о моем теперешнем жалком положении. В конце моего печального рассказа я расплакалась и все сморкалась в носовой платок, причитая и сетуя на судьбу.

Дьюк был так тронут моей историей, что даже вскочил из-за стола. «Я сделаю все, о чем вы попросите, дорогая миссис Притибонс!» — пообещал он.

«Благодарю вас от всего сердца, мистер Темпл! — сказала я. — А прошу я вас взять меня в ваш дом вести хозяйство в отсутствие вашей очаровательной жены».

Тогда я еще, конечно, в глаза не видела свою хозяйку, однако была уверена: у такого мужчины не могло быть некрасивой жены. Представьте же мое удивление, когда я наконец увидела Элизабет Темпл! Серенький воробышек, невзрачное и покорное существо. По правде сказать, такой странной пары, как она и Дьюк, на свете еще не бывало. И хоть была я у них в доме всего лишь прислугой, а нет-нет да и задавалась вопросом, почему не взял он себе в супруги женщину более достойную, такую, чтоб и умом поострее была, и с характером.

Но в тот момент, в тот траурный для меня день, Дьюк, вняв моей просьбе, весьма даже обрадовался. «Какая блестящая идея! — сказал он, хохоча. — Прекрасно, дорогая миссис Притибонс! Я беру вас вести мое хозяйство. Когда вы сможете приступить?»

«Да прямо сейчас, — обнаглела я как сорока. — А плату обговорим за ужином».

«Вот и славно. — Он снова сел за стол. — Давненько не едал я домашней женской стряпни».

Вот так весьма неплохо устроилась я в маленьком городке на озере. Дьюк Темпл выручил меня в трудную минуту, и с тех нор я вела его хозяйство — сначала в маленьком домишке, где теперь отель Шермана, потом в огромном прекрасном особняке, в знаменитом Темпл-Мэноре, выстроенном для Дьюка большим молчаливым рабом по имени Минго.

Конечно, меня не огорчало, что господин Дьюк слонялся, как обычный простолюдин, по пивным. Ему там и прозвище дали: Человек-Гриб, то есть в одночасье выросший из дерьма, — хотя я, слыша подобное, приходила в

ярость и непременно закатывала шутнику хорошую оплеуху. А еще поговаривали о каких-то девчушках, к коим якобы Дьюк неровно дышал. Какая гнусная клевета! Служанка из «Орла». Дочка сапожника Трикси. Даже будто бы Розамунда Финни — но в те времена она была еще совсем ребенком и только позже стала бессердечной ветреной красавицей. Ну вот как пережить эдакие гадкие сплетни?! Одно утешение — коль не щадят злые языки человека, стало быть, и впрямь он велик.

А когда появилась Хетти, вот тогда, признаюсь, досталось мне хлопот. Я уж было собралась уволиться в тот день, когда Дьюк привел под мое начало трех рабов. Минго был парень хороший, хотя слабоват умишком, как я подозревала, зато рыбу удил и был умелый строитель, а главное, на меня никогда даже и не косился, не то чтобы с похотью какой пристать, — но дверь я свою тем не менее запирала, от греха подальше. И Кулачок, милый мальчонка-индеец из племени делаваров. Поначалу он принадлежал какому-то министру и его жене, у них и грамоте научился, а когда министр с женой умерли, продан был паренек с молотка. Жалела я его как родного, пока в один прекрасный день не сбежал он с каким-то заезжим миссионером. Вот уж я горевала — крепче, чем когда-то по своим так и не родившимся малюткам.

Но чернокожая нахалка Хетти была из другого теста. Так и норовила смазливая вертихвостка улизнуть на улицу. Ей лишь бы соблазнять мужчин своим круглым личиком да кроваво-красным ожерельем из шрамов, что красовались у нее на шее. Но меня-то не проведешь — я и сама была когда-то молода да хороша собой. Вот и следила я, чтоб она всегда была у меня при деле — стряпала да по хозяйству работала. И справедливости ради скажу: была она на удивление чистюля — ни одной соринки, бывалоча, не оставит. Окна у нее аж сверкали, простыней я белее не видела. Но, видимо, так и не сумела я занять ее до конца. Вскоре заметила я у нее округлость, где не должно было быть оной, и одолели меня подозрения. Ну и приняла я меры. Когда вернулась в город моя хозяйка, сама на сносях, да слезла с повозки, с дороги вся грязная, да глянула на бесстыжую девку, так сразу и вышвырнула ее вон на улицу. А я знай посмеивалась. Но Хетти была настоящая кошка — умудрилась выскочить замуж за дубильщика Джедедию Эверелла, а тот еще и разбогател впоследствии. Вот я бесилась тогда — какая-то черномазая девка, а зажила что твоя леди!

Но самым мрачным был для меня ненастный день, когда появился на свет этот ее младенчик, этот ее Губернат. Выглянула я, помнится, в окно, увидела семящую под дождем повитуху Бледсоу и догадалась, что

наступил срок Хеттиных родов. И пробрала меня злость, поэтому после чая, поменяв нашему маленькому Джейкобу пеленки и спев колыбельную песенку, я надела чепец и накидку, взяла корзину с гостинцами да побежала на озеро к дубильщику. И вошла в дом, где стоял еще запах родов, и поднялась по лестнице в спальню, и откинула с младенчика пеленки, и увидела рыжие волосы, кожу цвета спитого чая, голубенькие глазенки навывкате, один из которых маленько косил. Поставила я корзину, запеленала ребеночка, вернула его Хетти — она смотрела на меня все это время с победоносной ухмылочкой — и побежала обратно, под дождь. И скажу я вам как на духу — даже в день, когда капитан Притибонс осиротил меня, оставив вдовой на веки вечные, не испытывала я такого ужасного смятения. И хоть молю я неустанно Всевышнего ниспослать спасение грешной сей душе, только с тех пор стала я видеть Мармадьюка не как прежде, а совсем другими глазами.

Глава 8

КОРОЛЕВА И ПОДЪЕМНЫЙ КРАН

«Молодые побеги» лучше всякого будильника. Я проснулась, когда брезжил серый рассвет и когда их шаги были слышны еще за полмили, когда они гулко топали по мосту через Саскуиханну. Пока я нашла старенькие кроссовки, футболку и шорты (с дурацкой эмблемой краснокожего на левой ляжке), «побеги» уже отмахали с полмили. Когда я вышла на Озерную улицу, на влажном от росы асфальте еще оставались их следы.

Грустно, конечно, сознавать, особенно в свете моей нынешней личной жизни, что я выбрала себе для утренних пробежек компанию шестерых немолодых мужчин. Повелось это как-то само собой в мои предшествующие нечастые приезды домой. Заслышу, бывало, их топот, соберусь в мгновение, выбегу на улицу и догоняю. По правде сказать, кроме них и Ви, у меня не было друзей в городе. Мои школьные приятели давным-давно поразъехались кто куда. Ребята они были толковые, и жизнь у них сложилась успешно, а успешного человека не заманишь в такую глушь, даже на праздники. После колледжа мы утратили связь друг с другом, и про их теперешнюю жизнь — где живут, где работают, где поправляют здоровье, сколько жен, разводов, детей — я узнавала от Ви, а чаще — от этой компании. «Побеги» были у нас в городе справочным бюро. Они знали все, не пропускали ни одного события. Даже когда я еще училась в школе, они ходили почти на все школьные матчи. Конечно, не случайно. Во-первых, все школьные спортивные мероприятия проводятся ближе к осени, когда туристы разъезжаются. А во-вторых, из-за меня — «побеги» меня, можно сказать, удочерили. Каждый год на Четвертое июля они приглашали меня на пикник с их семьями. Я ходила туда без Ви — у нее вечно выпадало на тот день дежурство. Меня приглашали посидеть за деньги с малыми детишками и торжественно всей компанией отмечали мою победу на литературном конкурсе «Дочери американской революции». В честь окончания мной колледжа они скинулись и оплатили мне путешествие по Европе. Ви тогда поначалу воспротивилась, сказала, что я не могу принять такой дорогой подарок, но они так упрашивали, что она в конце концов разрешила.

В то утро Темплтон сиял как хрусталь. «Побеги» пробежали всю Озерную улицу, мимо внушительного кирпичного здания отеля «Отесага», где какая-то важная мадам уже грела телеса на раннем солнышке, потом свернули на Нельсона и миновали теннисные корты. Дальше была Главная улица, здание суда, цветочный магазин, потом железнодорожный переезд, дальше они свернули налево, на Зимнюю. Здесь я уже начала догонять их. За двести ярдов я уже слышала, как они переговариваются на бегу, как шаркают их подошвы, а за сто уже носом чуяла, как они потеют и тихонько попукивают, думая, что этого никто не слышит.

Вот кто это был.

Иоганн Нойманн, отец моей одноклассницы Лауры. Всякий раз, приезжая из Германии, Иоганн привозил оттуда марципаны, а еще учил меня летом играть в теннис.

Большой, как медведь, Том Ирвинг, торговавший подержанными машинами и отдавший мне свою ржавую развалюху почти задаром. Это он, когда я однажды шла из школы зареванная — мне было тогда лет восемь, и меня обижали другие дети, — усадил меня на скамейку, обнял по-отцовски и дал хорошенько выплакаться.

Невеличка Томас Петерс, мой детский врач, такой был низенький, что уже в десять лет я была с ним одного роста. Его моя мать звала всякий раз, когда у нас в доме что-то ломалось или отваливалось, поскольку мастер он был на все руки и мог вылечить не только ребенка, но и любую вещь.

Сол Фолкнер, о котором всегда ходили сонмища слухов, ибо он был трижды женат, очень богат и не имел детей. Это он согласился, когда я попросила, отпраздновать мой десятый день рождения в его роскошном доме с огромным бассейном да еще сам оплатил все торжество. Род его принадлежал к числу знатных и старинных, где всем мальчикам неизменно давали имя Сол Фолкнер, и люди, когда хотели попрекнуть его деньгами, называли его не иначе как «Сол Фолкнер Пятнанный» вместо «Сол Фолкнер Пятый».

Фрэнк Финни, чья семья пожизненно владела изданием «Фриманз джорнал», где Фрэнк делал подписи к фотографиям. Это он оплачивал мне поначалу общежитие в колледже, в придачу слыл большим остряком и мог кого хочешь замучить шуточками, в которых, если хорошенько задуматься, не было ничего смешного, а вовсе наоборот.

И наконец, Дуг Джонс, мой школьный учитель английского и литературы. Внешне он сильно смахивал на стареющего Джима Моррисона, и в кабинете после уроков у него вечно оседали хихикающие старшеклассницы, просившие помочь разобраться с Шекспиром. Он взял

меня на роль Дездемоны в школьном спектакле, и когда я приходила посидеть с его тремя очаровательными маленькими дочурками, репетировал со мной мою партию. Что называется, натаскивал. «Нет, нет, Вилли, не пойдет. Ты должна произнести это с чувством!» — кричал он, и его дочурки заходились дружным залившимся смехом.

И вот теперь я догоняла их, с улыбкой глядя на эти родные мне спины, при виде которых на сердце стало как-то тепло. Дуг Джонс в тот момент говорил:

— ...да ты просто злился и ревновал, Большой Том, так и скажи, потому что она, когда что-нибудь спрашивала, всегда поворачивалась не к кому-нибудь, а ко мне. Я боялся, ты камеру расколотишь.

Тут все посмеялись, а Том Ирвинг сказал:

Очень весело, Дуг. Ну просто очень! Хотя это правда. Никак я не думал, идя на ток-шоу, что буду там у тебя на подпевках.

В разговор вступил Иоганн и со своим немецким акцентом заметил:

— А эта Кэти Дойл фообще-то стерфоза, праффда?

Я сообразила, они обсуждают собственное интервью, которое давали в утренней программе национального телевидения — по-видимому, в связи с их участием в обнаружении чудовища. Я уже собиралась поравняться с ними и предвкушала, как крикну им любимое «э-эй!», когда между нами прогремел мусоровоз. Пока я ждала, чтобы гроб на колесах проехал, меня поразила ужасная мысль. В задумчивости смотрела я вслед удаляющимся «побегам».

Я поняла: оказаться моим отцом в нашем городе мог любой. И этот кивнувший мне мусорщик, и каждый из бегунов. И доктор Клуни, любитель утренней гребли, наткнувшийся на чудовище. И директор начальной школы, и тучный маленький мэр, и почтальон, и приемщик в химчистке «Кеплерз». Директор Музея бейсбола, булочник из пекарни «Шнейдере», Джон-Джон, механик из «Гаражей Дуайта». Сам Дуайт. Умственно отсталый брат-близнец Дуайта Дерек. Мой велосипедный тренер, мой стоматолог и любой из троицы стариков, что все лето режутся в парке в шашки. Владелец похоронного бюро мистер Клэпп, пастор пресвитерианской церкви, католический священник, железнодорожный магнат, биолог с выездной биостанции, городской библиотекарь, любой из отцов моих друзей — да Господи, кто угодно мог оказаться моим отцом! Даже Аристабулус Мадж! Аристабулус Мадж, умевший напустить на человека сон своим тихим чарующим голосом, голосом самого дьявола; он и выглядел-то как дьявол — сутулый, весь какой-то пупырчатый, со впалыми щеками, с глазами, посаженными так глубоко, что белков было не

видно, — это он однажды прошел сквозь рой мотыльков, и те попадали наземь. Так вот даже Аристабулус Мадж мог оказаться тем, кому я обязана своим рождением. Сердце у меня екнуло, едва не остановилось, и мне показалось, я могу умереть от этого горя.

Потом сердце заколотилось, часто-часто, до дурноты. Я почувствовала себя цыпленком из детской сказки, который ходил и у всех спрашивал — у коровы, собаки, самолета: «Ты не моя мама?» Меня стошнило в канаву, и я поднялась, все еще чувствуя муть.

Проходила я сейчас возле начальной школы, смешного кирпичного зданьица, точь-в-точь как из конструктора «Лего». Отсюда я могла бы пробежаться по Ореховой, потом по Каштановой, свернуть на Главную и забрать свою машину, припаркованную у почты напротив Музея бейсбола. Я загнала бы машину домой — как-никак в ней все мое барахло — и торчала бы у мамочки дома, пока Комочек не вышел на свет или пока не позвонил бы Праймус Дуайер, а до тех пор, клянусь, я бы не вылезла из дому. Я стала бы ждать, когда Праймус Дуайер позвонит, потому что без него я не могла принять никакого решения относительно своего состояния и потому что сама я позвонить ему не могла. О том, что будет, если он не позвонит мне, я старалась не думать.

Но отогнать машину домой и при этом не встретить кого-нибудь из знакомых мне вряд ли бы удалось — это было проверено. В мой прошлый приезд в Темплтон два года назад, подъехав к супермаркету купить для Ви что-то из бакалеи, я наткнулась на свою бывшую одноклассницу. Она таранилась на витрину, начисто забыв о своих жутких пучеглазых сопливых детишках, возившихся у машины. Вдруг эта Чери обернулась и увидела меня, после чего мне минут пять, не меньше, пришлось сносить настоящую пытку — Чери накинулась на меня, словно я была ее лучшей подругой, трещала без умолку, совала мне в нос своих деток и все звала как-нибудь выпить вместе пивка. В магазин я тогда так и не попала — просто забыла, зачем пришла, когда уносила оттуда ноги. Долго еще колесила по городу, старательно объезжая тот супермаркет — боялась снова наткнуться на Чери, увидеть ее стеклянные глаза и детишек, пожирающих кукурузные хлопья. Еще тогда, стоя рядом с ней и глядя ей в лицо, я почему-то представляла ее в постели — мне прямо отчетливо виделось, как она пыхтит, постанывает и потеет, стругая очередных жутких детишек. Просто есть люди — только посмотришь на них и сразу почему-то представляешь себе, как они трахаются.

В общем, в то утро я юркнула на Главную. Именно юркнула — нервно, украдкой. Из пекарни «Шнейдера» несло на всю улицу старым добрым

ароматом свежего хлеба, навевавшим воспоминания. Рядышком, в бывшем мебельном, некогда принадлежавшем родителям рок-звезды и похожем на кукольный домик, теперь был магазин бейсбольных карт. За ним кондитерский, где продавались мои любимые карамельки. За ним магазинчик, торговавший бейсболками, где я подрабатывала каждое лето. До сих пор не вылетели из головы названия бейсбольных лиг: «Луисвилль бэте», «Толедо мад хенс», «Монтгомери Бисквите», «Талса дриллерс», «Батавия макдогз», «Лэнсинглагнатс». Я все шла, а улицы по-прежнему были пустынные — ни одной машины. Потом был парк, где зимой стоял домик Санты, а летом собирались школьнички-наркоманы. Потом аптека Маджа. Потом улица Пионеров прерии, старинное здание кузни и не менее старинный паб под названием «Храбрый драгун». За книжным и магазином «Друперс» — громадный Музей бейсбола, где у входа уже толпились желающие поглазеть на мячи и биты. Словом, все для туристов.

А ведь раньше все было иначе. Раньше жителей Темплтона не очень-то волновали туристы, они были частью нашей жизни, насущной, но не столь важной, как сейчас. Но после того как в 1918 году здесь основали больницу, все изменилось. В городе появились врачи, вместе с ними — умы и деньги. Появился загородный клуб, картинные галереи и даже свои миллионеры — посол, железнодорожный магнат, богатая красавица, взявшаяся за озеленение города, Фолкнеры со своим пивным состоянием, не говоря о моих предках по обеим линиям (впоследствии потерявшим все). Ступеньки пониже на социальной лестнице занимали больничные администраторы, адвокаты, библиотекари; еще ниже — фермеры, чья продукция постепенно утрачивала свою значимость; ниже фермеров — разношерстный люд, набивавшийся в паб «Храбрый драгун» по выходным. Когда в 1986 году открылась опера, в город хлынула сытая публика на «мерседесах», одевавшаяся от-кутюр, но даже им в конечном счете пришлось перебраться на другой берег озера, в Спрингфилд. Потом на старом пастбище Хартвикской семинарии на юге города открыли еще один парк. Мы тогда и не думали, что горстка команд детской бейсбольной лиги сможет так попортить топографию города. Откуда нам было знать, что вместе с детишками сюда нахлынут и их родители, полчища ожиревших горластых, вечно жующих людей, которым понадобятся рестораны, магазины, отели и мини-поля для гольфа. Откуда нам было знать, что этот парк в течение всего лета будет еженедельно принимать аж по восемь команд детской лиги, то есть по тысяче двести орущих детишек в неделю, плюс еще примерно шестьсот их кошмарных родителей. Размещались они близ Хартвикской семинарии — это в трех милях к югу от Темплтона, —

но их присутствие в городе изменило его до неузнаваемости. Магазин рукоделия, магазины «Игрушки», «Все для участка и дома» обслуживали только эти бейсбольные орды. Куда ни ткнишь, везде продажа сувениров. И везде туристы, от которых просто негде укрыться.

И вот там, в толчее, уже образовавшейся перед почтой, стояла моя несчастная машинка, доверху набитая шмотьем и книгами и просевшая до самой земли. Хуже того, к ней мостился эвакуатор.

Я припустила быстрее, радуясь, что оставила ключи зажигания в автомобиле. В Темплтоне даже на самой людной Главной улице было принято оставлять ключи в машине — одни делали это из стадного чувства, другие из благородных принципов. Я плюхнулась на сиденье и начала выруливать на соседнюю улицу. Из эвакуатора вылез мужик и зашагал ко мне. Высокий, с уже трясущимся брюшком, в тренировочном костюме, он чесал ко мне вразвалочку и радостно улыбался.

— Что, неужели так и не хочешь вытащить ко мне свою задницу? — крикнул он, приближаясь.

Я высунулась в окошко и сообщила:

— Нет, сэр. Я здесь просто разворачиваюсь, чтобы попасть в парк. А задницу свою вытащу где-нибудь еще. Вы не против?

Он наклонился к окошку, и тогда я узнала — Зики Фельчер. Бог мой!

— Ба-а! Да кто это у нас тут? Уж не мисс ли Королева девяносто первого года?

Словечко это даже сейчас меня чуточку покорило, ведь менее подходящей кандидатуры на роль королевы красоты найти было трудно, потому что я была хоть и симпатичной, но далеко не красавицей. Высокая, стройная — да, но всего лишь симпатичная, к тому же тогда я чуралась всех этих конкурсов и всей душой презирала их. И все же, когда я стояла в тот день на грязном футбольном поле, увенчанная короной, мое лицемерное сердечко глухо колотилось от счастья.

Пару мне тогда составил Зики Фельчер, которого выбрали королем.

— Фельчер, ты?

— А кто, по-твоему? Давай вылезай, обнимемся!

Так на углу улиц Главной и Красивой я оказалась в объятиях пузатого мужика, в чью сторону старалась даже не смотреть в старших классах. Тогда это был атлетичный красавчик, зеленоглазый кудрявый блондин, известный непревзойденным талантом пудрить девкам мозги. А я в те времена от таких испорченных типов старалась держаться подальше.

— Черт!.. — воскликнул он, выпуская меня из объятий и ощупывая мою стриженую башку. — Ну и причесочка, мне нравится. А здесь ты что

делаешь?

— О-ох... — Я отвела взгляд в сторону. — Диссертацию дописываю, а тут хотя бы спокойно.

— Это точно, — согласился он. — Вечно я забываю, что ты у нас умная. А я вот только колледж закончил, зато там была настоящая школа жизни. Кулачная школа жизни. Там тебя всему научат, да получше, чем в ваших университетах.

— Ну да. — Я про себя подивилась столь убогому ходу мыслей.

А он продолжил:

— Зато двое моих пацанов будут как ты. Умные будут, чертяки!

— У тебя дети? — удивилась я. — Фельчер, ты что, женат?! Я и не знала.

— Нет, не женат. Не верю я во все это.

Во время неловкой паузы я с интересом стала разглядывать Фельчера, а он с хитроватым прищуром — меня.

— Это во что ты не веришь? — спросила я.

Он криво усмехнулся, и от его простоватой провинциальной манеры говорить не осталось и следа, когда он вдруг объявил:

— Не верю я в эти ваши общественные устои. Институт брака себя давно изжил. — И, видя недоуменное выражение моего лица, прибавил: — Что ты так удивляешься, Вилли Аптон? Ты не одна такая умная. Я, конечно, живу в Темплтоне, но это не означает, что я тупой как пробка.

— Да нет, я ни о чем таком и не думала.

— Нет, ты подумала как раз об этом, но я прощаю тебя. Разговор прервался. Я разглядывала свои кроссовки, он усмехался. Потом, лишь бы как-то скрасить противную паузу, я спросила:

— Ну и кто же та женщина, на которой тебе мешают жениться убеждения?

Настала его очередь пялиться в землю. Ковыряя мыском трещину в асфальте, он сказал:

— Мелани. Мел Поттер. Только не больно часто мы видимся. Дети у нас общие, вот и все.

Мелани я помнила хорошо, и груди ее арбузные, и миленькое, как у плюшевого медвежонка, личико. В личной свите красавца Зики она задавала тон.

— Здорово, — сказала я. — Может быть, соберемся как-нибудь вместе — пива поьем, поболтаем. А сейчас, извини, мне надо домой — мать завтрак готовит.

— Как, уже домой? — Он заметно расстроился. — Ну ладно.

Вид у него был такой удрученный, что я тронула его за плечо и сказала игриво:

— А как мне теперь быть с машиной?

Он снял оранжевую униформенную бейсболку и, улыбаясь, почесал затылок. Золотистые кудри его куда-то исчезли. Вместо них теперь отсвечивала внушительная залысина, сами волосы потемнели.

— Ну, не знаю, — протянул он. — Ты проштрафилась, Королева. Несанкционированная стоянка больше сорока восьми часов. Прямо даже не знаю...

Я надула губки, он засмеялся:

— Сделаем вот что: ты угостишь меня пивом, а я с тебя не буду брать штраф. Идет?

— Хорошая идея, — ответила я, забираясь в машину. — Спасибо, Фельчер. С меня причитается.

— Все, что угодно, для моей красотишки! — Он учтиво прикрыл дверцу, затем наклонился к окну: — И вот что, Вилли. Меня больше никто не зовет Фельчером. Уж не знаю почему, но «Фельчер» звучит как-то пошло. Зови меня Зики или Иезекиль. Друзья зовут меня Зики.

— Зики. Иезекиль. Забавно, но хорошо, так и буду тебя называть.

— Договорились. — Он похлопал машину по крыше, словно лошадь по крупу, а я была кем-то вроде прекрасной пастушки.

Обогнув парк, я погнала к озеру. На полпути к дому меня разобрал смех. В старших классах мы неспроста звали его Фельчером, а желая уберечься от его невозможной обольстительной красоты; это было заклинание, которым мы надеялись вернуть его к нам на землю. Фамилия нам служила оберегом-дразнилкой, другого оружия против него у нас не было. И вот через десять лет после окончания школы он как-то сообразил, что можно и не зваться Фельчером. Он давно на земле, среди смертных, и мы без всякого опасения можем вернуть ему его имя. Иезекиль. Я не могла перестать смеяться, даже когда парковалась у дома.

Утром Ви ушла на работу, а я до полудня мучительно наблюдала из окна своей комнаты за тентом, которым было укрыто чудовище. Кран приехал забрать животное, но погрузку не начинали. В открытое окно до меня долетал невнятный ропот толпы — зевак, разносчиков легких напитков, газетчиков-репортеров, собирающих отовсюду последние новости.

Я устала и вышла в холл, где мать устроила что-то вроде портретной галереи предков. Она начиналась внизу, и открывал ее Мармадюк. Кисть

Гилберта Стюарта запечатлела суровый взгляд, рыжую шевелюру, мощный подбородок. Со стены напротив, с высоты средних ступенек, на него взирала его маленькая жена Элизабет, хрупкое, сухонькое существо. В конце лестницы благосклонно улыбался великий романист Джейкоб Франклин Темпл, а вдоль всего холла тянулись изображения — масло, офорты, фото — моих более поздних предков. Фотографий матери было всего две: на одной она была запечатлена маленькой девочкой в платьице с оборочками, на другой — длинноволосой полухиппи.

Я посмотрела на это лицо, улыбавшееся мне из семидесятых, потрогала свой пупок и сказала сидевшему внутри Комочку:

— Вот полюбуйся на своих придурочных предков!

Над верхними ступеньками дед и бабушка в день их свадьбы. Дед — ему было тогда восемнадцать — в этом торжественном костюме походил на скелет. Его молодая жена Фиби Типтон, двадцативосьмилетняя старая дева, благодаря огромному носу, отсутствующему подбородку и крохотному тельцу производила впечатление замороженной голодом. Вообще выглядели они, надо сказать, не очень-то привлекательно — зажатые, напряженные, будто окаменелые в этих своих свадебных облачениях, типичные девственники. В игру похоти они, наверное, играли только лишь раз, когда зачали мою мать, а потом прекратили, облегченно вздохнув. Поскольку среди предков моего отца незаконнорожденных быть скорее всего не могло, я двинулась вдоль лестницы дальше, чтобы рассмотреть прадеда и прабабку.

Родители моей бабки Фиби Типтон выглядели не лучше дочери. Клаудиа Старквезер и Чак Типтон сжимали в руках по томику Библии. У тощей болезненной Клаудии, как и у Фиби, дико выпирал нос и отсутствовал подбородок; Чак Типтон плюс к необъятным размерам имел до ужаса глупый вид. Клаудиа вела свое происхождение от Мармадюка через Хетти, но только вряд ли она была падка на любовные шашни с такой-то внешностью!

— Нет, — сказала я, обращаясь к Комочку. — О ней забудь. Это совсем не она.

И перешла к родителям деда, поскольку Сара Франклин Темпл была законным прямым потомком Мармадюка. Ну, здесь я хоть заулыбалась, ибо родители отца — Сара Франклин Темпл и Астериск Сай Аптон — были красивой парой. Сара — роскошная брюнетка с чистой кожей и ясным взором, ее муж Сай — красавец удалец, даже улыбочка щегольская. Глядя на Сару, легко было поверить, что она могла закрутить роман, родить ребеночка где-то в укромном месте — например, в монастыре,

благополучно вернуться и выскочить замуж за первого встречного-поперечного. Ее прекрасное лицо говорило о скрытых в ней тайных глубинах.

В общем, я сняла со стены фотографию прабабки и прадеда, где они на сильном ветру пожимали руки Элеоноре и Франклину Делано Рузвельт, и расцеловала обоих. Хотя Сай на протяжении многих лет был бейсбольным комиссионером, большую часть документов моя мать отдала в ГИАН, а не в Музей бейсбола, который поднял тогда по этому поводу страшный шум. Зато я теперь знала, где надо искать. Я сомневалась, найду ли какие-то документы относительно Сары, и приготвилась вести поиски по линии ее мужа — именно там я надеялась обнаружить какие-нибудь свидетельства нарушения супружеской клятвы. Какие-нибудь следы необъяснимой враждебности горожан к молодому повесе и выскочке. Какое-нибудь злопыхательское анонимное письмо, отправленное ничего не подозревающему супругу. Какой-нибудь перл, бесценный подарок — бесценный для меня и ничего не значащий для остальных.

Я так взволновалась и оживилась, что совершенно забыла о решении сидеть дома и ждать звонка Праймуса. Схватив блокнот и ручку, я бросилась вниз, мимо моих древних предков, мимо Джейкоба, Элизабет, Мармадьюка — напрямиком на улицу.

Я бежала мимо косых навесов Музея ремесел и приютившейся в нем стилизованной под девятнадцатый век деревеньки, от которой пахло навозом; мимо длинного поля для гольфа; мимо гряды зеленых холмов и клуба, откуда раздавались глухие шлепки теннисных мячиков; мимо яхт-школы на берегу озера. Наконец впереди показался особняк с каменными колоннами, так называемый Дом Франклина, еще тридцать пять лет назад принадлежавший моей семье, но с тех пор давно уже ставший музеем. На миг я вообразила, как он выглядел в те давние времена — лошадиные упряжки и кареты на дорожке перед домом, колонны и окна, украшенные гирляндами в ожидании гостей, съезжающих на бал. Библиотека помещалась в отдельном, куда как более скромном каменном здании на отшибе. Я постояла немного в сторонке, внутренне собираясь, и вошла в прохладный сумрачный холл.

Там за столом дремала старушка, седой пушок на худом подбородке придавал ей сходство с козой. Перед ней стояла табличка с надписью: «Вход для посетителей — 5 долларов. Для сотрудников ГИАНа и аспирантов-историков вход свободный». Припомнив свои заслуги перед историей и многие часы, проведенные в ползании на коленях и

перебирании крупинки земли аляскинской тундры, я записалась как аспирант-историк и засела за работу, то и дело гоняя за новыми ворохами подшивок тощего усатого библиотекаря, который смотрел на меня волком всякий раз, как я обращалась к нему с очередным вопросом.

Прошло много часов, солнце закатилось за холмы, погрузив озеро в тень, а я все торчала за дубовыми библиотечными столами. Вокруг меня выросли целые горы книг, коробок с микрофильмами и газетных подшивок; мой блокнот был исписан вдоль и поперек. Я не нашла ровным счетом ничего — кроме одного лишь факта: Сай Аптон прибыл в Темплтон в 1935 году в поисках подходящего места для будущего Музея бейсбола. На поиски у него ушел месяц, но в Темплтоне он повстречал Сару Франклин Темпл, влюбился в нее и остался. Это все, о чем упомянул мой дед Джордж Аптон в тонюсенькой книжечке о своих родителях, вызвавшей такой скандал и то ли приведшей, то ли не приведшей к его смерти.

В эту самую книжечку, стоя сейчас передо мной, и тыкал пальцем сердитый библиотекарь.

— Мисс Аптон, сожалею, но мне скоро пора домой, — проговорил он.

Сожаление его было искренним: он целый день, чтобы помочь мне, рылся на полках. Я сказала ему, что приступаю к диссертации на тему миграции бейсбола в Темплтон, начавшейся в 1935 году, а специальным объектом исследования выбрала личность Сая. Глупый это, конечно, был предлог, но другого я придумать не смогла; главное, что он полностью устроил библиотекаря. Коза-старушенция на входе вдруг открыла глаза, сонно помотала головой, посмотрела на нас и вокруг и снова уснула в той же позе.

— Извините, — сказала я, — но тогда давайте отнесем все это на место.

— Ничего страшного, полежит до завтра — был мне ответ. — Летом у нас мало посетителей, а вам это может еще пригодиться. Вы же, по-моему, мало что успели сделать.

Я потянулась и зевнула.

— Это точно. Тогда я приду завтра. Только скажите мне, как вас зовут, на случай если мне снова понадобится ваша помощь.

— Питер Лейдер, — покраснев, представился он и протянул мне руку.

Я была так ошарашена этой встречей, что просто стояла и тупо смотрела на него, пока он смущенно не опустил руку.

— Нет, не так, — сказала я. — Питер-Лейдер-Пудинг-Пирожок — вот как.

— Ну... вообще-то да.

— Ну надо же! — воскликнула я.

В школе Питер Лейдер учился на четыре класса старше меня и был в те времена настоящим пончиком, в последнем классе и вовсе жиртрестом, зато лучше всех в школе играл на музыкальных инструментах — и на гобое, и на флейте, и на саксофоне, и на простой трубе, и на басовой, и на барабанах, и на скрипке. Питер Лейдер, которого я знала когда-то, мог бы проглотить этого щупленького вместе с потрохами. Так что теперь я не верила своим глазам.

— Неужели ты Питер Лейдер?! Целый день тебя сегодня вижу, а не узнала. Вот жалость! Мне так неловко...

Но лицо Питера Лейдера в новом облике лучилось улыбкой.

— Да не расстраивайтесь вы, мисс Аптон, меня и впрямь трудно узнать. Пудингом-Пирожком меня никто не называл уже много лет. Это все щитовидка. Кто бы мог подумать! Ну и язва желудка. В общем, сплошные болячки.

— Да, сочувствую. Только не зови меня «мисс Аптон», Питер! Я Вилли!

— Хорошо, Вилли, — поправился он, покраснел от удовольствия, смущенно прокашлялся и, собравшись с духом, продолжил: — Теперь я знаю, что ты интересуешься своим прадедом Саем. Так вот я кое-что про него нашел в специальном сборнике. Там чуть ли не дневник его жены Сары Франклин Темпл, твоей... ну, прабабушки. Относится ко времени, когда Сай приехал в город. Вот я и подумал: может, там есть какая полезная для тебя информация. Мне кажется, есть смысл попробовать. Любопытная вообще штука, на мой взгляд. И написано очень недурным слогом. Никто, по-моему, не читал этих записок — все сидели и выжидали, когда у Сая появится биограф.

Сердце у меня радостно забилось.

— Вот спасибо! А можно мне взять этот дневник домой?

— Извини, но сборник на дом не выдается, — проговорил он с выражением сожаления.

— Ну пожалуйста! Всего на одну ночь!

— Мисс Аптон... — забормотал он, но я его перебила:

— Вилли.

— Вилли! Мне очень жаль. Нельзя.

— Ну пожалуйста-пожалуйста! — заныла я.

Он боязливо огляделся по сторонам и зашептал, присматриваясь к козе-старушенции:

— Ладно. Но только потому, что это ты и это касается твоей семьи. А вообще не положено. — И он забавно хихикнул, когда я незаметно сунула

книгу в свою сумку.

— Завтра верну, — пообещала я. — Спасибо тебе огромное, Питер Лейдер.

И я заспешила к выходу, боясь, как бы он не передумал. Уже выскочив на улицу, я представила себе: маленький библиотекарь уныло смотрит на дверь, хмурится и потирает ручки как бурундучок.

Только вернувшись вечером домой и поднявшись в свою комнату, я увидела его. На фоне темнеющего неба, окаймленное рамой окна, висело в воздухе, поднятое краном, чудовище — сюрреалистическая и живая картина. Шея его была изогнута назад, голова повернута на восток; передние и задние лапы беспомощно повисли; огромный хвост напоминал гигантскую запяную. Масляного цвета живот смотрел в небо, и от этого чудовище, несмотря на размеры, казалось жутко беззащитным. С его туши серебристыми струями стекала вода.

Со страдальческим скрипом кран перенес чудовище к огромному грузовику и начал осторожно опускать на плоскую платформу. И сразу же ветром принесло с озера новый запах — смесь рыбного, растительного и еще какого-то зловонного гниения. Отвернувшись от окна, я опять обнаружила у себя в комнате мое привидение. Сразу поняла, что оно сердится. Я вспомнила, как дотрагивалась до чудовища, вспомнила исходившую от него щемящую тоску и поняла, почему злится мое привидение.

Я поняла: что-то закончилось теперь, когда чудовище вытащили из озера. Меня охватила грусть, окутала всю словно бархатной пеленой, и я стояла, прижимая руку к животу и чувствуя, как там пульсирует жизнь моего Комочка.

Когда я была маленькой и очень ранимой, книги были моим убежищем, моим черепашиным панцирем. С книгами я забывала о своих обидах. Материальная, телесная жизнь мало значила для меня, зато много значили книги. Мое сегодняшнее возвращение к ним стало настоящим возвращением домой.

И вот, слыша, как мать, занятая приготовлением ужина, возится внизу на кухне, я, сидя на кровати напротив моего сердитого привидения, взяла в руки дневник Сары Франклин Темпл и принялась читать. В начале этих записок она была всего лишь выпускницей колледжа и изъяснялась так странно, что я попросту терялась в этих словах. Ви трижды звала меня к ужину, потом поднялась сама и вырвала у меня из рук книгу.

Твоя бабуля была абсолютно чокнутая! — поспешила я возбужденно

сообщить ей.

— Вилли, — сказала она, скрывая улыбку. — Я рада, что ты нашла чем занять свой недюжинный мозг, но даже великие ученые не обходятся без пищи.

— Скажи, Ви, неужели тебе никогда не было интересно побольше узнать про них? Про Сару и Сая. Про этих твоих шикарных деда и бабу. Неужели никогда?

Вопрос, похоже, поставил ее в тупик. Моргая, она смотрела на меня, затем опустила глаза на книжку, что держала в руках.

— Нисколечко, — ответила она. — Далекое они какие-то были... Вроде как знаменитости. Я расспрашивала про них прабабу, но она тогда уже была не в себе, так что кто поймет, правду ли она говорила. А отца спросить я не могла — не любил он про нее говорить. Не знаю, я до сих пор, наверное, осталась в душе той послушной маленькой девочкой. — Она грустно вздохнула и в своей обычной краткой манере прибавила: — Какая разница? Услышу все это от тебя, не сомневаюсь. А сейчас идем, у нас ужин стынет, и уже поздно, а мне еще готовить еду на завтра для молебна.

— А-а, баптистский закусон? Саранча и дикий мед, надо полагать? — съязвила я, вставая навстречу погрузневшей матери.

— Нет, просто особое постное печенье. Его вкушают для обретения спасения.

— Говоришь как Кларисса! — заметила я и усмехнулась про себя.

Пока мы спускались по лестнице, Ви держала меня за руку, а внизу повернулась ко мне лицом.

— Знаешь, Солнышко — голос ее дрогнул, — несмотря ни на что, я рада, что ты опять дома.

***ВОТ КАК ВЫГЛЯДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИЛЛИ АПТОН
О ЕЕ РОДОСЛОВНОЙ ПОСЛЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ПЕРЕСМОТРА ТАКОВОЙ***

Хетти Эверелл (рабыня) ← Мармадюк Темпл → Элизабет Темпл (жена)

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

Клаудиа Старквезер

1888 – 1923

м-р Чак Типтон

1887 – 1948

⋮
⋮
⋮
⋮

Фиби Типтон

1923 – 1973

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

{ Джейкоб

{ Франклин

{ Темпл и др.

Сара Франклин Темпл

1913 – 1933

м-р Астериск «Сай» Аптон

(бейсбольный комиссионер)

1895 – 1953

⋮
⋮
⋮
⋮

брак в 1951 году

⋮
⋮
⋮

Вивьен Аптон

1955 –

(И какой-то неизвестный темплтонец)

⋮
⋮

Вилли «Солнышко» Аптон

1973 –

Джордж Франклин

Темпл Аптон

1933 – 1973

Глава 9 ИЗ ДНЕВНИКА САРЫ ФРАНКЛИН ТЕМПЛ АПТОН

Приводится с сокращениями

С 15 мая по 1 августа 1932 года

И вот я здесь. Моя пленная душа наконец вырвалась на свободу. Само слово «Манхэттен» звучит для меня как песня... Какой молодец мой отец, что отправил меня сюда на лето! А братья мои, похоже, считают, что мне пора замуж. «Как могли мы, — должно быть, думают они, — позволить нашей милой сестрице окончить колледж незамужней?» ...Как плохо они меня знают! Ведь я не соглашусь пойти ни за антибуржуазного борца, ни за щеголеватого хлыща, ни за дьявола-адвоката, ни за издателя, ни за богатого холостяка — в общем, ни за кого из тех, с кем они меня так усердно пытаются познакомить. Я выйду за художника, я буду женой гения или лучше останусь в старых девах и посвящу себя знаниям...

* * *

«...Сегодняшний Манхэттен более не средоточие ослепительной роскоши. Кругом грязь. Мужчины в деловых костюмах, предлагающие никому не нужные товары. Брошенные газеты, крысы с глазками-бусинками — и повсюду очереди за благотворительной едой. От всего этого мне дурно. Я читаю газеты и за скупыми строками вижу историю жестокого голода... Украинские женщины еле стоят на своих ножках-палочках, — кажется, повеет ветер, и они упадут. У их детей животы вздуты как шары. А между тем мои братья только успевают зачерпывать черную икру изящными ложечками слоновой кости. Вечерами мне грезится Темплтон, озеро Глиммерглас — мое озеро; оно как ледок на разгоряченном языке...

...Я здесь всего две недели, а это место уже стало для меня невыносимым; я уже насмотрелась на мой народ, на этих людей с запавшими от голода глазницами... Мне страшно... Слова бьются изнутри о язык словно мухи о стекло... какие-то неуместные смешные слова, иногда они даже вырываются наружу; мои братья и их жены затаенно смотрят на меня, переглядываются... Только не эти иглы опять! В

больницу идти я больше не могу!.. Я думала, Смит вылечил меня — за все это время только один случай, только две недели безумия за четыре года... весь этот хоккей, эти чаепития, все эти менструации и размышления... Там я чувствовала себя в безопасности, здесь — нет.

...Мне тошно, плохо; братья отправляют меня домой. Это место губительно для меня. Темплтон для меня как спасительное лекарство... такие вот образы я вижу перед собой. Такие вот голоса, высокие визгливые голоса, какая-то капризная девочка разговаривает со мной теперь постоянно. Как я ненавижу ее!.. Поезд абсолютно пустой. Олбани такой маленький. Рыба с блестящей чешуей... цвет этого поезда так напоминает коричневый бархат... поезд замедляет ход... Ох, наконец-то я в Темплтоне!.. «Темплтон-Темплтон», — говорит мне поезд и замедляет ход. Вот озеро, синее, глубокое как объятия.

...Отец приехал за мной на своей старой побитой машинке... «Богатый человек, дорогая, не должен демонстрировать своего богатства в такие тяжкие времена», — показывает в сторону убогих лачуг, ютящихся за железной дорогой. — Люди бедны повсюду, Сара, даже здесь... Отец! Какой он старый! Какой уставший! Семьдесят три года, и ноги уже дрожат. А мать стала суетливой и нервной, все занята сиротским приютом, все хлопочет, чтобы накормить бедных, очень худа для своих сорока, хотя по-прежнему еще красива... «Здравствуй, моя дорогая, выглядишь, как всегда, прекрасно. Вот боюсь только, ты сочтешь наши теперешние обстоятельства стесненными. Твой отец сверх всякой меры щедр, видишь ли, поэтому мы теперь держим только садовника да горничную. Крошка Салли из сиротского приюта»... Мне эта крошка Салли что-то не нравится — немая девушка, бугристая кожа, волосы неприбранные... Отец плотно прикрыл за нами дверь, когда мы вошли в кабинет. Над каминной полкой Мармадюк Темпл, а на каминной полке старинный картрайтовский бейсбольный набор. И зачем отец его сюда водрузил? Все, конечно, знают, что бейсбол — это древний спорт... «Миллз коммишн», «Сполдинг корпорейшн», бейсбольные фабриканты, расцветающий американский миф... бейсбол изобретен не в Темплтоне и не где-то там еще, он развился, развился как растение, из разных вещей...

Отец выглядит усталым, все трет глаза... «Сара, боюсь, у меня для тебя плохие новости. Мы больше не так богаты, как раньше. Эта Великая депрессия нас почти разорила. А я еще вкладывал столько денег в наш

город, когда видел, как он катится в пропасть... Больница, которую я построил для моего хорошего друга Имоджин Финч, гимназия на Главной, электрическое уличное освещение, мемориал Гражданской войны рядом с женской школой Нокс, теннисные корты... Да вот еще начал новое строительство — башня Короля-рыбака... Все называют ее безрассудной затеей Темпла... огромный каменный замок с черепичной крышей на берегу озера... люди, боюсь, просто используют меня. Я же вижу, сколько у нас в городе теперь черепичных крыш... Ох, Сара, что я могу поделать? Боюсь, девочка моя, Темплтон умирает».

Умирает наш Темплтон! Он рассказал мне то, чего я не знала, — как «сухой закон» губит знаменитые Фолкнеровы плантации хмеля по всему округу, от них уже не осталось почти ничего; как сгорела фабрика клавишных инструментов; как издательство Финни перебралось в Рочестер; как разорился торговый дом в Хартвике; как закрылась перчаточная фабрика в Мушином ручье. Теперь очередь молочных ферм, самого Темплтона. Обедневший люд становится еще беднее, объяснил он мне...

...сегодняшняя моя пешая прогулка... обшарпанные дома, облупляющаяся со стен краска, ставни, болтающиеся на покосившихся петлях... сады поросли сорняком, на клумбах вместо цветов тыквы... на дорогах сплошь рытвины, и опять эти лошади... подумать только, лошади! Это в наш-то век!

Повсюду горы конского навоза!.. босой мальчишка в отрепьях держит в грязных ручонках жалкую маленькую рыбкину и улыбается от счастья — от счастья, что сегодня у него есть еда... опустевшие дома... витрины на Главной улице, как пустые глазницы... да, отец мой был прав, это смерть, она повсюду... даже эта визгливая девочка в моей голове молчит с тех пор, как я приехала... выходит, она тоже охвачена страхом...

...что я могу сделать? За пять дней после того разговора с отцом во мне поселилась уверенность — я должна что-то сделать. Но что я могу? Мой мозг умеет только анализировать литературу, а никак не такие житейские земные проблемы! Конечно, это прямая забота моего отца оживить Темплтон, но, боюсь, он уже слишком стар. И если Смит чему и научил меня, так это тому, что женщины способны на то же, на что и мужчины, если не на большее. «Я должна спасти город!» — эта мысль рефреном повторяется у меня в голове, звучит как античный греческий хор. «Я

должна спасти город!» Я же изучала французскую литературу... Жанна д'Арк... Ла Пюсель... божественная в своей одержимости, ведущая мужчин в бой, как крылатый ангел... Я все думаю о ней... но я же не святая и не гений, я просто девушка, которая знает слишком много, чтобы знать что-либо вообще...

...сегодня ездили с отцом осматривать башню Короля-рыбака... Мыс Юдифи... а этот замок не такой жалкий, как я думала, только производит почему-то грустное впечатление... местный известняк весьма органично вписывается в береговой пейзаж, а вот эта красная крыша выглядит совсем не органично... некрасивый, зато отличный памятник моему отцу... чувствуется, правда, во всем этом что-то от *droit de seigneur*^[1] — весь береговой ландшафт изменен по прихоти Темпла. Он понравился мне своей неказистостью и незавершенностью... пока отец разговаривал со строителями (все десятеро прервали работу, чтобы поболтать с ним), я любовалась озером. Как часто оно грезилось мне, когда я была на чужбине... словно выточено из зеленого мрамора... утки с веселым шумом плюхаются на воду, вдали крохотные белые паруса, и дрожащая мелкая рябь на поверхности... а потом я видела нечто странное. В середине озера, примерно в миле от берега, я уверена, что видела какой-то огромный предмет, он всплыл на поверхность и снова ушел под воду... наверное, какой-нибудь гигантский пузырь газа, поднявшегося со дна... или глаза меня обманули. Потом, пока отец еще был занят разговором, я посмотрела в воду у берега и увидела чью-то голову в камышах... потом разглядела тело... улыбающийся маленький индеец, набедренная повязка, он не из живущих людей, он призрак. Да, призрак! Он прижимался к поверхности воды как к стеклу, и я даже опустилась на колени... приложила ухо к воде, чтобы расслышать, что он говорит... но отец уже положил руку мне на плечо, я оторвала взгляд от воды», а когда посмотрела туда снова, маленький индеец уже исчез...

...сегодня этот человек из моего детства вернулся ко мне; голос его опять звучит у меня в голове, басистый, зычный, словно древний трубный глас. Когда он звучит, визгливая девчонка смолкает. Он говорит с «еси» и «есмь», как в библейские времена. «Ты еси спасительница Темплтона», — говорит он. «Но как?» — мой собственный голос ему в ответ у меня в голове. «Ты еси спасительница Темплтона», — твердит он. «Ты еси спасительница Темплтона. Ты еси спасительница. Ты еси спасительница. Ты еси спасительница...»

* * *

...все утро провела у скалы Старейшин, все вглядывалась вниз, надеялась увидеть снова того индейца... зато начал выплывать кто-то другой», косматые седые волосы на поверхности воды, луковицеобразное, искаженное в крике лицо, древнее одеяние, книга в руке — Библия?.. Но как только появился этот страшный образ, я услышала клаксон. Я обернулась и увидела золотистый «кадиллак», невозможной красоты машина съехала на обочину... Но кто же будет сигналить молодой женщине? Это же так неприлично! Да и кто в Темплтоне смог бы купить такой роскошный автомобиль? Может, кто-то из моих знакомых? Доктор Финч? Фолкнеры на остатки средств? Нет, никому из моих знакомых не достанет такой вульгарности.

Вот радость! Отец Мой чуть ли не приплясывает от радости... старик оживился... а случилось вот что: я потеряла сон (совсем не хочется спать, так и пышет энергия), а сегодня утром пошла за покупками с моей корзиночкой, в стареньком шелковом платье, очень уж оно облегает грудь... Я шла по Главной улице и увидела неподалеку от себя машину. Золотистый «кадиллак», тот самый, вчерашний, за рулем мужчина, читает газету. Я... пришла в ярость. Никогда я не приходила в такую ярость, она всколыхнулась во мне внезапно... «Ваша матушка пристыдила бы вас, узнай она, что вы сигналите молодой незнакомой женщине», — сказала я... уголок газеты приподнялся, потом второй, за ними — два синих глаза, лицо улыбается, твердая решительная челюсть, губы как у женщины... красивый, на мой взгляд... а сказал: «Ах, простите! Вы так милы, что у меня просто рука дрогнула, сама нажала на клаксон! Простите!...»... говорит как бы с внушением, как диктор на скачках... громко говорит!.. и моя ярость куда-то исчезла, обернулась смущением. Я заспешила прочь, но вскоре смотрю — машина сопровождает меня, да еще не по той стороне, против движения.

Я остановилась: «Что вам нужно?» — а он вдруг выскочил из машины, подбежал ко мне и поцеловал руку. У меня все перевернулось внутри — столько комплиментов мне наговорил, голова моя пошла кругом, прямо вскружил мне голову. И еще сказал: «Какая жалость, что Темплтон нам не подошел и через час мне уезжать... Я был бы рад познакомиться с вами поближе...» Оскорбительные эти речи я пропустила мимо ушей, только спросила, почему не подошел Темплтон... «Слишком мал и слишком

изолирован для нашего начинания. Я, чтоб вы знали, вице-президент Американской национальной бейсбольной лиги. Задумали мы один серьезный проект, и приходится мне теперь колесить по всему северовостоку в поисках подходящего места»... «Начинание!» и сразу у меня в голове этот трубный глас, выкрикивающий: «Ты еси спасительница Темплтона!..» Я посмотрела на мужчину из «кадиллака» и спросила: «Как вас зовут?»... «Астериск Аптон, но столь прекрасная дама, как вы, может называть меня просто Сай. А у вас какая фамилия, мисс?» Эти синие глаза отражают ясный утренний свет. Астериск Аптон — очень странное имя для обычного человека. Я решила, что буду называть его Сай... заметила, что он смотрит на меня с любопытством... пахло от него хорошим табаком».

«Темпл», — ответила я... он покраснел, вроде как ему стало приятно, и сказал: «Пишется так же, как у Джейкоба Франклина Темпла?»... «Да. Я его правнучка»... «А я обязан вашему предку жизнью. В двенадцать лет я чуть не вылетел из школы, чуть было мне не пришлось идти работать, потом попался мне в руки один из романов вашего прадеда...» Он все болтал, и так я привела его домой... Оставила его в холле, пошла к отцу в кабинет и все ему рассказала... А Сай все, по-видимому, гадал, что он делает в этом доме, — смотрел на меня вопросительно, когда я вышла. Глаза эти синие прямо жгли мне лицо...

...два часа они разговаривали наедине... Я видела, как отец проводил его до машины, пожал ему руку... Обрато отец бежал как мальчишка, ворвался в мою комнату... Саю предстояло объехать еще много городов, где бы лига могла построить музей бейсбола — так сказать, основать миф о бейсболе, — но отец уговорил его не вычеркивать из списка Темплтон... вернуться сюда в конце июля, и тогда у нас найдется для него предложение, от которого он не сможет отказаться... — Сара, милая, по моему, ты просто околдовала этого человека. Он все расспрашивал и расспрашивал о тебе. — Отец улыбается. — Сара, милая, я просто уверен, что скоро мистер Аптон сделает тебе предложение. Он хороший человек, его состояние растет, и я думаю, если он сдержит слово и вернется сюда, то станет бейсбольным комиссионером, провозвестником бейсбола...»... «Но он так вульгарен! — вскричала я. — Этот ужасный громогласный смех, эти восторженные утверждения!»... «Ах, моя дорогая, да где же ты еще найдешь хорошего мужа!»... Отец, смеясь, выбежал... а я побежала в туалет и вытошнила там свой скудный завтрак. И пока я писала эти строки,

золотистый «кадиллак» уже восемь раз прокатился по нашему кварталу. А теперь куда-то исчез.

...дни идут, дни идут, тьма, потом свет, огни Темплтона в туманной мгле, сверкающий день... визгливая маленькая девчонка вернулась, мне хочется разбить себе голову ковровой битой, только бы выгнать ее оттуда... как много призраков я вижу теперь в этой воде, каждый день спускаюсь туда, прижимаюсь ухом к воде и слушаю... жалобные, молящие голоса. Какие-то мужчины с прокопченными лицами, женщины с распущенными волосами, какая-то разметанная рыбешка... человек с лицом моего отца, на запястьях кровавые розы... два брата с заиндевевшими ресницами и губами, на ногах их коньки, бьются о поверхность воды как о стекло... вот проплывает маленькая индейская девочка. Она смотрит на меня взглядом суровым, в глазах ее нет прощения, голенькая, синяки по всему телу, словно черные сливы... солдат в серо-коричневой форме, вместо ног обрубки... молодые мужчины и женщины в старинной одежде, которую носили еще до Гражданской войны... детишки с какими-то грубыми кожаными браслетами на запястьях... толстый старик рыбак... парашютист из моего детства, человек, выпрыгнувший из самолета в Каунти-Фэйр и упавший в воду, парашют его тогда распустился на воде цветком, вобрал в себя воду и утянул его на дно. Да, с каждым днем все больше и больше их является ко мне, этих утопленников. Возможно, это не помешательство — ведь их образы так отчетливы и совсем не пугают меня. Неужели помешательство? Не знаю...

...на вокзале семьи с грязными детьми! Несколько дней назад я водила всех девочек в «Стэндиш» за новым бельем, платьями, чулками и ботинками... они дули губки, когда я отказалась купить им хорошенькие кожаные туфельки с бантами, сочла такой выбор неразумным... зато мальчики, они прелесть, маленькие джентльмены, не удержалась и купила им бейсболки... теперь девочки считают меня своим врагом. И их мамы тоже... сбежались все сегодня толпой, с сумочками, в шляпках... вообразили, что я поведу их в город покупать одежду... как я была голодна! Какая самонадеянность!.. Всю еду раздала, а миссис Бургесс сказала мне с явным намеком: «Простите, мисс Темпл, что я так шмыгаю носом У меня ужасная простуда, а носовые платки все кончились...» «Ну что ж, я принесу вам завтра упаковку». И я пошла домой. И возвращаться теперь боюсь, боюсь, что эти женщины злятся, ведь это очень страшно. А капризная девчонка все посмеивается надо мной, мои призраки теперь

начали перебираться в сумрак дома. В оранжерее еле удрала от них, хотя там больше половины стекла выбито... не отваживаются они выйти на такой яркий свет...

...башню Короля-рыбака достроили вчера... духовой оркестр, арбузы... сегодня еще одна открытка от мистера Аптона, какое-то чудное фото: танцуют мужчина и женщина, он очень низко ее наклоняет. Сначала был Спрингфилд (открытка с коровкой), потом Конкорд (какая-то дурацкая мазня), теперь вот Бостон (танцующая пара). Обратного адреса никогда не указывает и все время грубовато намекает, что за все время своего путешествия красоту видел только в Темплтоне... Отец кладет мне открытки рядом с тарелкой... Каждое письмо я читала по два раза, но если находила открытки, то уже бегло...

Отец подписал сделку с банком... Не поторопился ли?.. Сделка касается нашей семьи. Мы сдаем землю в аренду музею бейсбольной лиги, строительство за наш счет... за оказанную нам честь мы платим лиге три тысячи долларов (я бы назвала это взяткой!)... Вернулся Сай, подъехал напрямик к нашему дому, машина его золотистая вся заляпана грязью... костюм мокрый от пота... извиняется... так и не объяснил, почему не успел помыться и завезти вещи в отель, но так смотрит на меня, что и без объяснений ясно. Мать подтолкнула меня вперед, чтобы я поздоровалась с ним за руку, моя холоднющая как лед рука в его горячей руке... тошнит меня, тошнит, с трудом сдержалась... Отец деликатно передвинул ленч, так чтобы у Сая было время отмыться... Вернулся он с таким громадным букетом цветов, что за розами его самого не видно, и со стайкой увязавшихся за ним мальчишек... Я смотрела на них строго — за то, что не носят обувь... «Мальчики, где же ботинки, которые я вам купила? Вы разве не знаете, что босиком бегать опасно, можно подцепить заразу?»... Сопят, переминаются- «Ой, мисс Темпл, мы бережем их для школы»... Прямо сердце разрывается смотреть на них... А Сай все ждет со своими цветами, лицо красное, пытается улыбнуться.

Такой неудобный ленч! Эти гигантские розы громоздятся посреди стола. Сиротка Салли прислуживает угрюмо. Сай своим громовым голосом рассказывает истории о городах, где он побывал, моя мать пленена. Так пленена, что даже не побежала после ленча в свой сиротский приют, как она это делает обычно... Сай к еде почти не притронулся... я тоже... каждый раз собираясь откусить кусочек, чувствовала на себе эти глаза-

звездочки — прямо прожигали мне пробор в волосах.

Мужчины удалились в кабинет, а я пишу. Жду с нетерпением, чем кончится дело, будет ли спасен мой город. Голоса у меня в голове молчат, слава Богу. И все эти призраки попрятались куда-то... О Боже, что я вижу! Отец уже провожает Сая к машине. Что это? Сутулит плечи? По-моему, да. Сай жмет ему руку, что-то говорит, вид очень серьезный. Отец улыбается, но как-то скупое, и кивает, трогает Сая за плечо. Расстаются. Надо мне бежать вниз, выяснить, в чем дело.

Катастрофа — Манхэттен обставил нас, перебил цену... больше миллиона долларов дает и целый городской квартал под музей. Они же центр вселенной, как говорит Сай. А мы просто, считай, деревушка, затерянная в глуши. Карьера у него, видите ли! Презренный плебей. Мне кажется, отец плачет у себя в комнате, но я не осмеливаюсь к нему войти. Мать была вся бледная и убежала в свой приют. Крошка Салли топчет маргаритки на обочине... даже если б умела говорить, не смогла бы выразить своих чувств красноречивее... А я вот собралась пройтись по воздуху, хочу успокоиться, посмотреть, удастся ли прогнать из головы эти орудия на все лады голоса...

...еще худшая катастрофа!.. Я стояла у скалы Старейшин, ждала, не появится ли кто из моих водяных друзей, и вдруг спиной почувствовала взгляд. Обернулась — мистер Аптон, наблюдает за мной... такая ярость меня обуяла! Никогда прежде со мной такого не было — далее как будто не моя ярость, а чья-то еще... Прыгнула я с обрыва прямо в воду, юбки сразу намокли, ноги запутались в водорослях... Я побежала к нему, но он, по-моему, решил, что совсем из других чувств я это делаю, ибо схватил меня на руки и давай целовать... эти женские уста у меня на губах... а я все вырывалась, пыталась ударить его, сопротивлялась бешено... он толкнул меня наземь, задрал мои юбки, я думаю, стряслось бы что-то ужасное, но я была так разъярена, что вырвалась и убежала... убежала домой, он догонял меня... «Сара, черт возьми! Перестань! Мне надо поговорить с тобой! Да подожди ты, Сара, твой отец уже дал согласие!»... Я убежала в дом. Через занавеску из своей комнаты видела, как он стоял на лужайке, держа в ладонях, словно пойманных птичек, мои туфельки. Поставил их потом бережно на розовую клумбу и зашагал прочь... меня мутит, мне тошно... в голове эти многочисленные голоса, и эта девочка, и этот библейский пророк... сердце мое разбито, потому что Темплтон —

мой умирающий город...

Отец мой словно сделан из железа — пригласил мистера Аптона на ужин... тоже мне радость! Мы с матерью с трудом сохраняли учтивость — я так и вовсе ни разу на него не взглянула. Просто хотела, чтобы этот ублюдочный сукин сын ушел поскорее. А отец мой, старый благородный джентльмен, водил с ним душевные дружеские беседы, хотя мистер Аптон в этот день выглядел лет на десять старше его. Ради такого случая я, конечно, оделась в свое лучшее платье — изумрудный шелк, под цвет моих глаз. Я была прекрасна, как никогда... да и как же не постараться? Должна же я была показать ему, что он теряет, предпочтя Манхэттен нашему милому маленькому Темплтону... Обратиться ко мне за столом он, конечно, боялся, только моляще позвякивал ножом и вилкой... опять оба не притронулись к еде... В конце десерта я встала и ушла, а мистер Аптон — какой невоспитанный мужчина! — побежал за мной, в коридоре взял меня за руку... зашептал: «Еще ничего не потеряно, Сара, не делай глупостей! Ты еще можешь спасти свой город, если хочешь»... Вдруг он повернулся и убежал обратно в столовую, оставив меня одну в коридоре. Ноги у меня подкашивались. Я села в кресло и словно вросла в него. Слушала учтивые речи моего отца, не понимая, как он может быть так добр с этим ужасным человеком... и моя мать, плененная этим зрелищем, тем, что она принимала за выражение романтических чувств к ее любимой, красивой, безумной (а стало быть, лишенной возможности выйти замуж) дочери... далее моя здравомыслящая прямодушная мать... опять начала разговаривать с ним любезно.

Уже поздний час. Одиннадцать. Я все хожу из угла в угол по своей комнате. И все звучат в голове эти голоса, этот библейский человек все гремит и гремит своим трубным басом «Ты еси Спасительница Темплтона, ты еси». Гремит и гремит. Колокол бьет в методистской церкви. И в пресвитерианской тоже. Платье я не снимала. Рвало меня много раз, даже желудок теперь сводит и в горле жжет. Зубы чистила так, что десны закровоточили. Завязала волосы в строгий низкий пучок, а локоны все равно упрямо выбиваются. Да, я пойду.

Кончено... все кончено. И писать мне больше нечего.

...я это сделала, но даже не поняла как... в ту ночь две недели назад. Не поняла, как обулась и тихонько спустилась по витым лестницам

Эджуотера. Не поняла, как вышла на улицу в свежую, пахнущую зеленью ночь и побежала по городу — по Красивой Озерной, мимо Приозерного парка, мимо Эверелл-Коттеджа и дальше по Каштановой. И словно не я бесшумно прокралась в «Моторинн», под носом у задремавшего портье обследовала щиток на предмет отсутствующего ключа (девятый номер), все так же бесшумно поднялась по лестнице и встала перед дверью, неустрашимая и решительная. Вошла без стука... Мистер Аптон, хоть и был чисто выбрит для меня (еще с вечера), явно не поверил в свое счастье — выронил сигарету, пепел рассыпался по ковру... мы стояли друг перед дружкой очень долго... он шагнул ко мне, улыбаясь... но я остановила его, коснувшись рукой его груди, и почувствовала, как колотится его сердце... «Подожди! Ты ведь выберешь Темплтон? Да?»... «О да, да, Сара, да!» Я подставила лицо для поцелуя, но он прикрыл мне губы рукой... «Нет, сначала скажи, ты выйдешь за меня? Выйдешь?»... Улыбается, на щеке ямочка. Внутри у меня что-то переворачивается, и тот трубный библейский глас произносит: «Да, мой воробышек, ты должна выйти за этого человека...» И словно не я, а кто-то еще отвечает: «Да».

И меня совсем не тошнило, все было не так, как я представляла... повалил меня на кровать и раздел, пуговка за пуговкой... и там было жарко... и еще жарче... и две Сары боролись сами с собой, одна сгорала от отвращения, другая от жадной страсти... даже через боль, очень сильная была боль... моя помада размазалась по его лицу... проснулась я на рассвете, а он любит меня, убирает локон мне за ухо... это, оказывается, правда... он действительно любит меня... С тех пор я часто вижу его в обществе, среди самых очаровательных разнаряженных девушек Темплтона... но глаза его всегда устремлены на меня...

...но даже тогда я уже знала, что до свадьбы во мне будет жить та другая, та новая, та млеющая от счастья... а потом эта другая покинет меня, я уже тогда это знала... и я снова стану холодной и печальной... еще до свадьбы я перестану видеть моих призраков, не услышу больше их голосов, и слова, слетающие с моих губ, будут уместными и правильными, и призраки больше не всплывут в воде... Я знала, что мы поженимся в башне Короля-рыбака на мысе Юдифи осенью, и кленовые листья будут кружить над водой, золотистые, красные и зеленые листья... мы поженимся, а во мне уже будет дитя, я буду чувствовать, как оно растет... Темплтон к тому времени уже вернется к жизни, отцовы денежные сундуки опустеют, но вскоре снова наполнятся — рентой от бейсбольного музея...

Я выйду замуж в тот осенний день, и женщина, что живет во мне даже теперь, эта счастливая девчонка, что беспрестанно целует этого красивого мужчину... девчонка, которая в то утро неделю назад пришла пешком в Эджуотер, пришла на рассвете рука об руку с ним... сидела с ним рядом, хихикая, за утренним столом, пока не проснулись и не спустились вниз ее родители... и очень удивила в то утро родителей своей радостью, счастьем, которым вся лучилась, и своим ясным рассудком... эта счастливая девчонка покинет меня в день моей свадьбы... он оказался не тем человеком, за которого мне надо было выходить, не гением, не художником... я буду остро ощущать его вульгарность, и он будет не понимать, почему я отвергаю его, и только еще больше возжелает меня.

И я знаю, что вскоре после свадьбы мои голоса постепенно вернуться ко мне. Дитя, что уже жило во мне, родится. Может быть, появятся на свет и другие. А призраки снова подымутся из озера и будут следовать за мной и звать до того дня, когда... когда мне не хватит сил противостоять и я войду в озеро... впрочем, до тех пор у меня будет Сай, солидный, надежный Сай... и хоть это продлится недолго, но в это утро, как я пишу здесь, Сай храпит в моей постели у меня за спиной, и я как раз собираюсь разбудить его, чтобы он мог прошмыгнуть тихонько из дома и вернуться в отель... и какой странной я кажусь себе сейчас! И все это странно. Странная сама эта жизнь. Но сейчас, только в этот момент, я счастлива.

Глава 10

СТАРЫЙ ХЛАМ, ИЛИ ЧТО ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ НАС

Всю ночь я читала три сотни страниц безумных бредней моей прабабки, и утром Темплтон предстал предо мной словно заколдованный.

Я сидела, потрясенная, глядя на далекий восход, прогоняющий с неба тьму, и мне казалось, что Темплтон Сары заслонил собой мой собственный Темплтон — словно кто-то положил листок кальки на крыши моего города, и на листке проступили очертания того старого, более простого Темплтона. Знакомые мне дома, магазины, улицы исчезли, а их место заняли поля, рощицы и совсем другие здания; огромные деревья уменьшились до тех размеров, когда они были еще молоденькими посадками; старики помолодели, и их теперь нельзя было узнать. Я чувствовала, что если выгляну на лужайку, то призраки, о которых все говорила Сара, будут стоять там, выстроившись по-военному в ряд, и смотреть на мое окно пустыми глазницами вместо глаз.

Но где-то в районе Приозерного парка завелся грузовик и в один миг прогнал эти чары. Грузовик натужно пыхтел, потом визгнули тормоза. Я поняла: увозят чудовище.

Я бросилась вниз мимо портретов предков, спиной чувствуя на себе их взгляды. Распахнув дверь, я выбежала на лужайку. По Озерной улице спешили темплтонцы, второпях выскочившие кто без одного шлепанца, кто в банном халате, кто нечесаным. Грузовик вырулил на Озерную. Выровнялся и начал набирать скорость.

В гробовом молчании мы наблюдали, как чудовище приближается. Как замороженные, смотрели мы на брезент, покрывавший тушу, и, когда ветром один уголок его откинуло, на махонькую скрюченную ручку на груди. Мы не разговаривали, не проронили ни слова, будто боялись признать, что одним только этим созерцанием невольно участвовали в предательстве, отдавая огромного зверя на расправу ученым. Мы стояли, застыв и затаив дыхание, пока грузовик не проехал мимо. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду. Некоторые попрыгали в машины, чтобы поехать за ним.

В этом молчаливом скорбном кортеже, сопровождавшем в последний путь нашего Глимми, не было туристов и отдыхающих, только жители Темплтона. Я заметила, что одним из них был Иезекиль Фельчер на своем эвакуаторе — он что-то напевал себе под нос, держа у груди шляпу.

Вернувшись, я встретила Ви на крыльце. Она стояла, придерживая распахивающийся халатик.

— Какое странное ощущение сегодня утром, — сказала она, отводя глаза в сторону. — Такое впечатление, что Темплтон как-то опустел.

Я молча кивнула и прошла в дом.

В то утро, перед тем как пойти отоспаться за долгую бессонную ночь, я сидела за столом с Ви. Склонив голову над кукурузными хлопьями, она мысленно прочла молитву, а закончив, посыпала еду сахаром. Увидев это, я не сдержалась:

— Ви, тебе это не очень полезно. Это же сахар. — Посмотрев на ее колышущееся пузцо, на валуны-груди, я поспешила прибавить: — Ты же никогда не ела сахар. К тому же ты медсестра и должна знать лучше меня, что это вредно.

Она нахмурилась и положила ложку.

— Это не твое дело.

— Мое. Я хочу, чтобы моя мама была здоровой.

— Вилли, мне сорок шесть лет. Всю свою молодость я давилась арахисовым маслом и тофу, и если на склоне лет я хочу, чтобы мой завтрак был чуточку сладким, он будет таким. — Она покраснелась, сердясь.

— Подожди-ка, а я всегда считала, что ты ешь эту свою органическую вегетарианскую гадость, потому что она тебе нравится...

— Боже, ну конечно, нет. Конечно, нет. Я делала это ради тебя, ради твоего здоровья.

— Ради меня?! — удивилась я. — Ради меня? То есть это ради меня ты раздавала на Хеллоуин не сладости, а яблоки? И поэтому, когда я впервые попробовала у Петры Таннер пирожное с глазурью, меня чуть не вырвало? Поэтому ты говорила, что у меня аллергия на рафинад, и, когда дети в саду приносили на день рождения гостинцы, я была вынуждена сидеть среди них и грызть морковку, пока они уминали пирожные? Это было ради меня?

Она хмыкнула и промолчала.

— Что ж, спасибо, — не унималась я. Но в этот момент Комочек снова напомнил мне о себе, шевельнувшись. Спорить мне расхотелось, я просто сказала: — И ты, наверное, тоже мучилась. Хорошая мать всегда мучается вместе с ребенком.

— Дурацкая шутка, — огрызнулась она и яростно накинулась на хлопья.

— Нет, я просто хотела поделиться с тобой моим прогрессом на отцовском фронте. Или отсутствием такового. Ты же вчера сказала, что хочешь быть в курсе, вот я и докладываю... — Я вдохнула поглубже, заметив, что она смотрит на меня с интересом. — Во-первых. Мой отец никак не мог явиться плодом внебрачных связей кого-то из твоих родителей. Проще говоря, он не может быть тебе сводным братом.

Она перестала жевать и, глянув на меня искоса, кивнула:

— Ага, то есть со своим братом я не спала. Ну спасибо тебе, Вилли!

— Совершенно верно. Я подумала, это было бы чуточку странно. И во-вторых. Родители твоей матери тоже не имели к этому никакого отношения. По крайней мере Клаудиа Старквезер, праправнучка рабыни Хетти, не имела. Тут я основываюсь просто на ее свадебной фотографии. Твои дед и бабушка явно были не такого типа люди. Скорее монашеского склада. Так мне кажется.

Ви, моргая, смотрела на меня, потом сказала:

— Я так поняла, ты решила идти от конца к началу. От ближних предков к более дальним, верно? Начала с моих родителей, потом перешла к деду и бабушке.

— Именно так! Это мне Кларисса посоветовала. Я сочла совет дельным.

Мать задумалась и отнеслась мыслями далеко-далеко.

— Да, она умная девочка, моя Кларисса.

— Ну так как, я права? Что скажешь? Могла Клаудиа Старквезер быть источником внебрачной ветви?

— Не была она таким источником, — проговорила мать, продолжая витать где-то мыслями. — Нет, не была.

— Ну вот. Поэтому я перешла к другой половине семьи, к родителям твоего отца, Саю и Саре. Тут если что и было, то именно внебрачное, потому что до Сая она, похоже, была настоящей девственницей. Почти фригидной. Но вообще-то я не думаю, что там имела место супружеская измена — совсем не похоже. Правда, я нашла все-таки одну прикольную штуку, Ви. Судя по всему, эта Сара была сумасшедшей. У нее была самая настоящая шизофрения — призраков она видела, голоса слышала, ну и всякое такое. Себя она просто отдала Саю в обмен на благополучие Темплтона, страдавшего тогда от Великой депрессии, а Сай поставил условие — пока она не выйдет за него, Музею бейсбола в городе не быть.

— О Господи! — воскликнула Ви. — Значит, слухи все-таки не врут.

— Выходит, не врут.

Поцокав языком, мать отложила в сторону ложку.

— Неприятно, конечно, — сказала она. — А с другой стороны, если подумать, не слишком-то отличается это от традиционного брака, заключавшегося в те времена. Женщины передавались от мужчины к мужчине как скот. Мерзость, в сущности.

Я смотрела на сидевшую передо мной женщину, и на душе у меня вдруг потеплело — передо мной была прежняя Ви, только с новой религиозной чужинкой. Я помню, как во времена моего детства она носила маечки со всякими завлекательными надписями типа: «Женщине нужен мужчина, как рыбе крючок. Пожалуйста, кто-нибудь, подцепите меня на крючок!» Однажды в кинотеатре, когда на экране показывали спящий Сан-Франциско, окутанный предрассветным туманом, я заметила, что Ви готова расплакаться. От нее исходила тоска, и я в свои неполные семь лет понимала: она могла бы быть гораздо счастливее в каком-нибудь большом городе, в мегаполисе, где у нее обязательно нашлись бы единомышленники. Я сидела тогда в темноте, стараясь не дышать, и молилась своему примитивному, приземленному детскому богу, чтобы эти слезы, стоявшие в ее глазах, не начали проливаться, потому что тогда растить меня в Темплтоне ей было бы еще труднее. Затаив дыхание, я ждала в ужасе, но слезы так и не пролились. Просто в последний момент она посмотрела на меня в темноте и улыбнулась, и от слез не осталось следа, когда она уже вновь смотрела на экран. И вот в это утро, глядя на ее раскачивающийся металлический крест на груди и помня хиппарку моей юности, я спросила:

— Ви, и как только твой былой феминизм уживается в тебе с теперешним христианством?

— А я большая, вмещаю в себя много всего. — Она рассмеялась, видя мое недоумение, и прибавила: — И еще, Солнышко, я все-таки дружу с книжками.

Я улыбнулась, вспомнив, как у нее буквально на все всегда находились какие-нибудь литературные строки. Когда пацаны прыгали с причала в Фэйри-Спрингз, она, моргая, цитировала Хопкинса. Или, возвращаясь зимним вечером со школьного спектакля и заглядевшись на Картрайт-Филд, мерцающий в блеклом лунном свете, она могла прочесть строки из Марианны Мур. Она к тому же цитировала Уитмена и была горда этим своим талантом даже сейчас, встав ополоснуть под краном пустую миску.

— А знаешь, Ви, — сказала я, — дневник Сары как-то неожиданно обрывается. Сразу после ее помолвки с Саем. Ты, случайно, не знаешь, что

с ней произошло? Ты, помнится, говорила, что спрашивала об этом свою прабабку, но она якобы к тому времени стала не в себе. А что же она все-таки сказала?

— Ну, насколько мне известно, после помолвки она вышла замуж. Родился мой отец, появился на свет на месяц раньше срока. А когда ему было два месяца от роду, она поступила как Вирджиния Вульф — бросилась в озеро, набив карманы камнями. Утонула, конечно. Когда я была маленькой дурочкой, лет девяти, думаю, я расспрашивала о ней у своей прабабки, матери Сары Ханн Кларк Темпл. Просто видела ее фото там наверху и подумала: какая она роскошная! Прабабка моя была такая сморщенная старая вдова, носила на шее жемчуга размером с куриное яйцо, злобно косилась на всех да норовила огреть своей тростью каждую собаку, птицу или ребенка. В первый момент мне показалось, что она сейчас размозжит мне голову, но ничего подобного — она вдруг заговорила, быстро и многословно, шептала, что никогда в жизни не видела свою дочь такой счастливой — даже в детстве! — чем после помолвки с Саем. То есть она прямо вся расцвела и лучилась радостью, эта ее всегда мрачная, печальная дочка. А потом, вскоре после рождения моего отца, будто кто-то одним движением взял да и выключил все это счастье. Она все чаще стала грустить, пока совсем не впала во мрак. И прабабка моя знала, что такой конец неминуем и что предотвратить его она не в силах.

— Да-а? Откуда же она это знала?!

— А вот откуда. Горничная нашла в комнате Сары список имен всех, кто утонул в озере. Этот список у нее нашли, после того как она провела лето в Манхэттене, где гостила у своих сводных братьев. Оказывается, Сара вела свое исследование. Моя прабабка была в ужасе. Список тот сожгла сразу же, только вот не помогло. А я-то долгое время думала, что все это выдумки.

Мать, вымыв миску, поставила ее на место. Теперь она казалась заметно оживленной, даже несколько легкомысленной.

— Я бы поболтала с тобой еще, честное слово, но мне надо идти облегчать муки умирающего, — сказала она. — А ты давай копай дальше, ищи все, что можно. Вечером, если хочешь, снова поговорим. — Она пошла к двери, потом обернулась, осененная новой идеей и, видимо, очень довольная ею. — И вот еще что. Если ты не намерена платить за квартиру, тогда хоть займись хозяйством. В доме пыли полно. Пора пропылесосить. Времени это займет час или два. Так что давай поработай. — И, усмехнувшись, она ушла.

Выгребая отовсюду пыль и едва не засыпая на ходу, я поняла, что мать совершала набеги на чердак. Приехав беременной молоденькой сироткой в Темплтон и получив на руки такой огромный дом, она первым делом убрала с глаз долой раздражавшую ее допотопную рухлядь, которая так грела душу ее матери. Когда росла я, Эверелл-Коттедж выглядел почти в спартанском духе — никаких тебе слюнявых безделушек на книжных, буфетных или каминных полках. Всю ненужную мебель и большую часть картин она тоже убрала. Мне кажется, дай ей выбор, так она предпочла бы жить в светлой стеклянной коробке с белой скандинавской мебелью и плиткой вместо деревянного пола. То есть в доме, совсем непохожем, например, на жилище Праймуса Дуайера.

Теперь же, пока меня не было в Темплтоне чуть больше двух лет, вещи начали появляться. Бронзовая статуэтка могиканина с собакой на каминной полке в гостиной; старинный фарфор и посуда цветного стекла в буфете в столовой; множество масляных полотен на стенах и всех их затмевающая изящной работы лошадка на колесиках на огромном столе в столовой — очень старая и очень боевито выглядящая старая игрушка. Я взяла ее в руки — тяжеленькая, с гривой из натурального конского волоса, стеклянными яркими глазками, затуманенными слоем пыли, с уздечкой и седлом, как будто настоящими.

Я посмотрела лошадке в глаза.

— Что же имела в виду Ви, когда откопала тебя, малышка? — спросила я у нее.

Потом огляделась и заметила еще папоротники в горшках, совсем никчемный буфет, картины. Впервые за все это время комната выглядела уютной и пригодной для жилья — словно Ви смирилась наконец с необходимостью жить в Темплтоне и с мыслью, что никуда отсюда не уедет.

— Ага! — произнесла я вслух. — Вижу, моя мамочка решила все-таки здесь остаться.

Но по-настоящему постичь причину этого преобразования я смогла только вечером, когда вернулась домой, уставшая от моих бесплодных поисков в библиотеке и от настойчивой помощи малыша Питера Лейдера. Весь день я копалась в жизни Сариных сводных братьев, пытаюсь найти в ней что-либо указывающее на причастность кого-нибудь из них к рождению моего отца. Но я не нашла ни одного свидетельства, что они хоть раз возвращались в Темплтон, после того как были отправлены учиться в частную школу. Я нашла счета за учебу, оплаченные Сариным отцом Генри, счета за проживание в школе в учебное и каникулярное

время; нашла жалобные письма Генри, где он просил сыновей простить его за то, что он женился на Ханне слишком рано после смерти их матери Моники, умершей от аневризмы, и настаивал, чтобы они приехали познакомиться со своей очаровательной малюткой сестрой.

«Мальчики мои, — обращался к ним Генри в одном из писем. — В жизни нет ничего важнее семьи. И я вас прошу: не переносите свой гнев, адресованный мне, на мачеху и на вашу маленькую сестренку».

Мальчики, которым на момент смерти матери было одиннадцать и тринадцать лет, так и не смогли с тех пор поладить с отцом и очень неохотно приняли у себя сводную сестру, когда та окончила колледж Эммы Уиллард, а сами они были уже женатыми манхэттенскими адвокатами. Поскольку в Темплтоне они не жили и даже ни разу не наведывались туда, то исключение их из моего списка получалось автоматически. И все же мне было очень жаль старого Генри, Сариного отца, который сошел в могилу с разбитым сердцем, после того как его дети умерли или отвернулись от него.

По дороге домой я задумалась над другими своими проблемами. Дома мне все мерещились телефонные звонки, я готова была бежать к аппарату, думая, что Праймус Дуайер звонит мне. Но я ошибалась — телефон не звонил, а боль в душе от напряженного ожидания только усиливалась. А Комочек набирал вес у меня внутри, напоминая о своем неизменном присутствии, хотя я знала, что на таком сроке его еще и почувствовать нельзя. Я была так озабочена своими мыслями, когда входила в дом, что не заметила горы скинутых в прихожей ботинок и угодила в ловушку.

Первое, что я уловила, это какую-то перемену в самом воздухе — в доме теперь веяло прохладцей и запахом сырой шерсти. Потом я услышала голос — густой и вместе с тем елейный бас, он звучал как смазанная маслом труба.

— ...так давайте же теперь помолимся... — говорил голос, — помолимся за дитя сестры нашей во Христе Вивьен Аптон, за это дитя, ступившее на путь испытаний; не за то, чтобы тяготы жизни ее развеялись, ибо жизнь каждого человека должна быть исполнена тягот, но за то, чтобы в трудах праведных постигла она истину и благодатную милость объятий Господа нашего, даруемую чрез свет Христов...

К тому времени мои выпученные от удивления глаза уже были способны понять картину, явившуюся им в гостинице. В позолоченной лучами заката комнате, воздев руки и склонив головы, стояли в кружок на коленях люди в каких-то унылых одеяниях. Над ними белой взбитой подушкой возвышался проповедник, его сдобренный клейким гелем начес

на голове тряся в такт каждому движению, когда он молился. Моя мать в центре круга подняла на меня глаза, и этот взгляд поразил меня своей отстраненной непроницаемостью. У всех присутствующих в комнате были на груди такие же, как у нее, железные кресты.

— Какого черта вы здесь делаете?! — спросила я, перекрикивая монотонно бубнящего священника.

Какая-то благообразная румяная старушка злобно зыркнула на меня, но, кроме нее, больше никто не открыл глаз и священник продолжал бубнить даже еще быстрее, чем прежде, так что слова его теперь сливались в одно сплошное:

— ...и-огради-ее-от-дьявола-и-дай-ей-силы-противостоять-соблазну-и-ниспошли-ей-умиротворение-во-имя-Господа-нашего-Иисуса-Христа-Аминь!

— Аминь! — повторили все хором и обратили ко мне просветленные лица.

Все, кроме Ви, отводившей теперь глаза в сторону.

— Ви, что это за чертовщина здесь происходит? — осведомилась я.

Проповедник взбитым сливочным облаком поднялся на ноги и сложил белые жирные руки на животе.

— Вильгельмина, — отвечивал он. — Мы даруем тебе молитву. Молитву, призванную укрепить тебя в час испытаний. Тебя и твою вечную душу.

— Да пес бы с ней, с моей вечной душой, — откликнулась я.

Какая-то старушка охнула в сердцах, а старичок закудахтал:

— Дьявол овладел твоим языком, барышня!

— Да пес бы с ним, с дьяволом, — огрызнулась я. — И нечего вламываться со своими молитвами в дом к людям, которые не верят во всю эту вашу бредятину! Кто вас звал? Психи...

— Вилли, не хами, — одернула меня мать.

— Не хами?! — Меня прямо распирало от возмущения. — Да кто тут хамит, Вивьен? По-моему, хамство — это растрепать всему городу, что твою дочку трахнули! Хамство — это совать в нос человеку религию, которую он презирает и считает оскорбительной. Вот это точно хамство, и хамишь тут ты, Вивьен, а не я.

— Вильгельмина! — загрохотал проповедник, указуя в меня перстом. — Как ты разговариваешь с матерью! Она твоя мать и заслуживает уважения! Устыдись!

От моего мрачного угрожающего взгляда его белая рыхлая физиономия порозовела.

— Это ты устыдись, мерзкий хитрый клоун! Вон из моего дома с проповедями!

Я развернулась и вышла, хлопнув дверью гостиной. Потом я хлопнула дверью столовой, дверью приемной, дверью в холл на втором этаже и дверью в свою комнату.

В эти минуты я напрочь забыла, что мне двадцать восемь. Я чувствовала себя ершистой, взбалмошной тринадцатилетней девчонкой, в которой бушуют гормоны. Одно за другим я принялась доставать чучела зверюшек из плетеной колыбельки, где они, по хозяйскому капризу, пылились семнадцать лет. Пока поборники библейских истин топтались в прихожей, я колотила свою подушку так, что у меня потом еще несколько дней ныла рука. Краем глаза я увидела себя в зеркале и вдруг заметила, что прямо расцвела, наконец-то стала похожа на саму себя. Нашла время предаваться тщеславию! Я даже рассмеялась тихонько.

Как назло, именно в этот момент мать влетела ко мне:

— Ну что, повеселилась, унизив родную мать перед ее друзьями?

— А что это ты разнервничалась? Ах да, это ведь ты у нас самая несчастная! Это тебе пришлось растрепать целому городу, что я спала с женатым преподавателем, и это тебе Боженька послал в наказание безбожную мерзавку-доченьку, рожденную невесть от кого! И это я должна перед тобой извиняться, так?

— Пожалуй. Они всего лишь проявили к тебе участие. И кстати, никому я не говорила, почему ты здесь.

— Ну конечно! Сами собой они почему-то вдруг вздумали молиться за меня в тяжелый для меня жизненный час. И понятия даже не имели эти твои божьи люди, что у меня есть проблемы.

То ли тихая радость, то ли раздражение — я так и не поняла — отразились на лице матери.

— Преподобный Джон Мелкович очень мудрый и проницательный человек, — сказала она. — Я уверена, он обо всем догадался сам.

Я отвернулась в окно и стала смотреть на озеро. Невзирая на прекрасную погоду, там никого не было — ни водных лыжников, ни пловцов из загородного клуба. Озеро выглядело унылым и безжизненным.

— А насчет твоего преподобного Молокана я тебе вот что скажу, — заговорила я. — Он омерзительный, гадкий урод. За милую видно, что он весь пропитан ложью! Как ты могла, Ви, выбрать себе такого духовного наставника? Ты меня разочаровываешь. Неужели нельзя было найти какого-нибудь йога или аскета, кого-нибудь, кто соответствовал бы твоей сущности? Кого-то из христианской общины? А не такого убудка,

который считает, что все должны верить в то, во что верит он, и поступать так, как поступает он! Боюсь, Вивьен, тебе затуманили мозги и водят за нос. Я правда по-настоящему за тебя боюсь!

Мать долго молчала, потом наклонилась ко мне и тихо сказала:

— Зря ты так, Вилли. Он для меня больше, чем проповедник и духовный наставник. Мы с ним встречаемся. Уже около девяти месяцев. И у нас с ним серьезно, к твоему сведению.

Я была так ошарашена, что не нашла в себе сил что-либо ответить. Мать с победоносным видом гордо направилась к двери. На пороге она обернулась и произнесла своим излюбленным тоном мученицы:

— Ужин в семь, Солнышко. Твои любимые фаршированные помидоры. — Проговорила это и перешагнула порог.

— Но ведь этот преподобный Молокан совсем не в твоём вкусе! — крикнула я, но она лишь тяжело вздохнула и зашлепала вниз по лестнице.

Когда я позвонила Клариссе, автоответчик мне отчеканил: «Привет! Вы позвонили в квартиру Клариссы Ивэнс и Салливана Берда. Будьте кратки, но не стесняйтесь». Тогда я самым своим сладким голосом выложила:

— Тайна чудесного христианского превращения внезапно раскрылась, так что перезвони, пожалуйста, новоявленному гениальному детективу в юбке Вилли Аптон. Я буду бодрствовать всю ночь: изучать генеалогическое древо и с затаенным сердцем ждать звонка из тьмы, — так что звони в любое время и не обижайся, если поначалу я буду разочарована. Люблю вас обоих. Пока!

На душе у меня отлегло, я немного развеселилась, но когда положила трубку, почувствовала себя выжатой как лимон. Спустившись к ужину, я проглотила свою порцию фаршированных помидоров еще до того, как мать успела закончить молитву, а стакан молока забрала наверх — не терпелось побыть в одиночестве. Я приехала домой, чтобы снова побыть ребенком. Я чувствовала себя больной, несчастной, уставшей, не знала, что выбрать — аборт или незапланированное материнство, и моя мать позволяла мне вести себя как ребенок. Я, правда, вела себя как подросток, в котором бурлят гормоны и обида на весь белый свет... И хоть я злилась на мать, какая-то крохотная частица меня чувствовала благодарность к ней и несказанное облегчение.

Глава 11

ХЕТТИ ЭВЕРЕЛЛ

Чаще всего, глядя на мужчину, я сразу вижу, могу ли я им управлять. Чаще всего могу — даже таким мужчиной, по чьему виду не скажешь, что им может крутить женщина. Именно это я сразу же узрела в Дьюке. Это было в Филадельфии. В тот день он покупал на вонючем невольничьем базаре рабов для строительства Темплтона. Большого молчаливого Минго, умеющего построить все, что угодно. Кулачка, мальчишку-индейца, взятого Дьюком в писцы. Дьюк-то наш в грамоте не больно силен, а Кулачок, тот пишет как ангелы на небе.

Вот Дьюк пошел уже к выходу, и эти двое за ним. А я смотрю на него и млею — так он хорош собой. Волосы рыжие, даже под пудрой видно. Высокий, здоровущий как бык. Одежда добротная, вся темная, как носят квакеры. Но я-то знаю, что он никакой не квакер, потому что квакеры не покупают рабов. Вот я жгу его глазами, и он чувствует это. Оборачивается — медленно-медленно — и смотрит на меня. Сняли с меня рубаху и стали разглядывать мои груди да в зубы смотреть, а они у меня ой какие хорошие, и кожа гладкая, блестящая что вода. Было мне тогда то ли восемнадцать, то ли двадцать, и была я тогда красивой девушкой. Нет, я не привираю, это чистая правда. Малюток у меня уже было двое, только остались они на Ямайке. Лет то ли в десять, то ли в одиннадцать меня привезли из Африки на Ямайку, а в восемнадцать — двадцать — с Ямайки в Филадельфию. Продали меня за длинный язычок, да только вранье все это. На самом деле я просто легко вертела своим хозяином Макадамом. Сделала его богатеем. А как умер он, то вдова на мне отыгралась — прижигала мне шею раскаленной кочергой, отчего получилось у меня на шее красное ожерелье. Ненавидела я ее, конечно, но в душе понимала — еще бы! Так помыкать ее мужем, как помыкала я!

В тот день Дьюк не хотел покупать рабов, да только выбора у него не было — где ж еще найдешь хороших слуг с хорошими зубами? Все ж ведь хворые, и никто ремеслам не обучен. Вот и пришел он на этот вонючий невольничий рынок, да покупать все не решался, противно ему было покупать людей. Уж уходить хотел, как вдруг увидел: какой-то, по виду сказать, злодей собрался купить Кулачка. Дьюк вмиг раскусил этого

толстого мерзавца, когда тот облизывал свои красные губы, похотливо плясая на смазливом индейском мальчонку. Вот Дьюк и купил его сам. У него ведь сынок был возраста Кулачка, так вот я думаю, вспомнил он про своего Ричарда и купил этого. Потом заметил он Минго, увидел, как искусно строгают тот деревяшки, и тоже купил его. Подумал: «Коль я и так уж рабовладелец, так хоть дом с этого хороший отстроить». Собрался уходить, а я все жгу его глазами. Прожгла — обернулся. Только глянули мы друг на друга, и какая-то вспышка промелькнула между нами. Сразу купил он меня.

Понятное дело, был он очень одинок. Миссис Темпл, та отказывалась ехать в Темплтон — неотстроенный был тогда еще, грязный город. В Берлингтоне у ней вся жизнь была — и книжки, и общество, и музыка, и отец. Есть у меня подозрение, что этой миссис наш Темплтон на дух был не нужен. Ведь сколько лет Дьюк все пытался зазвать ее туда, а она все нет да нет. Боялась. А он-то одинок был очень и работал много. Почтенная Притибонс, экономка, готовить ну ни капельки не умела — овсянка у ней всегда убежит, ветчина подгорит. Я прозвала ее Страшной Притибонс, эту ведьму. Как пришла я да стала сама готовить, так Дьюк наш прямо раздобрел на глазах. Довольный стал ходить, сияющий, и глаз не сводил с меня целыми днями.

Дьюк мужчина порядочный, это я могу поклясться. Все боролся с собой, не прикасался ко мне очень долго. А я что? Он если ко мне не прикасается, как я смогу крутить им? Такая вот у меня магия. Поначалу-то Дьюк занят был делами очень, так что дома я его почти не видела — земельные наделы только поспевал продавать да все мотался в Олбани, да в Филадельфию, да в Берлингтон к семье. Зато я хозяйством хорошо управляла — еду вкусно готовила, дом содержала в чистоте. Люблю я, чтоб все было чистенько да опрятно. А Минго строил тогда Темпл-Хаус, почти в одиночку строил огромный каменный дом с желтой крышей. Так что помощников у меня не было. Но я-то люблю, чтобы начищено все было до блеска, чтоб занавесочки свеженькие, вот и работала в поте лица. А Страшная, эта уродливая костлявая жаба, только брала кредиты, так что даже в голодную пору, когда во всем Темплтоне детишки некормленные плакали, даже тогда у нас в доме водилась еда. Я покупала мясо у Дэйви на холме, а рыбу у нас Минго хорошо ловил.

Я тоже ходила с Минго на рыбалку, только однажды, когда мы поплыли с ним в его маленькой лодочке, увидела я под толщей воды что-то огромное и страшное, вот Минго и положил мне руку на ляжку. Что мне было делать? Стерпеть, конечно. Не прыгать же в воду к тому чудищу,

чтоб оно сожрало меня живьем! С тех пор я с ним больше не рыбачила, а ему сказала: хоть мы оба черные, да только пусть не облизывается на мой счет. После того оставил он меня в покое.

Страшная, хоть и набивала пузо благодаря мне, да только не друг она мне вовсе. Смотрела на меня волком. И этого ангелочка Кулачка, бывало, таскает везде за собой да против меня настраивает. А ведь поначалу мы с ним дружили, читать меня обучил маленько. Уже такие слова знала, как «вода», «яблоко», «змея», «лошадь». Да Страшная все покоя не знала, заграбастала паренька, и переменялся он очень. Обидно мне было, конечно, да я тоже не промах, всегда была востра на язык, вот и прозвала его Тюфячком. «Твой завтрак готов, Тюфячок!» «Сгоняй за водой, Тюфячок!» Да вышло так, что я оказалась права, потому как через несколько лет дал он деру с каким-то заезжим миссионером, ну тот, позже выяснилось, и пользовался им как тюфячком.

Наконец перебрались мы в новоотстроенный дом. Отвели мне комнату за кухней. Тут уж я поняла, что дело будет. Сам Дьюк-то изголодался, исстрадался весь по этому делу. Да и подумать хорошенько, нашлась бы не я, так какая другая, только не Страшная Притибонс, конечно. Только уж я-то если возьмусь за мужчину, то буду крутить им. Вот намазалась я маслами, свечечку зажгла — стук в дверь. Открываю — Дьюк. Да прямо с ног валится, дрожит весь и лицом бел как мучнистый червь. Впустила я его.

По правде сказать, не люблю я, когда оно так. Я управлять люблю мужчинами, заставлять их делать то, что мне надо. Вот это я люблю.

Помыкала я Дьюком так осторожно, что он и не замечал. Надо ведь как делать — чтобы мужчины раздувались от собственной важности, а ты при них вроде как тихая мышка. У меня он много чего сделал — перенес рынок на Вторую улицу с Первой, здание суда построил, ледник-холодильню соорудил у озера. Несколько лет я руководила им. А город процветал. А Мармадьюк все богател и стал очень богатым.

В тот день, когда Джедедия Эверелл въехал в город на своем осле, я мела крыльцо. Увидела его и проводила долгим взглядом. Смотреть-то особенно не на что — сутул был да страшен, — но разглядела я в его горбатой спине какое-то железо, какую-то силу и сказала себе: «Хетти, из этого мужика выйдет толк!» И еще сказала: «Хетти, этим человеком ты сможешь крутить». С первого взгляда я это поняла. Потом Эверелл, где ни встретит, все глаз отвести от меня не мог, а я улыбалась, хотя и решила: подождет. Всему свое время.

Как ни осторожничала я, к Аристабулусу Маджу ходила каждый месяц

за травами, а все равно понесла. Скверная новость. Страшная враз все углядела. Подговорила Кулачка, и тот вставил мою новость в письмишко, что Дьюк диктовал ему для миссис Темпл. Письма-то эти Дьюк за Кулачком никогда не перечитывал, вот и не узнал ни о чем. Поставил свою подпись да отправил. А я до этого письма думала, что миссис Темпл даже не знает о моем существовании. Вот сидит она в своем Берлингтоне, тоже с ребеночком в животе, с Джейкобом, и вдруг получает это письмо. Конечно, разъярилась она не на шутку и в тот же день выехала сюда со своим подросшим сыном Ричардом. Отправилась в такой дальний путь, хоть сама была, считай, на сносях — восемь месяцев у нее тогда было сроку. Несколько недель тряслась по ухабам в разных фургонах да повозках, спала на блошиных тюфяках, питалась вялеными хрящами да сухарями. Это она-то, фарфоровая куколка! Удивляюсь, как не загнулась в дороге.

Что хозяйкина повозка приближается, я еще за милю как-то почувяла, надела свое любимое розовое ситцевое платье, волосы в узел завязала. Вот въехала она во двор — дивится большому дому. Она ж впервые увидела его, а что думала все эти годы, не знаю — наверное, что мы живем в лесу, как медведи. Тут уж Дьюк несется радостный с крыльца, кричит, Ричард бросился обниматься с отцом — всего четырнадцать ему, а уж такой волосатый. Миссис Темпл слезла с повозки, в пузике ребеночек, а все равно такая маленькая да щупленькая. Я-то, считай, вдвое крупнее ее выглядела, она рядом со мной как воробышек. Шею свернуть ничего не стоит, да только ж разве пошла бы я когда на такое душегубство?! Я ведь жалела ее даже!

Жалела и потом, даже когда она зыркнула на меня, словно огнем обожгла. Прошлась вокруг меня кругами и сказала Мармадьюку, что не желает иметь в доме рабов. Не про Минго, не про Кулачка сказала, а только про меня. Так и сказала: «Не хочу иметь рабов, потому что я квакерской веры. Избавься от нее! Сегодня же избавься от этой уродины, от этой отвратительной девки!» А я вот и теперь не держу на нее зла, уродиной меня никак не назовешь, и она это хорошо знает.

В тот же день, закончив работу, я тихонько прошмыгнула к Дьюку в кабинет. Его миссис Темпл так уморилась, что слегла да два дня проспала, как после выяснилось. Дьюк чуть не плакал. «Ой, Хетти, ты уж прости меня!» — говорил. И как-то постарел сразу — или при свечке мне так показалось.

Я утешала его. Сказала, чтоб не переживал, а отдал меня тому дубильщику с Приозерной улицы, Джедедии Эвереллу. Не бойся, сказала, он хороший человек, он женится на мне, хоть я и черная. А еще сказала,

чтоб пришел потом посмотреть на ребеночка, которого я рожу через несколько месяцев. Посмотреть, да узнать в нем себя, да порадоваться.

А он и радовался и печалился, хотел подарить мне гостиницу в Олбани, чтобы я могла безбедно сына его растить. Но я отказалась, сказала, что Темплтон мой город и я отсюда ни ногой. Дескать, намоталась да намыкалась я уже за свою нелегкую жизнь. Да и что ж переживать — через неделю буду я не рабыней чьей-то, а женой. Всего через неделю. Женой!

На следующий день, собрав все свои вещи в узелок, я отправилась к Эвереллу. Постучалась. Он дубил шкуры на заднем дворе, и от этой вони так разъедало ему глаза, что они аж слезились. Посмотрел он на меня этими слезящимися глазами, и в краску его бросило. Я сказала, что судья Темпл дарит меня ему, что я теперь ему принадлежу. Сказала и улыбнулась.

Через неделю я уже помыкала им как хотела. А через две стала замужней женщиной. Когда на свет вышел мой ребеночек, на пять месяцев рано для Джедедии, так тот первым делом схватил крепыша на руки, стал разглядывать его бледнокожее лицо и рыжие волосенки. Увидел, что одно глазное яблоко ушло внутрь, но, видно, подумал о своем собственном горбе да полюбил за это глазное яблоко мальчишку еще до того, как узнал, кто его отец. Я-то сразу поняла, что Джедедии плевать, что мальчонка не его сын, а если и не плевать, то он и думать-то о таком не смел. Наоборот, стал придумывать ему имя. Всю ночь перебирал имена. То Адам, то Аарон, то Мафусаил, то Иисус — и смеялся. Придумала-то в конце концов я. Повитуха Бледсоу свое дело сделала и ушла, потом явилась Страшная и тоже ушла, гостинцев оставила, наверное, отравленных, а я с ребеночком на руках. Вот я и говорю Джедедии — что там бывает на свете самое большое? Так, чтобы больше целого нашего городка. Ну, президент, говорю. А еще кто? Император. Губернатор.

Муженек смотрит на меня, улыбается. Потом говорит: «Губернат — вот хорошее имя. Назовем его Губернатом». Так и записал его в толстенной приходской книге: «Губернат Эверелл, родился 23 января 1790 года».

Позже, когда Губернат рос, я очень осторожничала. Наплела ему, что мою мать в свое время обрюхатил рыжеволосый хозяин — хоть это и была неправда, и мать моя была африканка, и отец мой чистый африканец, и помнила я их обоих, как стояли на жаре в пыли, она в своей яркой шали, а он жевал что-то и все улыбался мне. Я сказала Губернату, что рыжие волосы, полученные в наследство от деда, потом поменяются. А что умный он такой — так это в меня, а что вид этот благородный — так это сам по себе. Он у меня хороший мальчик, веселый, сильный и храбрый, и никто не

дразнит его за темную кожу.

Уж не знаю, проведает ли он что, и если да, то как. Зато точно уверена, что в один прекрасный день, когда ему будет десять, придет он домой и на меня даже не взглянет, не обнимет мать. И на личике его детском прочту я злость и обиду. И с этого вот дня начнет он копить монетки, чтобы купить землю. И мое материнское сердце разобьется, потому что в этот день потеряю я моего сыночка. В этот самый вот день уйдет он от меня. Уйдет навсегда!

Глава 12

КОВБОЙСКОЕ ЛИЦО

На следующей неделе после прощания с чудовищем в Темплтон пришел август. А мы все никак не могли забыть зверя, его лапы-ручки с длинными пальцами, вытянутую изящную шею. Мы словно бы представляли мир его древним мозгом, видели этот мир сквозь толщу глубин, будто бы сами проплывая в них. Видели трепещущий лунный свет, проникающий до самого дна, где по-прежнему медленно таяли вековые льды, мерцающие синевой. Для тех, кто любил Темплтон, смерть чудовища стала настоящей утратой, отзывавшейся в душе ноющей, сродни фантомной, болью, что остается на месте ампутированной конечности.

И неудивительно, что над нашим городком, несмотря на жаркие солнечные дни, повисла какая-то серо-синяя пелена. Словно в каком-то причудливом тумане горожане делали что и обычно — поливали папоротники в горшках на фонарных столбах, продавали туристам мороженое, бейсболки, мячики и биты. И даже в старой городской больнице обреченные на смерть больные, которым Ви облегчала последние минуты, отходили в мир иной какими-то более умиротворенными, почти не сопротивляясь мрачному приливу смерти. В Помрой-Холле — где некогда располагался сиротский приют, а теперь дом престарелых — запах старческого недержания был уже не таким стойким благодаря ворвавшемуся сюда свежему озерному воздуху. Старики в окнах принюхивались к этой свежести, пытались уловить запах перемен, которые они чуяли костями.

На той неделе мы ничего не услышали от властей о нашем чудовище. Это был период затяжного интригующего молчания. Газеты, поначалу пестревшие скандальными заголовками на тему происхождения зверя — «Последний в мире динозавр», «Ученый говорит: исчезнувшее звено?», «Марсианская рыбина», — теперь переключились на другие проблемы. На войны в «горячих точках» планеты, на смертельный вирус, косящий человеческие жизни в океанских круизах. Писали о какой-то женщине, воспитанной чужими людьми и наконец нашедшей свою родную мать, с которой она так и не успела встретиться, потому что ту прямо на ее глазах сбила насмерть проезжавшая мимо парковки машина. Одним словом,

писали об обычных в мире скорбных событиях. Читая все это, я ловила себя на том, что руки мои невольно тянулись к пока еще плоскому животу, как будто хотели оградить глазенки моего Комочка от этих страшных вещей. А по ночам, когда я ворочалась без сна рядом с моим нависшим туманной дымкой привидением, Комочек представлялся мне крохотным вращающимся ядром, распадающимся на множество еще более крохотных частиц, пока не начинал напоминать половинку разломанного гранатового плода. У меня даже возникла неприязнь к этому фрукту.

Каждый вечер я подбегала к автоответчику в надежде услышать там мягкие круглые нотки Праймусова акцента: пусть бы он просто сказал «Привет!» — и повесил трубку.

И каждый вечер слушала шелест пустой перематываемой пленки под звуки хора лягушек в пруду.

Дважды за ту неделю я увернулась от общения с Иезекилем Фельчером. Один раз в очереди в кафе Музея ремесел, куда я забрела пообедать и где он увлеченно болтал с кем-то из местных: а в другой — когда он, весело насвистывая, цеплял эвакуатором какой-то грузовой фургончик. Судя по игрушке на лобовом стекле, он был фаном «Питсбургских пиратов». А мне все сильнее нравился Питер Лейдер и немного смахивающая на козу вечно дремлющая старушка: большую часть времени я проводила в библиотеке в поисках нужных мне предков. Следующими, на кого я нацелилась, были мать и тетка Клаудии Старквезер. Правда, Руфь и Лия Пек в возрасте первая десяти, вторая восьми лет были отправлены к богатым родственникам в Нью-Йорк, откуда впоследствии вернулась лишь Руфь, но вернулась, когда ее дочери Клаудии — моей прабабке — уже исполнилось восемнадцать и она была девицей на выданье. Руфь к тому времени давным-давно овдовела и жила, целиком посвятив себя трауру. Руфь и Лия Пек были дочерьми Синнамон, второй дочери Губерната Эверелла, так сказать, результатами ее пятого — последнего — брака.

— Спрашиваю просто так, для проверки, — обратилась я к Ви. — Ведь Руфь и Лия Пек не могли быть причастны к рождению моего отца, правда же?

— Как знать, — туманно ответствовала она.

— Не думаю, — возразила я.

На одной возрастной ступени с Руфью и Лией, происходившими по ветви Эвереллов, по линии Темплов находился Генри Франклин Темпл, отец Сары. Но он с виду был человеком спокойным и здравомыслящим, и хоть никогда нельзя ничего утверждать с уверенностью, если речь идет о предках, я была почти убеждена: вряд ли он мог совершить супружескую

измену. Впрочем, спустя несколько дней эта моя уверенность пошатнулась: я поверила в его грешок, узнав, что Генри основал в Темплтоне больницу «Финч хоспитал» для своей старинной подруги Изадоры Х. Финч, первой женщины-доктора во всем северном штате Нью-Йорк. Правда, в ходе дальнейших поисков я выяснила, что Изадора жила в «бостонском браке» с одной женщиной — она познакомилась с ней в тринадцатилетнем возрасте, будучи ученицей школы для девочек мисс Портер. Женщину, с кем она сожительствовала, все называли не иначе как мужичкой. Мне попало ее письмо к Изадоре, где она с нежностью называет ту своей женой. Тут все мои подозрения вмиг рассеялись.

Был жаркий день, когда я наконец перешла к следующему генеалогическому поколению по обеим ветвям. Матерью Руфи и Лии была Синнамон Эверелл Стоукс Старквезер Стерджис Грейвз Пек, внучка Хетти и пять раз вдова. А приемной матерью Генри была Шарлотта Франклин Темпл. Была она старой девой, собственных детей никогда не имела, зато имела семь сестер, которые все, как одна, в юном возрасте повыскакивали замуж и разъехались кто куда. Шарлотта единственная из них осталась в городе. Дочь Джейкоба Франклина Темпла, она послужила ему прообразом одного из второстепенных персонажей. Я несканно оживилась, взявшись раскапывать грязь вокруг такой образцовой девственницы в надежде узнать о какой-нибудь тайной беременности, которую ей удалось скрыть благодаря деньгам и связям. Это она основала в Темплтоне сиротский приют «Помрой». Эта серенькая мышка с акварели в нашем холле на протяжении многих лет была в городе первой леди — с момента смерти ее отца и почти вплоть до наступления двадцатого столетия.

Ничего не замечая вокруг, я с головой зарылась в книги, рассеянно грызя кончик ручки. От чтения меня оторвал громкий хохот Питера Лейдера. Он подкатил ко мне со скрипучей тележкой. Недовольная, я нахмурилась. Адамово яблоко Питера выплясывало джигу над узелком галстука.

— Ой, ну и вид у тебя, Виллй Аптон! — выдавил он сквозь смех. — Ангел смерти, истребитель вампиров!

— Что?.. — не поняла я.

— А вот, полюбуйся! — И он протянул мне раскладное зеркальце. Сам факт, что у доходяжного Питера Лейдера имелось при себе карманное зеркальце, поразил меня больше, чем его шпилька. Но когда я заглянула в зеркальце, когда увидела, что, разгрызя, оказывается, ручку, вся перемазалась черными чернилами, когда увидела этот черный лоб и щеки, — вот тогда я поняла его шутку.

— Да уж, клинический случай, — сказала я. — Но тут уж ничего не поделаешь. Иногда наш гадкий мир поражает меня до такой степени, что энергию, которая из меня прыщет, уже не остановить. Так что извини.

— Да чего там, я ведь тоже страдаю переизбытком эмоций, — попытался утешить меня он.

— Правда? И как же ты с этим управляешься?

Он оглянулся на душный библиотечный зал, и я вместе с ним — увидела, как вращаются под потолком лопасти громадного вентилятора, раздувая пряди на голове сонной старушки, и двух мух, чьи пропавшие души в панике выписывали параболы на оконном стекле. А за окном увидела озеро, темное и манящее прохладой.

Он повернулся ко мне и, изогнув дугой бровь, ответил:

— Да смываю это водой. Наше озеро действует на такие штуки просто благотворно.

Я посмотрела на него, прищурившись, и тоже изогнула дугой бровь.

Он пожал плечами. Я тоже.

Кивнув, он зашел за стеллажи, где старушка не могла его видеть, и пошел между полками к заднему выходу. Секунд через десять я увидела, как он, выпрыгнув из окна, припустил по зеленой лужайке к берегу. Бежал он как-то смешно — по-цыплячьи заплетая ногами одна за другую. Я не удержалась и рассмеялась, а потом сама выбежала вслед за ним, скинула туфли, и ноги понесли меня по траве так быстро, что я почти сразу обогнала Питера и уже мочила ступни в прохладной воде, когда он, задыхаясь, еще только сбегал по склону, на бегу развязывая галстук и пытаюсь содрать с себя ботинки. Раздевшись до трусов — черных плавочек-боди, — он неуклюже плюхнулся в воду, сразу нырнул, вынырнул и немного проплыл.

— Питер, зачем ты носишь под костюмом плавки? — поинтересовалась я.

— А я плаваю каждый день в обед, — отплевываясь, крикнул он мне из воды. — До первого льда плаваю, но потом уж, конечно, для меня холодно. Если б не купание, я бы, наверное, сдох на этой работе.

— Ах вот оно что, — протянула я, с сожалением глядя на воду. — Эх! А у меня вот с собой купальника нет!

Он подплыл ближе:

— Ну а лифчик-то на тебе? Белье на тебе есть?

— Оно белое, к сожалению.

— Ну и что!

— Белое просвечивает, когда намокает.

Питер нырнул и вынырнул. На лице его сияла улыбка. Он смахнул капли со своих непромокаемых усов и, к моему величайшему удивлению, проговорил:

— Эх, Вилли, похоже, удачный у меня сегодня выдался день!

Вода озера встретила меня гостеприимной прохладой, небо распахнуло надо мной свою душу — так и хотелось поискать черных дурных знамений над холмами, что громоздились вокруг. Когда мы брели обратно и Питер вытряхивал из уха воду, а я оттопыривала блузку, чтобы она не намочла от трусов, и сказала:

— А странно, Питер, правда? Я про озеро. Мне никогда в жизни не хотелось так скоро вылезти из воды. Может, это только у меня такие проблемы?

— Это факт, — сказал Питер. — Не только у тебя такое. Каждый год в августе здесь знаешь сколько купальщиков? Прямо кишат в воде. А в этом году — никого. Жуть какая-то поселилась теперь в нашем озере, после того как умер Глимми. — И, вздохнув, он проговорил быстро-быстро: — Этот Глимми вроде и не был злобным чудовищем — во всяком случае, я не помню, чтобы кого-то вынимали из воды покусанным, — а такое впечатление, что был. Может, он детишек пожирал, откуда мы знаем? И мы здесь купались спокойно, а он смотрел снизу на наши крохотные человечьи ножки и обливался слюной. А теперь вот озеро такое тихое, спокойное, пустынное, когда Глимми больше нет, а все равно кажется, что оно таит в себе какую-то опасность. Очень пугающе выглядит.

От его слов мне стало не по себе. Я остановилась.

— Знаешь, Питер, — сказала я, — это ужасно. Мир рассыпается на куски быстрее, чем мы можем собрать их, и единственное в мире место, на которое мы рассчитывали и которое не должно было рассыпаться, похоже, тоже поддалось распаду. Я приехала домой в Темплтон только потому, что считала его единственным надежным местом, которое не меняется, и что я здесь вижу? Это полумертвое озеро! Я всегда думала, что даже если растают все ледники мира и все города мира смоеет водой, Темплтона это не коснется. Я думала, жизнь здесь будет идти как шла, мы будем выращивать овощи и все такое — в общем, выживем. Но теперь мне так не кажется. А ты что скажешь? Я не права?

Меня переполняли чувства, мне хотелось плакать, мне казалось, что все тени планеты сгустились над нашим Темплтоном. Питер положил руку мне на плечо и развернул меня к себе.

— У тебя это просто психоз, Вилли. — Потом он вдруг заулыбался. —

А может, ты меня дурачишь?

— Нет, не дурачу.

Улыбка сошла с его лица. Между тем мы уже стояли у дверей, в их стекле отражалось озеро.

— А ты, оказывается, романтик, Вилли. Никогда не думал, что ты романтик. Я, наоборот, всегда думал, что ты такая вся крутая да жесткая. И вот что я тебе скажу, Вилли: все в мире меняется, хотим мы того или нет. Вот, например, смотри... — Он махнул рукой в сторону холмов, ощетинившихся редкими сосенками. — Видишь ту гору? Когда здесь не было этого поселения, это был просто огромный, многовековой лес. Клены, дубы, я уж не говорю о соснах... А столетие спустя там уже были одни пеньки, ни одного деревца. А еще здесь останавливались во время перелета голуби, их были тут миллионы. Красивые! Так вот за несколько лет они были полностью истреблены. Теперь единственный голубь, которого ты можешь здесь увидеть, это вон та птичка. — Он показал на пестренького голубка на лужайке. — Понимаешь, куда я клоню?

— Понимаю, Питер. — Я хотела продолжить мысль, но он меня перебил:

— А клоню я, Вилли, вот к чему. Ты можешь переживать за этот мир или нет, но от этого ничего не изменится. Единственное, чем мы можем помочь этому миру, так это просто хорошо делать то, что мы умеем. Просто делать свое дело и знать, что если завтра все вдруг закончится, то мы хотя бы были счастливы.

— Чушь какая! — возмутилась я. — Мало того что это избитое клише, так ты еще, оказывается, гедонист несчастный, поедатель лотоса!

— Если б не так многословно и пафосно, то могло бы сойти за правду, — ответил он. — Послушай, может, я буду излишне самонадеян, но все же скажу: не уступай, Вилли, никаким соображениям, живи как тебе надо. У тебя еще не все потеряно. Вот скажи мне, какую единственную на свете вещь ты бы с радостью хотела получить прямо сейчас, даже если б тебе пришлось умереть, не взяв ее до конца?

Первое, что явилось моему мысленному взору, это Праймус Дуайер. Он улыбался мне в приглушенном красном свете нашей палатки в тундре, за нейлоновыми стенками которой кричат и кричат крачки. Второе, что пришло на ум и поразило меня, — Комочек. Но эту мысль я поспешила прогнать и только третью отважилась высказать.

— Мартини с хорошей водкой. Холодненький!.. — мечтательно произнесла я.

Питер Лейдер недоуменно посмотрел на меня и пожал худыми

плечами:

— Я, правда, думал совсем о другом, но от такого тоже не отказался бы. Сегодня вечером я приглашаю тебя, Вилли Алтон, и только попробуй не принять приглашение. В десять часов в «Храбром драгуне». Я буду ждать тебя там...

Он не успел договорить. Дверь, за которую он держался, распахнулась, и на пороге возникла старушенция — ее пушистые козы сережки на подбородке раздувались от встречного ветерка.

Грозно тыча в Питера пальцем, она задрезжала:

— А ну-ка сейчас же иди работай! За тобой если не приглядывать, ты так и будешь обхаживать весь день хорошеньких барышень. Да-да, знаю тебя, будешь! Сейчас же прекращай все ухаживания и работай!

Питер так проворно шмыгнул за дверь, что я только успела разглядеть мокрое пятно от плавок на его брюках. Старушка, сердито хмурясь, посторонилась, чтобы пропустить меня.

— Заходите, мисс, — сказала она и забормотала что-то себе под нос.

Проводив меня до моего стола, она стояла потом над душой и все зудела, пока я, не выдержав, не собрала книги в стопку и не сбежала.

Вернувшись в тот вечер домой усталая, я ожидала найти Ви на кухне среди аппетитных ароматов готовящегося ужина или хотя бы у заднего крыльца возле шашлычницы, раздувающую угольки под шампурами. Но дом был пуст. На кухонном столе лежала записка:

«Солнышко, я у преподобного Молокана, как ты изволишь его называть. Настоящее его имя — Джон Мелкович, номер в телефонной книге. Останусь у него ночевать. Запарь себе хлопья, свари яйца или доедай то, что в холодильнике. Звонила Кларисса. Люблю тебя. Ви».

Я похихикала над запиской, держась за пупок.

— Гляди-ка, а кто-то у нас, оказывается, лицемер! Интимные связи до свадьбы? Мораль, значит, побоку... — Заметив, что держу руку на животе, я сказала Комочку: — И чего это я с тобой разговариваю? Ты же еще даже не человек. — Сказала и уселась доедать остатки фаршированного цыпленка.

Включив телевизор, я через три секунды поняла, что ненавижу его, и выключила. Встала, намереваясь размяться: подпрыгнуть пятьсот раз — с тех пор как я поняла, что любой мужчина в городе может быть моим отцом, и торчала по утрам дома, боясь встретиться с «молодыми

побегами», я не делала никаких физических упражнений. На триста сорок первом подскоке мне показалось, что звонит телефон. Я понеслась к аппарату, но в трубке услышала только какие-то далекие гудки. Я вернулась на диван, стала листать материну книгу про вязание, и меня тотчас сморило.

Проснувшись я в темноте, луна торчала в небе словно натуго привинченная к нему болтом. Таймер на видеомагнитофоне показывал 22:21, и я, как человек, не привыкший опаздывать, бросилась лихорадочно собираться. Ни на секунду мне не пришло в голову, что, наверное, мне не стоит пить, или что нужно перезвонить Клариссе, или хотя бы подумать, что я надену, я просто натягивала на себя то, что попадалось под руку. В итоге смотрелась я очень даже ничего в коротеньком платьице Ви времен ее хиппняцкой молодости, с банданой из красного шелкового платка и с золотыми кольцами в ушах — я прямо залюбовалась собой, отступив на несколько шагов от зеркала. Прикид мой напоминал какое-то дорогое дизайнерское решение на цыганскую тему. Обувшись в допотопные босоножки на каблучищах, я выскочила за дверь, когда на таймере еще не набежало 22:25.

«Храбрый драгун», самый старинный бар в Темплтоне, был построен еще при жизни Мармадьюка Темпла, сразу после основания поселения. Сначала это была крошечная дощатая хибара, которую хозяин заведения отстроил собственными руками, и даже сам изготовил вывеску, до сих пор предоставленную на обдувание всем озерным ветрам. На вывеске он изобразил извивающегося огнедышащего дракона и над ним аккуратной строкой название. В те времена повальной безграмотности никто не заметил, что «дракона» перепутали с «драгуном», даже Мармадьюк, который читать научился сам, а писать и вовсе не умел. Когда первый поверенный въехал в город и остановил свою хромоногую клячу, дабы прочесть вывеску, он, откинувшись в седле, долго хохотал, пока вокруг не собралась толпа.

— И что же такого смешного тут, сэр? — спросил обиженный хозяин заведения.

— Видите ли, драгун — это такой рыцарь, а дракон — это дракон, — объяснил поверенный.

Хозяин притащил ведро краски, взобрался на плечи здоровяку Соломону Фолкнеру и пририсовал снизу рыцаря в доспехах, пронзающего дракона копьем. Вот под эту самую старинную, только теперь уже отреставрированную вывеску я и спешила сейчас. По пятницам бар

окупировала местная молодежь, в остальные же дни недели здесь тусовались рокеры и улица Пионеров прерии была заставлена «харлеями» аж до самой пресвитерианской церкви. Уже перед самой дверью, сквозь которую пробивались костедробильные басы, я остановилась перевести дух и успокоиться, после чего вошла в зал, где над начищенным до блеска и сохранившимся со старых времен дощатым полом повисал густой табачный дым.

Музыка продолжала играть, и далеко не все из присутствующих обратили на меня внимание. И все-таки многие обернулись посмотреть, кто я такая. Ко мне тут же подскочил улыбающийся Питер Лейдер, а в руке у меня тут же оказался крошечный «бокальчик» с какой-то темной липкой жидкостью, и, когда я опрокинула его содержимое внутрь, рот и горло мне обожгло сладким крепким вкусом ликера.

— Знаешь, Вилли, — сказал Питер, от которого уже несло спиртным, — честно говоря, я думал, ты не придешь.

— Знаешь, Питер, честно говоря, я случайно задремала и чуть не проспала все начисто.

— Честно говоря, — начал он опять, и только тут я заметила: галстука на нем нет, а одет он в розовенькую спортивную рубашечку и желтый свитер. Вырядился под яппи! Панибратски положив руку мне на плечо, он продолжил: — Честно говоря, Вилли, выглядишь ты просто классно!

— Боже, Питер, ты только не обижайся, но мне показалось, ты меня сегодня вроде бы пожалел? Не надо меня жалеть. И ручонками обнимать не надо, у меня все в порядке.

— Ручонками? — Он как-то жалобно улыбнулся. Усики его задвигались как живые. — А я вроде всегда считал себя галантным.

В моем взгляде он, видимо, уловил сомнение, потому что немного отступил назад, обиженный. Он, кажется, собирался что-то сказать, но прямо над моим ухом кто-то гаркнул:

— Это кто у нас тут галантный? Питер? Да он ко всем бабам клеится; вот подожди маленько, и сама увидишь.

Я обрадованно обернулась и увидела Иезекиля Фельчера — в жеваной марлевке и брюках хаки. И одеколон его подходил к одежке — «Олд спайс». Ядреный такой запашок.

— Фельчер, ты?! Иезекиль. Какая приятная встреча!

— Конечно, приятная — увидеться с очаровательной Вилли Аптон. Я так понял, ты пришла на обещанное пивко?

Питер, наблюдавший за нами, подмигнул мне, прежде чем я успела ответить.

— Выпивка сегодня за мой счет! — крикнул он. — Посидишь с этим умником, Вилли? А я пока сбегаю принесу. Будет приставать, мне скажи.

— Да посижу уж, — отозвалась я. — Спасибо.

Он повернулся и пошел к стойке бара, на ходу пританцовывая и по-девчачьи виляя бедрами.

— Ну ты молодец, Иезекиль, — сказала я, когда мы остались одни. — Только вот смотри, как странно: я почему-то всегда думала, что Питер Лейдер гей.

— Кто? Пит? Ну какой же он гей! И я вообще-то не шутил — он правда клеится ко всем девкам. У нас ведь городок маленький, и, если парень дарит девчонке цветы, готовит ей завтрак и названивает целый день, чтобы наговорить приятных слов, то такой здесь считается хорошим нормальным парнем. А если парень считается нормальным и хорошим, то у него от девчонок отбоя нет. Даже те, которые раньше смеялись над Питом, когда он был толстым, теперь его любят.

— А ты?

— Я считаю, что он нормальный. Мы хорошие приятели, — добавил он.

— Я имею в виду, тебя здесь каким считают?

— А, ты про это! Ну я-то в свое время понаделал ошибок! Меня больше никто не считает хорошим парнем. С Мел были проблемы. У меня же пацаны, ты знаешь. А так у меня все в порядке. Я еще могу зажигать, вот посмотришь! — Он улыбнулся.

«Это вряд ли», — подумала я, а он уже вел меня через толпу к столику. По дороге меня остановили какие-то девушки, показавшиеся мне знакомыми. Сюзанна? Хиллари? Эрика? Джоан? Кто-то из них буркнул скупое «привет!», глядя при этом куда-то мне за спину с явным неодобрением, кто-то, наоборот, бросился обнимать меня.

В этом шуме я совсем не могла понять, что они говорят, поэтому просто улыбалась и кивала и дала Фельчеру утащить меня к столику.

Когда мы уселись в уголочке, он вдруг задрал рубашку и показал мне здоровенное пузо.

— Видала? Вот этого всего через месяц не будет. Я теперь бегаю по утрам. До четырех миль в день. Неплохо, правда? — И он застенчиво улыбнулся.

— Да здорово, конечно. Только зачем это? Ради кого стараешься?

Он посмотрел на меня искоса и объявил:

— Ради тебя.

— Что? Не надо ради меня ничего делать!

— Нет, надо, — наступал он. — Ты вот смотри, как хорошо выглядишь! Я на тебя взглянул, и мне стало стыдно. Я подумал: вон Вилли Аптон какая! Без пяти минут доктор философии, и выглядит даже лучше, чем в старших классах с той своей шикарной причесочкой. А ты, Зики, по сравнению с той нашей королевой просто полное дерьмо, подумал я. А я, знаешь ли, не привык чувствовать себя полным дерьмом. По сравнению с кем бы то ни было.

— Ха! А я вся шикарная?

Фельчер наклонился ко мне, и в его зеленых глазах мелькнул знакомый мне озорной огонек, который так сводил с ума девчонок.

— А что, нет? Только вот почему ты домой вернулась? Расскажи. Сядь спокойно, расслабься и расскажи старому доктору Фельчеру, что там у тебя стряслось, детка.

Особенно тронуло меня это «детка» — я всегда велась на такие нежности. В глазах у меня защипало, и пришлось опустить их, чтобы слезы не потекли наружу. В этот момент вернулся Питер с полным подносом стаканчиков.

— Мы с Зики научим тебя пить — покажем, как пьют настоящие темплтонцы. Правда, Зики? — возгласил он.

— Правда, — отозвался Фельчер. Они как-то странно переглянулись, но мне совсем не хотелось вникать, что бы могли означать эти взгляды.

Я взяла стаканчик и опрокинула его одним глотком, даже не поморщившись.

— Во-первых, — заговорила я, радуясь, что Питер так и не заметил моего кислого настроения. — Во-первых, я и так темплтонка. Самая настоящая темплтонка. — Я опрокинула другой стаканчик и продолжила: — А во-вторых, я уже и так умею пить. — Только после второй порции я поняла, что хватанула виски.

Фельчер слегка присвистнул, и у него вырвалось:

— Ого!

— Ладно, игра пошла, — произнес Питер. — Называется «ковбойское лицо». Правила, надеюсь, все знают?

— А что там знать? Выпиваешь стакан и делаешь вид, что тебя не берет. На роже ничего не должно быть написано. — И Зики проиллюстрировал сказанное, выпив свою порцию с таким бесстрастным лицом, словно пил не виски, а воду.

— Отлично, договорились. — Питер тоже опрокинул стопку. Ноздри его при этом слегка раздулись, подбородок несколько окаменел, и мы с Фельчером дружно признали: за такую слишком уж нарочитую

«ковбойскую рожу» Питеру не полагается ни одного очка.

Где-то после пятой стопки Фельчер положил руку на мою голую коленку, и возражать я не стала. Коленка у меня замерзла, вот я и подумала — пусть греет. Где-то после седьмой стопки Питер Лейдер заметил руку на моей коленке. Смерив нас внимательным взглядом, он пояснил: «Пойду-ка схожу на горшочек», — и, шатаясь, стал пробираться сквозь толпу.

Оставшись наедине с Фельчером, я обвела затуманенным пьяным взглядом бар и вдруг поняла: жизнь не так уж плоха, как мне казалось. У музыкального автомата под какое-то мужененавистническое кантри самозабвенно отплясывал Бобби Джин Ламарк, Фельчер орал мне в самое ухо что-то про утиную охоту, и я думать забыла на время о своих личных проблемах. Меня одолевала приятная сонливость. К нашему столику Питер вернулся не один, а под ручку с невысокой пухлой девицей, явно туристкой. На голове у нее красовалась бейсболка, надетая козырьком назад, под глазами черные крапинки туши — наверное, сморгнула, не досушив ресницы.

— Ребята, познакомьтесь: это Хитэр. Хорошенькая, правда?

— Восхитительная! — сухо согласился Фельчер. — Сколько тебе лет, детка?

Она заморгала, вопросительно глядя на Питера:

— Восемнадцать?..

— Ну? Слыхали? Восемнадцать. Очень солидный возраст, — проговорил Питер. — Мы вот собираемся немножечко прогуляться к озеру. Я рассказывал ей про Глимми и прочее. Про чудовище рассказывал. Ей было очень интересно.

— Ага, это ж так круто! Чудовище, надо же! — затрещала девица. — И такой вечер сегодня! Правда? Цветочки, луна...

— Пока, детка, — хмыкнула я. — И будь поосторожнее, а то он у нас первый бабник тут, этот наш Питер-Лейдер-Пудинг-Пирожок.

— Да-а?.. — Она захихикала и потрусила за Питером к выходу.

Мы с Фельчером наблюдали за ними в окошко. Питер стянул с себя свой желтый свитер и накинул на плечи спутнице. Девчонка просияла.

— Ну надо же! Питер Лейдер и впрямь умело клеит девчонок, — обернулась я к Фельчеру.

— А я тебе что говорил? — Он вдруг ткнулся носом в мое в плечо. — Ты так здорово пахнешь, Вилли Аптон. Что, интересно, у тебя за духи? Так прямо и хочется съесть тебя!

— Это просто мыло такое. — Я высвободила коленку из-под его руки. — Мне пора домой.

— Что, уже?! Только пол-одиннадцатого!

— Ну и что? Я достаточно нажралась, чтобы оценить твою привлекательность.

— М-да?.. — Он явно обиделся.

— Прости, — сказала я.

Вложив в улыбку все свое обаяние, он спросил:

— Так, значит, мне можно пойти с тобой? К тебе?

— Ни в коем случае, — ответила я.

— Почему? — недовольно спросил он.

— Потому, Фельчер, что ты не женат на той, с кем имеешь двоих детей.

Не обижайся, извини. Мы с тобой просто останемся хорошими друзьями.

— Но проводить-то тебя хоть можно?

— Не надо. Тут идти всего два квартала. И знаешь что? Я просто не хочу, чтобы меня видели с тобой.

Он заметно сник и отвернулся.

— Злюка ты какая, Королева. Всегда такая была, — проговорил он, и я пошла к выходу, крикнув «пока!» девчонкам, которые, как я поняла, втихаря за мной наблюдали — как я уйду одна, а не с этим жеребцом Зики Фельчером.

Воздух к ночи посвежел, и кожа моя покрылась пупырышками. Напротив через дорогу, в баре отеля «Питт», тоже полным ходом шла пьянка, только публика здесь была другая — старые городские забулдыги, вечно сидящие до последнего. Оставалось только надеяться, что человека, который приходился бы мне отцом, не было среди этих красноносых алкашей с обвислым брюхом и сальными жидкими волосами. По обочинам Главной улицы были припаркованы остатки телевизионных грузовиков, приезжавших снимать Глимми. Флаг на высоком шесте на перекрестке Главной и Пионеров хлопал на ветру, а впереди, у самого начала улицы Пионеров прерии черной манящей далью простиралось озеро. Мне вдруг захотелось войти в его маслянистую черноту и оказаться посреди отражающихся в ней звезд — точно так же как когда-то хотелось старшекласснице, думавшей, что она знает на этом свете все, поскорее войти в большой и широкий мир, который, как ей казалось, она непременно завоюет. Но, идя через парк, я подвернула лодыжку, выругалась и сняла одну босоножку, потом поняла, что совсем не хочу ковылять домой как Квазимодо, и сняла вторую.

Держа босоножки в руках, я произнесла вслух:

— Ну вот, теперь у меня есть чем обороняться, если кто нападет.

На фонарном столбе на углу Пионеров и Озерной мне примерещилось

лицо Праймуса Дуайера, и я так ожесточенно замахала в его сторону своими босоножками, что одна даже ударилась о столб.

В этот самый момент передо мной возник Иезекиль Фельчер. Первым делом он взял у меня из рук мою обувку, и тогда я сказала:

— Так ты шел за мной следом? Ах ты! Я же велела тебе оставаться там... в этом, как его там... в питейном заведении.

— Ой, детка, да ты и впрямь одна до дому не доберешься! — Он осторожно возложил мою руку себе на плечо.

— Ой, только не надо со мной возиться! — воспротивилась я, сама притом обмякая. — Не надо, а то я заплачу. Дом мой вон он, даже отсюда видно. Во-он, видишь те огоньки? Так что сама доберусь преспокойно...

— Да, но тебе еще надо перейти через дорогу, а я не хочу видеть, как тебя в последнюю минуту собьет машина.

— Ладно, так и быть, — смилостивилась я. — Ты только скажи, тебя никто не видел? Ну... там, в баре... что ты пошел за мной.

Он картинно вздохнул.

— Нет, Вилли, никто не видел. Я вышел через заднюю дверь из уважения к тебе. Ты же не хотела, чтобы тебя со мной видели.

— Ну да, не хотела! Только без обид. Вспомни себя в школе — только и делал, что девкам мозги пудрил. Они ж от тебя все плакали, сохли по тебе, и все равно у тебя всегда была девчонка. Уж не знаю, как ты умудрялся, Фельч. Лично мне никогда не хотелось гулять с тобой.

Он насупился и спросил:

— Так поэтому ты отказалась танцевать со мной на том школьном балу, Королева? Я ведь обиделся тогда, знаешь ли. — К тому времени мы уже перешли через улицу и шагали по дорожке к моему дому. Асфальт под моими босыми ногами еще хранил тепло солнечного дня.

— Да, — сказала я. — Хотя я тоже долго сохла по тебе. По тебе все сохли. Только я одна за тобой не бегала. Потому что умная была. По крайней мере тогда. Сейчас-то нет. Сейчас я тупая как пробка. Даже моя мама так говорит, хотя сама она сроду особым умом не блистала.

Мы уже проходили через гараж. Там было прохладно и веяло родными запахами дома — соломой, пылью и горьковатым апельсином. Я сразу же расслабилась, только почувствовала себя очень усталой. Расстояние отсюда до моей комнаты казалось мне непреодолимым марафоном.

— А я всегда по тебе сох, — сказал Фельчер. — И никакая ты не тупая, Королева.

И тут, навалившись всем телом, он прижал меня к двери. Он дышал мне в лицо, губы его были совсем близко, и он начал меня целовать. Мои губы

будто одеревенели, но даже в такой момент они легко признали: Фельч знает толк в поцелуях. Губы мягкие, ненапряженные, языком действует, но только слегка. Я закрыла глаза, и все поплыло в темноте. Я забыла, где нахожусь: Темплтон, Эверелл-Коттедж, даже Иезекиль Фельчер, его руки и губы — все это унеслось куда-то прочь, и передо мною словно возник Праймус Дуайер, он был сейчас рядом со мной вместо Иезекиля, и я чувствовала, как мужские руки скользнули мне под трусы, и это были руки Праймуса, и живот, припиривший меня к двери, тоже был его, и подол мой задрался вверх, и трусы соскользнули вниз, и я слышала, как звякнула пряжка ремня о бетонный пол гаража, и ремень и пряжка эти тоже были почему-то Праймусовы. И это он обхватил меня сейчас сзади и нагнул. И все остальное было тоже его... Как это? Нет, конечно, не его!.. Нащупав в темноте дверную ручку, я повернула ее, и мы, ввалившись в дверь, рухнули на пол прихожей. Я посмотрела Фельчеру прямо в глаза и отодвинулась:

— Нет.

— Ой, прости. — Он отвернулся. — Я такой кретин, Вилли. Полный кретин! Как подступит, так ничего не могу с собой поделать.

— Ладно, ты иди, — сказала я.

И он пошел. Я слышала, как его громкие быстрые шаги удаляются по дорожке. В глубине души я надеялась, что больше никогда не увижусь с Фельчером. Я даже не посмотрела на него, когда он встал и пошел, просто захлопнула дверь ногой. И в то же время в глубине души я надеялась: он вернется. Еще какое-то время я сидела в темноте и ждала, когда раздастся тихий стук в дверь, но он так и не раздался.

Очухавшись, я поняла, что держусь обеими руками за живот.

— Бог ты мой, миленький! — сказала я Комочку. — Про тебя я совсем забыла. Прости!

Я нуждалась в жидкости и жирах. Когда я зажарила себе яичницу из двух яиц и выдула почти два литра воды, на глаза мне опять попала записка матери, и я поняла: сейчас мне нужна Кларисса. Пока я набирала номер и слушала гудки на другом конце, слезы прямо душили меня — идиотская история с Фельчером так и просилась наружу.

Но к телефону подошел Салли, я услышала в трубке его сухой голос.

— Здорово, Салли. А Кларисса не спит?

И хоть я всегда считала Салли одним из моих самых близких друзей, с кем мы по четвергам садились поиграть в «виселицу» даже без Клариссы, он злобно прошипел:

— Ой, Вилли, сейчас одиннадцать вечера! Попробуй хотя бы раз подумать о ком-нибудь еще, кроме собственной персоны! — И повесил трубку.

Я тупо смотрела на трубку, потом медленно положила ее. Меня прямо-таки трясло. Но телефон тут же зазвонил. Это оказалась Кларисса, и я даже не сразу поняла, что она говорит. Голос у нее был мрачный.

— ...не обращай на него внимания, — сказала она. — Просто он очень переживает. У меня дела плохи, Вилли, и я не могу сейчас много говорить. Просто не хотела тебя расстраивать.

— Все равно он козел! — взорвалась я.

Голос у Клариссы вдруг изменился, как будто она улыбалась.

— Да ты напилась, Вилли? Ты звонишь спьяну? — В трубке послышался новый взрыв недовольства Салли — он чертыхался.

— Ну да, напилась. Извини. Знаю, что подруга я гадкая.

— Нет, все нормально, но только не очень ко времени. Я ведь уже спала. Давай поговорим завтра?

— Давай. Ты только скажи, Кларисса, тебе снова сделалось хуже?

— Поговорим об этом завтра, детка. Попей сейчас водички и ложись.

— Обожаю тебя, — промычала я.

— Иди отсыпайся! — Она повесила трубку.

Я уже переделалась в пижаму, почистила зубы и умылась, когда телефон у меня в спальне зазвонил снова. Уже порядком протрезвевшая, я чувствовала себя взрослой и даже старой, когда шла снимать трубку.

— Алло?.. — осторожно сказала я.

— Вилли, — раздался в трубке злобный шепот Салли. — Тут вот какое дело. Клариссе очень худо — старый приятель нефрит вернулся. Я, конечно, понимаю, что у тебя в жизни сейчас тоже не все гладко, но, Вилли, как же так можно?! Ты ее лучшая подруга, но вместо того чтобы быть здесь и ухаживать за ней, ты улучаешь момент, когда она впервые за неделю наконец с трудом забылась сном, и будишь ее своим дурацким пьяным звонком! Тебя нет все лето, и ты... ты будоражишь ее, выводишь из равновесия, а ей сейчас нужно не это! Я слышан о твоих невзгодах, знаю, что у тебя большие проблемы, и искренне сочувствую тебе, поверь, искренне! Но, Вилли, я тебя умоляю, не могла бы ты быть чуточку менее эгоистичной? И еще вспомни, что ты сказала мне в больнице. Ты сказала, что будешь помогать мне. Сказала, а сама не помогаешь.

— Ой, Господи, Салли, откуда ты говоришь?

Помедлив, он ответил:

— Я на балконе. Я заставил Клариссу принять еще таблеток, и она снова уснула. Ой, Вилли, ты даже не представляешь, какой это ужас, просто безумие какое-то! Где это видано, чтобы тридцатилетняя женщина умирала от волчанки? Я так до сих пор толком не понял, что это за мерзость такая — волчанка! И с чего эта вонючая напасть выбрала себе в жертвы Клариссу? Ума не приложу, что делать, с ума схожу!

— Я тебя понимаю. — Мне представился Салли, мечущийся в панике на ветру на балконе высотки в Сан-Франциско. — Послушай, Салливан, мне очень и очень стыдно, что меня нет сейчас с тобой рядом. — Тут я услышала от него кое-что еще и не выдержала: — Подожди! Кто говорит о смерти? Она же не умирает, верно?

— Видишь ли, этим все и заканчивается, когда инфекция распространится по организму.

— Вот черт! — воскликнула я.

— Да. К счастью, пока ничего необратимого не произошло, но произойдет, если она будет продолжать отказываться от лечения. Она же не лечится, ходит к этой китайской шарлатанке, которая пичкает ее травами. Слушай, я тебя умоляю, когда завтра будете говорить с ней, постарайся как-то вразумить ее! Потому что меня она вообще не слушает! Я ничего не могу поделать! Ничего! — Салли теперь как-то странно дышал мимо трубки, и я догадалась, что он плачет.

Только теперь я представила себе жизнь Салли в последние месяцы — как он вскакивает по ночам во время Клариссиных приступов, как работает по пятнадцать часов в сутки в ненавистной ему фирме и возвращается затемно на автобусе, зная, что дома его ждет измученная болезнью Кларисса, нуждающаяся в его помощи. Что он должен приготовить ей особой еды, возиться и нянчиться с ней, раздражительной и придирчивой из-за вынужденного простоя в работе, с ней, которая никогда в жизни, в отличие от них от всех, не была раздражительной и придирчивой. Я живо представила себе Салли поднимающимся на лифте в их квартиру — глаза устало закрыты, промокшие под дождем жиденькие волосенки сбились набок и липнут к голове. Для него это короткий момент передышки, потому что сейчас он выйдет в холл на этаже, постоит перед квартирой и откроет дверь, когда на самом деле ему хочется всего лишь получить стакан вина и немного душевной ласки.

— Мне прилететь? — спросила я.

— Что?

— Я могу прямо сейчас выехать в Олбани! Сяду на первый же рейс и утром буду у вас.

Салли молчал, я слышала его дыхание в трубке. Потом, кашлянув, он сказал:

— Нет, завтра ты мне не понадобишься, но очень скоро — да. Но знаешь, Вилли, я буду очень благодарен тебе, если ты позвонишь Клариссе утром и послушаешь, что она говорит. А вообще ты мне очень помогла своим желанием приехать. Спасибо тебе. — Он подумал немного и прибавил: — Знаешь, Вилли, если ты обработаешь ее и убедишь снова обратиться к нормальным врачам, к психотерапии и лечению антителами, а не только этим шарлатанским гомеопатическим дерьмом, то я смогу еще сколько-то протянуть. Но я тебя умоляю: приезжай, как только я позову! Да, и звони, если можешь, каждый день. Ты просто не представляешь, как тяжело переносить это одиночество! Я смотрю, как ведут себя все эти друзья, и мне кажется, что эта волчанка заразна. Все эти друзья и коллеги по работе, их же как ветром сдуло! Раз в сто лет заедет кто-нибудь с цветочками, и это почему-то непременно лилии, а Кларисса говорит, что лилии преподносят покойникам, и каждый раз вышвыривает их в окно. Тебе она, конечно, не признается, Вилли, потому что знает, что у тебя своих проблем полно, но мне кажется, ей сейчас очень тяжело и очень плохо.

Мне был слышен шум ветра в телефонной трубке, звуки ночной жизни Сан-Франциско — непрекращающееся движение транспорта, гул отдаленных сирен, рокот самолета в небе. У меня вдруг возникло такое же ощущение, как до отъезда на Аляску, — как будто каждый шаг, который я делаю, отнимает дыхание у этого хрупкого, ставшего вместилищем многих грехов города. Все эти месяцы мне иногда приходилось закрывать глаза, чтобы прогнать приступ панического страха, а когда не получалось, то мне представлялось, как будто этот прекрасный город ломается и крошится в стиснутом кулаке какого-то огромного и сердитого бога. Салли, кашлянув, напомнил мне о себе, оторвав меня от моих мыслей.

— Ой, Салли, могу себе представить, как тебе тяжело, — сказала я.

После новой долгой паузы его дыхание успокоилось, и он ответил:

— Мне очень не хватало этих слов. Ты даже не представляешь, как не хватало!

— Мы одолеем эту чертову волчанку, эту злобную волчару, вот увидишь, — заверила я.

Он рассмеялся.

— И юмора мне тоже очень не хватало. Я рад, что ты снова с нами, Вилли. Рад приветствовать тебя снова на борту.

— И я рада, Салли! Завтра я позвоню Клариссе.

В телефоне что-то щелкнуло, разговор прервался. Привидение, маячившее все это время у меня сбоку, стало блекнуть, пока не растворилось совсем, а за окном иссиня-черная мгла туманной пеленой окутывала озеро и лужайку.

Глава 13

«МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ» С НОВА РАССКАЗЫВАЮТ

Мы бегали в апельсиново-рыжие июльские дни, бегали по утрам, нежно-бархатистым, как мышинная шкурка, в морозящий дождик, в изнуряющее пекло, бегали под аромат пробуждающейся пахучей гардении и в тени глицинии, увивающей крытый мост. Мы бегали вплоть до самого августа, несмотря на трудности, выпадавшие на нас весь этот год. Но после чудовища лето словно раскололось на части. Когда мы вместе, мы друг друга поддерживаем, наши старые ноги дружно топают по темплтонским мостовым, наши старые сердца бьются в унисон. Утренние пробежки для нас утешение, они для нас развлечение. После чашечки кофе в кафе Картрайта мы разбегаемся в разные стороны, тащим свои старые кости по домам, в эту неразбериху, в которую мы превратили свою жизнь.

У Большого Тома пропала его дочь-наркоманка. Сбежала из дому, исчезла, словно испарилась. А ведь еще два года назад она, трезвая и здравомыслящая, в очках с роговой оправой и с ямочками на щеках, была капитаном дискуссионной команды. Мы так и не знаем, куда она делась, хотя искали повсюду, связывались с газетами, обшарили весь север штата Нью-Йорк. Мы даже вместе изготовили листовки, но девчонка-то наверняка изменилась и больше уже, наверное, непохожа на ту трогательную умную мышку с ксерокопий, отпечатанных на работе у Тома.

У Маленького Тома опять дало знать о себе сердце, ему даже пришлось лечь в больницу. Он вышел оттуда бледный и трясущийся. Мы советуем ему пока не бегать, а он смотрит на нас и говорит: «Я лучше умру на пробежке». И мы разрешаем ему бегать, потому что сами предпочли бы умереть на бегу.

С Иоганном не разговаривает дочка — из-за того, что он кое-что натворил, напившись на свадьбе у дочери Кларка. Иоганн звонил дочке в Мемфис и сказал со своим смешным немецким акцентом: «Милая, ты не сломала мою жизнь, когда стала такой буквой. Я думал, ломаешь, но теперь знаю, ты фырастешь, пофзрослеешь, фыйдешь самуж, будешь иметь землю

и деток. Ты просто знай: я люблю тебя фсегда».

Как мы ругали его, выйдя на пробежку на следующее утро! А он смотрел на нас печально и грустно моргал.

«Неушели это плехо?» — недоуменно спрашивал он.

«Да, Иоганн, это плохо», — отвечали мы.

Третья по счету жена Сола, инструкторша из тренажерного зала, передала ему документы на развод через своего нового ухажера, слащавого хлыща Харли. Нашего Сола опять отфутболили. Из-за того, что дети не получаются. Третий раз женат, три стареющие матки — и каждый раз это служит причиной, чтобы поискать кого-нибудь новенького. Из всех нас только Сол не смог обзавестись детьми. Когда мы обсуждаем своих, он всегда молчит, грустно смотрит, даже когда Большой Том рассказывает про свою непутевую дочурку. Мы видим, как глаза его жалобно моргают за стеклами солнечных очков, мы чувствуем всю тяжесть этого молчания. Мы понимаем, что он рад был бы всякому ребенку, даже такой нарकोше, как у Большого Тома, согласился бы на неприятности, на то, чтобы его ребенок ненавидел его, как ненавидит Иоганна его дочка. Он согласился бы на все, что угодно.

Дугу, наверное, грозит тюрьма — за то, что не выплатил и без того просроченные налоги. Сол предложил ему свою помощь (тут-то мы впервые осознали, насколько он богат), но Дуг презрительно морщится — буду, говорит, стоять на своем до конца. Нам так и хочется спросить: «До чьего конца-то?» — но мы молчим. У него теперь новая девица, о чьем существовании, возможно, знает жена. Девица — восемнадцатилетняя красотка из Музея восковых фигур, которой платят за то, что она, встречая мужчин убойными сиськами и сладкой улыбкой, проводит их в прохладный полированный зал, в этот мавзолей, где всякие Мики Мэнтлы и Бэбе Руты начинают таять, когда выходит из строя генератор. Эта его девица пугает нас не меньше, чем тюрьма. Но Дуг не верит, что попадет в тюрьму. И не верит, что жена может знать о существовании девицы. А мы верим. Верим и трясемся за него.

Ну и в довершение ко всему Фрэнки после смерти родителей потерял двадцать килограммов, и теперь кожа у него обвисла и пожелтела. По пять раз на дню его бросает то в нездоровое веселье, то в уныние. Вчера его понесло шутить, и он молол такую чушь, что Иоганну пришлось перебить его другой шуткой, чтобы Фрэнки вконец не опозорился. После этого мы бежали обратно уже молча и даже не зашли в кафе выпить кофейку, как делаем это обычно.

Темплтон, как нам кажется, погрустнел. Какой-то мрачный он стал

этим летом. Мы так и не выбрались отдохнуть в загородном клубе. Почти не играли в гольф. У полоумного Пиддла Смолли стала идти изо рта пена, и он тряс на улице пиписькой перед какой-то девушкой, после чего его родителей заставили запереть его дома и шпиговать лекарствами. В самой глубине души мы думаем: в том виновато чудовище. С его смертью жизнь наша по спирали катится вниз.

Но мы по-прежнему бегаем. Рвемся в беге преодолеть пятидесятилетний рубеж. Больно сознавать свой возраст, и мы бежим от этой боли. Каждый день бежим к финишу. А потом приходит приятная истома, сердце начинает биться ровно, пот высыхает, и ты знаешь, что если пробежал эту дистанцию, то боли не будет, ты забудешь о ней.

Глава 14

ДЭЙВИ ШИПМАН (ОН ЖЕ КОЖАНЫЙ чулок, НАТТИ БАМПО, СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ И Т.Д.)

В то голубиное утро я проснулся стариком. С ноющим телом, с большой головой. Оглядел опустошенную голую землю вокруг, черные обгорелые пни, озеро, коричневое от грязи. Когда-то давно я считал этих людей своим племенем, но они больше не мое племя. Мне следовало уйти от них гораздо раньше, податься на запад, в не знающую лжи глушь лесов, потому что я уже давно ненавижу поселенцев с их страстью истребления. И поселенцы, со своей стороны, тоже тяготятся мной, белым охотником, живущим как индеец, уже не молодым, но все еще внушающим страх. Мальчишки даже кидались издалека в меня камнями, обзывая Старым Вонючим Чулком, и хоть я мог в секунду снять их из ружья, как крикливых ворон на ветке, я не стал, просто посмотрел на них сурово. Они сразу бросились наутек и больше этого не делали. Я же все цеплялся за эту землю, как гремучая змея, чья отрубленная голова все равно продолжает жалить уже на последнем издыхании.

Сварив кофе, я повернулся к Сагамору, лежавшему под своим красным одеялом, и не удивился его изможденному разбитому виду. Поднялся он со стоном, потом смущенно притих. Я понимал, каково ему, да только притворился, что не слышу. А ведь когда-то, сейчас даже трудно припомнить, мы были очень молоды — мне было всего одиннадцать, когда его семья приняла меня, сбежавшего от собственной родни. Отец мой был англиканским священником, днем боженька во плоти, ночью сам дьявол — сек меня хлыстом так, что я в итоге удрал в дикие леса, предпочтя дому лесную чашу и тех, кому на съедение я должен был достаться. Полуживой от голода, я набрел однажды на лагерь делаваров и там нашел себе хорошую семью. Сагамор, мой побратим, ставший мне кровным братом, брал меня на охоту и рыбалку, учил меня жить в лесу. Но к тому времени, когда Дьюк обосновался на озере, делавары почти все уже вымерли, а последнее, что я слышал о моем отце, так это что он разбогател, обзавелся

винокурней и выписал для своей церкви другого священника аж из самой Англии. Вот ведь какая несправедливость — благородные умирают, а подлые процветают. Всю мою жизнь эта мысль не дает мне покоя.

Пока мой старый друг оправлялся в сосенках, я отрезал мяса и бросил его в котелок варить. Потом мы раскурили трубки. Мы пили кофе и ловили носом приносимый ветром запах горелых лесов — запах разрушения и гибели, чинимых Мармадьюком Темплом. Мы прожили бок о бок много лет, и я знал, о чем думает Сагамор — о том, что всего несколько лет назад мы впервые увидели Дьюка, когда он, валясь с ног и что-то бормоча, пробирался по лесам. И о тех обезумевших от войны с французами солдатах, которые стояли под частоколами фортов, оборванные, изувеченные, просящие милостыню. Они выставляли напоказ свои обрубки, а один — даже свои распухшие гениталии, не помещавшиеся в штаны. Перевязать их бинтами он почему-то отказался — умом тронулся, ясно как день. Дьюк, когда вывалился из леса на склон, тоже выглядел не лучше — такой же безумный взгляд. Мы с Сагамором стояли тогда в чащобе над подстреленной оленихой и видели, как он вышел, шатаясь и спотыкаясь, на опушку. Он так нелепо смотрелся в лесу в этой своей дорогой богатой одежде, что мы расхохотались, словно увидели у него хвост.

Но мы, как незадачливый охотник, попались в собственную западню. Кто живет в девственных местах, не знающих перемен, тот этих перемен и не ждет. Эта земля, это озеро давно уже отбились от попыток покорить их, вот мы и думали, что так будет всегда. Задолго до нас сюда приходили ирокезы, союз шести великих племен Гудзона. Они разбивали у озера летний лагерь, сажали бобы, тыкву, маис в пойме реки. Они были там, когда я еще подростком случайно набрел на это озеро, и от представшей моему взору красоты у меня захолонуло сердце. Я понял, что это моя земля, она сразу запала мне в душу, стала частью меня. Я потом много раз приходил к этому озеру, даже после того как мохоки держали совет у скалы Старейшин и приняли решение встать на сторону французов. Плохая вышла сделка — они потеряли все, когда победили англичане.

После англо-французской войны я построил себе хижину на высоком берегу озера, и в те времена я был там один. Потом на моих глазах Моисей Могиканин разбил на южном мысу свою маленькую примитивную академию. Но зима в тот год выдалась суровая и запасов у него было недостаточно. Когда лед тронулся, в живых не было никого — одни ученики умерли сами, других сожрали звери. Моисея я больше не видел — его, наверное, тоже сожрали.

Потом появилась любовная парочка. Женщина весьма была хороша собой. Вели себя как звери в период течки. Я смеялся, когда наблюдал за ними, — ведь они не думали, что в такой глуши найдутся посторонние глаза. Думали, что совершенно одни. Все не могли налюбоваться друг на друга, ничего не замечали вокруг себя, даже дыма от моего костра на холме. Бегали голышом, пока однажды не прилетел с севера какой-то ужасный ветер. Тогда побежали они собирать хворост, все также голышом, как дети, и сбились с пути. Замерзли насмерть, застыв в объятиях друг друга в сорока шагах от своей хижины. Весной я похоронил их, как и были обнявшихся, на берегу реки.

Из своей хижины я наблюдал, как пришел еще один — злобный немец, лютеранский священник по имени Хартвик. Основал там свободную общину — пища из одних только овощей и холодные купанья. Пальцы на меня скрещивал словно повстречался с самим дьяволом — а все из-за мяса, которое я развесил у себя в коптильне. Его последователи уходили от него один за одним, а я наблюдал. Когда никого из них не осталось, он пошел к озеру и в оголтелой ярости визгливым своим голосом проповедовал там рыбам. Пялился в воду, что-то увидел там, от неожиданности упал и утонул. Я погреб искать его, но тело исчезло. Думаю, его забрал живущий в озере огромный зверь, которого индейцы на своем языке называют Древним Духом Печали.

После него, во время революции, пришли солдаты — отряд из ста человек под предводительством генерала Клинтона; загнал их туда холод и натиск индейцев. Повстанцев. Решили построить плотину на реке, чтобы по ней весной уплыть в Пенсильванию. У меня тогда жил Сагамор. Он поссорился с сыном Ункасом из-за того, что тот женился на дочери полковника Манро-Коре. Хоть и храбро она сражалась, хоть и убила множество гуронов и даже самого Магуа, но она не была делаваркой, не была такой скво, какую Сагамор хотел бы видеть своей дочерью. Для него она была просто бледнолицей, а значит, с гнильцой. Поэтому Сагамор, старый дурак, проклял сына.

Мы с Сагамором жили в своей хижине, в этой барсучьей норе, и только наблюдали за солдатами — слишком старые стали для битв. А ведь были времена, когда после меня на каждой миле лежали мертвые гуроны. Но сейчас я только наблюдал из хижины за английскими солдатами. Они подстрелили моего оленя и распугали в округе всю дичь. Пьяные вдрызг, они, ругаясь, творили немыслимые вещи друг с дружкой перед полыхающим костром. Вода в озере поднялась и плескалась у самой моей двери. Когда они сломали плотину, вода хлынула так, что снесла все

индейские деревни вокруг. Все живое уносило ноги — собаки, женщины с младенцами на плечах. Даже костры, не успев потухнуть, так и горели прямо под водой, по которой неслись лодки с солдатами.

А кончилось все приходом Дьюка Темпла, человека, объявившего себя хозяином этой земли. Он нарезал землю на участки, словно пирог на куски, и раздавал колонистам. Щупал всех девушек подряд, без разбора. Женатый человек, а все норовил заграбастать чужое. И эти его поселенцы были не лучше. Алчные, жадные до денег, они за пару пенсов могли бы сожрать родную мать. Впрочем, утверждение сие недалеко от истины, ибо в ту суровую, жестокую, долгую зиму люди мерли с голоду повсюду. В отдаленных уголках округа находили потом скелеты в постелях и кости младенцев в котелках. После той зимы стало легче, и впоследствии они пожрали только лес, всю рыбу в озере и всю живность в лесу.

Единственной доброй вещью, которую принес с собой в эти места Дьюк, был его сынок Ричард и его хрупкая жена Элизабет, неизменно присылавшая в нашу хижину бочонок виски на каждое Рождество. Однажды, встретив меня на улице, она пожала мне руку. Такая тоненькая и нежная была ее рука — тронула меня прямо до самого сердца.

Каково же было мое удивление, когда, выйдя в то голубиное утро из хижины, чтобы нарезать еще мяса на похлебку, я наткнулся на самого Дьюка. Поначалу я подумал, что еще не проснулся и все это мне снится. По правде сказать, он частенько являлся ко мне во сне. Однажды, например, я потрошил во сне пойманного карпа, его выпученный мертвый глаз смотрел на меня, и я вдруг понял, что потрошу Дьюка. В другой раз я боролся с рысью, она рычала и грызла меня и вдруг превратилась в Дьюка. А то мне снилось, что я был с женщиной, и она вдруг обратилась в прах прямо в моих руках, и я понял, что это жена Дьюка Элизабет, и тут он сам вышел из тени с моим верным длинноствольным ружьем. В то утро я думал, что это тоже сон, пока он не повернулся ко мне и я не увидел дорожную грязь на его лице.

Он разглядывал оленя, которого я убил накануне, и, завидев меня, побагровел, напыжился и взревел:

— И что мне думать о тебе, после того как ты убил моего оленя?!

— А разве я убил твоего оленя, Дьюк? — прикинулся я простачком.

Он считал меня тупым мужланом, простым сквотгером, которому позволено жить на его земле; иногда это было мне на руку.

— И ведь это какая для меня честь, Дьюк, что ко мне пожаловал такой прославленный человек, — сказал я. — Обычно ты посылаешь ко мне своего лизоблюдишку адвоката Кента Пека или Ричарда, когда хочешь

напомнить, что я будто бы охочусь в твоих владениях.

Обычно так оно и бывало. Правда, Пека я погнал, пальнув ему вслед из своего старого доброго дробовика. А Дьюков старший сынок Ричард хороший был малый, поэтому я угостил его вареной олениной, и он вежливо передал мне слова отца и заплатил необходимую сумму из своего кармана.

Но у Дьюка такого великодушия и в помине не было.

— Моя земля — мой олень, — сказал он.

— Земля ничья, хочу — стреляю. Так что олень мой, — сказал я.

Но тут вышел из хижины Сагамор. Лицо удивленное, озадаченное.

— Ты слышишь? — спросил он на языке делаваров.

Я стал прислушиваться и ответил, что нет, не слышу.

А с Дьюка между тем уже слетела спесь, и он уважительно закивал моему другу.

Здравствуй, вождь Чингачгук, — сказал он, назвав Сагамора прозвищем, которое дали ему бледнолицые. И как ни велика была моя ненависть к этому человеку, в тот момент я проникся к нему чем-то вроде благодарности за то, что он так почтительно приветствовал моего друга.

Но Сагамор, словно не замечая его, обратил ко мне свое лицо, потеплевшее почти до нежной улыбки.

— Голуби, — сказал он и рассмеялся.

Потом я и сам услышал — отдаленный шум множества хлопающих крыльев. Я увидел черную тучу над дальним холмом, и мы с Сагамором пустились бежать вниз по склону в город. Раз в десяток лет залетали они сюда, эти перелетные голуби, десятки тысяч птиц — как Божье благословение. И тогда мы словно сбрасывали с плеч тяжкий груз прожитых лет, мы снова чувствовали себя молодыми охотниками, подкрадывающимися к нашим врагам гуронам, только, конечно, не брали с собой оружия, ибо рука не поднялась бы стрелять в этих прекрасных птиц. Дьюк что-то орал нам вслед, а потом, похоже, понял и тоже побежал, да неся с горы так, что чуть не сшиб нас на мосту через Саскуиханну.

А потом голуби обрушились на город. Лазурное небо заслонила туча из оранжевых с черным перьев. Женщины выбегали из домов, прикрывая руками чепчики. Мальчишки и мужчины бежали к полям, лица их сияли радостью. Они ликовали, сбивая птиц. Они швыряли в небо все, что попадалось под руку, — палки, камни, ботинки, метлы, масляные сбивалки, игрушечных солдатиков, колья из плетней, скалки. Мужчины стреляли, сбивая разом по три птицы. Какой-то чудной мальчишка, кривой на один глаз, взмахнул косой и срезал на лету сразу шесть голубей. На

одежде и лицах этих людей была кровь и жажда истребления. Почтенная Притибонс, Дьюкова экономка, металась, как старая летучая мышь, ловила птиц голыми руками, сворачивала им шеи и набивала в мешки из-под муки. Они даже выволокли старую Клинтонову пушку, «сверчка», и как та пальнула, то погибла сразу тысяча голубей.

Когда птицы огромной черной тучей улетели за горы, земля была по колено завалена сбитыми голубями, некоторые еще стонали. Колонисты, пресытившись бойней, оставляли их умирать в муках.

Я наблюдал за всем этим, и мне было тошно. Я словно врос в землю и не мог сдвинуться с места. Ведь эти голуби прилетали сюда всего раз в несколько лет, нисходили с небес на эту землю как благословенное знамение. И в первый раз за все времена их встретили здесь бойней. Я раздавил окровавленную голову раненой птицы, чтобы прекратить ее мучения, и в душе моей черной волной поднялся гнев. Я был свидетелем истребления, никчемного безжалостного истребления.

И устроено оно было с разрешения Дьюка. Во время этой бойни он смеялся, хохотал. Это он предложил выволочь пушку. Он притащил с собой своего младшего сына, сморщенного четырехлетнего старичка Джейкоба. Мальчонка, весь перемазанный в крови, ликующе тарасил глазенки и лыбился.

Грудь мою сковала боль, а мой старый друг Сагамор, опустившись на колени, задыхался от горя. Когда Дьюк увидел Сагамора на коленях, веселье сошло с его лица. Он опустил на землю своего Джейкоба и велел ему бежать к Почтенной, потом направился к нам. Я выступил на шаг вперед, косясь на томагавк моего друга. Но несмотря на мою ненависть к Дьюку Темплу, несмотря на желание убить его прямо там, я не сделал этого — я вспомнил его милую, трогательную, слабенькую жену Элизабет, и рука моя, потянувшаяся было к ружью, опустилась.

Он подошел к нам и склонил голову.

— Вождь Чингачгук... — начал он, но его остановил взгляд Сагамора.

— Ты можешь оставить себе того подстреленного оленя, Дэйви, — сказал Дьюк, но лицо моего друга было суровее камня и Дьюк прибавил: — Могу ли я предложить вам денег в качестве компен...

Я поспешил остановить его жестом.

— Мы уходим, — сказал я. — Сегодня. — Это я решил в тот момент. Мы уходим в западные леса к сыну Сагамора Ункасу.

Сагамор посмотрел на меня, и хоть и не любил английского, но понял, что я сказал. Мне показалось, он кивнул с облегчением. Тогда я еще не знал того, что мне предстояло узнать позже, — про Ункаса и Кору и про их

красавицу дочку Безымянку. И когда я повернулся к Дьюку, еще не зная, что мы вернемся, я сказал то, чего, возможно, не следовало говорить.

Глядя в глаза Дьюку Темплу, я проклял его.

— Да будешь проклят ты, твой город, твоя семья и твои потомки на семь поколений за все твои грехи? — сказал я.

Сагамор поднялся, и мы пошли прочь. Я хорошо помнил те нескончаемо долгие воскресные дни моего детства, когда мой отец бесновато вещал с церковной кафедры и мой копчик не переставал болеть от сидения на жесткой скамье, а потому и хорошо знал, что нет в этом «добром» мире ни одной вещи, способной заставить меня оглянуться назад.

Глава 15

ГЕРОИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВИВЬЕН

Я успела проспать только часа четыре, когда меня разбудил проезжавший по Озерной улице туристский автобус. Голос гида ворвался в мои сны: «...слева вы видите Эверелл-Коттедж, где во времена Мармадьюка Темпла располагалась дубильня...» Еще с закрытыми глазами я потянулась к телефону, чтобы набрать номер Клариссы, и от первого же движения мозг у меня в голове задрогался словно брошенная заживо в котел зверушка. Моя подруга схватила трубку с первого же гудка, и голос у нее был уже заранее сердитый.

Я только успела произнести ее имя, и это подействовало как стартовый выстрел — Кларисса напустилась на меня со всем присущим ей темпераментом:

— Вилли, я убью тебя! Просто убью, если ты еще хотя бы раз вздумаешь действовать у меня за спиной, принимать за меня какие-то там решения, не посоветовавшись сначала со мной! Господи, я проснулась сегодня утром, и Салли мне выкладывает: «Не волнуйся, Вилли скоро приедет, мы с ней разговаривали сегодня ночью, и она обещала». Да я чуть не угрохала его на месте!

В трубке я услышала шум хлопнувшей двери и представила себе бедного Салли, с красным от злости лицом выскочившего из квартиры. А Кларисса продолжала:

— Неужели ты думаешь, я не попросила бы тебя приехать, если б хотела? Как ты до сих пор не поняла, что мне не надо, чтобы со мной нянчился тот, кому сейчас хуже меня? И с чего ты вообще взяла, что мне нужен какой-то там вонючий покой?! И кто дал тебе право решать за меня? Кто дал тебе это вонючее право?!

Трудно, очень трудно было мне сохранять спокойствие во время этой ее яростной рулады, но когда представила себе Клариссу, маленькую, худенькую, бледную, со сморщенным от злости личиком, я, стиснув зубы, только и могла сказать:

— Может, я имею такое право, потому что являюсь твоей лучшей подругой? А может, потому, что хотела утешить Салли, который находится на грани срыва? А может, просто потому, что я нужна тебе?.

— Ты не нужна мне! У меня все отлично!

— Все ясно. Гомеопатия, — сказала я. — Я завтра же приеду, и ты меня не остановишь. — Я свесила ноги с постели и вдруг почувствовала такую слабость, что улеглась снова.

А Кларисса чуть ли не прошипела мне в трубку:

— Вильгельмина Аптон! Я тебя очень люблю. Ты моя лучшая подруга, но если ты не послушаешься и соберешься ехать сюда в твоём нынешнем состоянии, то я вынуждена буду рассказать Ви кое-что такое, чего ты, возможно, не хочешь, чтобы она знала. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду, дорогая моя мисс «Аудиодидакт»?

От этих её слов меня ещё больше замутило, голова вконец разболелась, и язык пересох.

— Ты не посмеешь, — сказала я.

— Ещё как посмею, — мрачно отозвалась Кларисса.

— Нет, не посмеешь, — повторила я, хотя была уверена в обратном.

Речь шла о единственной подробности, о которой я никогда не рассказывала Ви и о чём знала только Кларисса, — о том, как в колледже, переняв у Клариссы её расточительность и по уши увязнув в долгах, я затеяла маленький теневой бизнес под названием «Аудиодидакт», заключающийся в написании академических работ. Выглядело это следующим образом. Любой богатый бездельник мог дать мне аудиокассету, на которую он бездумно наболтал первое, что пришло ему в голову, по теме его курсовой или дипломной работы, и я давала толкование этим бредням, вникала в суть вопроса, проводила необходимые исследования и, в сущности, писала за этих людей их работы. Только один раз, когда писала для какой-то хоккейной звезды, я получила тройку и мне пришлось вернуть деньги. Я прославилась на всю округу, о моём бизнесе раструбили по пяти колледжам, и народ искренне считал его законным. Только Ви моей затее не оценила бы. Это было бы самым горьким разочарованием её жизни. «Я не могу обеспечить тебя деньгами, Солнышко, — всегда говорила она, — но ты можешь получить от меня мозги и нравственные устои». И то и другое не очень-то вязалось с моим бизнесом, и я точно знала: она мне этого не простит, а узнав, всю жизнь потом будет смотреть на меня совсем другими глазами. Я боялась разбить и её, и своё сердце.

— Кларисса! Это что, гнусный шантаж?

— Ага. Да ладно. Конечно, я этого не сделаю. Только пусть о тебе заботится Ви, а обо мне Салли. Все. Я перезвоню тебе позже, а то у меня рожа намылена. — И она брякнула трубку.

Чувствовала я себя отвратительно, и было обидно, что я не могу поехать к Клариссе. С другой стороны, ко мне пришло какое-то облегчение. Я снова уснула и, проснувшись в четыре часа дня, поняла, что у Ви не иначе как выходной — поняла это по шуму пылесоса и по тому, как труба его тыкалась из коридора в мою дверь. Очень раздражали птицы за окном. Когда Ви выключила пылесос, чтобы переместиться с ним куда-то, я услышала, как она хихикает себе под нос.

— Что смешного? Думаешь, ты очень умная? — крикнула я.

Дверь открылась, и в комнату просунулась голова моей матери.

— Конечно, — ответила она и вдруг, увидев ворох подушек и меня, несчастную, больную и жалкую, на постели, воскликнула: — Господи! На кого ты похожа? Жуть!

— Спасибо, — сказала я.

Ви подошла к моей постели и села рядом.

— Тебе нехорошо? — Она тут же унюхала запах перегара и помрачнела. — Ой, Вилли!.. Ты что, пила? С какой стати? Ты же знаешь, тебе нельзя.

— Из-за Комочка?

— Ну да.

— Ну допустим, знаю. Вернее, не знаю. — Я соображала, сказать ей или не сказать, что это, по-моему, бесполезно, что я не готова быть матерью, что мне, наверное, надо забыть о Комочке и кое о чем позаботиться. Далее взгляд мой упал на крест у нее на груди, и какой-то чертик внутри подстегнул меня ехидно поинтересоваться: — Кстати, как прошла ночь, Ви? Все удалось?

Мать изогнула бровь и поджала губки.

— Великолепно, — сухо сказала она. — Уж точно не как тебе.

Я вспомнила Фельчера и поморщилась.

Потом я вспомнила про Клариссу, про полупьяный разговор с Салли...

— Ви, мне надо с тобой поговорить, — объявила я. — Я звонила Клариссе.

Лицо матери как-то сразу посветлело и помолодело, мешки под глазами разгладились, и она сейчас выглядела на свои сорок шесть.

— Ну как там она, моя маленькая Кларисса? — В ее голосе звучала нежность.

Я раздумывала над ответом, раздраженно прислушиваясь к голосам на улице. Они мешали мне сосредоточиться, целая толпа туристов — по меньшей мере четверо мужчин явно спорили, по меньшей мере один ребенок плакал, а две женщины что-то выговаривали друг другу. Меня это

не удивляло — в августе здесь не бывает счастливых туристов, в августе сюда приезжают все остальные: сердитые, расстроенные, обиженные, занудливые — одним словом, какие угодно, только не счастливые. Еще в августе всегда приезжают бостонские фанаты. Я подождала, когда эта толпа пройдет, и сказала:

— Она прекратила лечение антителами, Ви. Ну помнишь, я тебе говорила?

Мать изменилась в лице.

— Как это? Почему?

Я села на постели.

— Кларисса увлеклась гомеопатией, и у нее сейчас большие проблемы.

Мать нахмурилась, размышляя о чем-то, затем сказала:

— И о чем она только думает?!

— Не знаю. По-моему, ни о чем. Салли просил меня поскорее вернуться в Сан-Франциско и помочь ему ухаживать за ней. По-моему, он дошел до ручки и на грани срыва. Я что-то побаиваюсь за него.

— Ну и чего же ты ждешь? Надо ехать. — Она потянула с меня одеяло.

— Знаю, что надо, но не все так просто. Сегодня утром я звонила Клариссе — она не хочет, чтобы я приезжала. Разозлилась даже. Сказала, что я буду мешать ей, велела оставаться дома, потому что я, видите ли, сама нуждаюсь в заботе. В твоей заботе. Сказала, что я не помощницей ей буду, а обузой.

Мать теперь снова выглядела постаревшей — лицо обрюзгшее, в каких-то рытвинах.

— Ой, Солнышко, что же делать? Я считаю, ты должна быть с ней, хотя она, конечно, права. Прямо сейчас тебе ехать не надо, ты же сама нездорова. К тому же если ты уедешь, так и не узнав, кто твой отец, и зная только, что он здешний, то у тебя в голове сложится пунктик насчет Темплтона — на каждого знакомого мужчину из здешних ты будешь думать, что он твой отец. Начнешь ненавидеть родной город, и тебя сюда потом вообще на аркане не затащишь. А нам ведь такого не надо, правда же?

— Ну да. Я и так-то вряд ли бы вернулась.

Мать скинула тапочки и взобралась на постель с ногами. Взяв меня за руку, она сказала:

— Я бы такого не пережила. Это же твой родной город, Вилли. Наша семья так связана с его историей, что ты просто не можешь не возвращаться сюда. Ты же из рода Темплов. И знаешь, что я всегда хотела, чтобы ты осталась здесь жить. В этом городе обязательно должен жить

кто-нибудь из Темплов. Тебе нельзя ненавидеть Темплтон. Так что же нам делать? Как поступить?

Так мы сидели, взявшись за руки. Рука у матери была сильная и теплая, я даже чувствовала ее пульс.

— Ну ты, например, могла бы сказать мне, кто мой отец, и тогда я могла бы вернуться в Сан-Франциско и уж там разобраться со всеми проблемами. Выломала бы Клариссину дверь, если понадобится. Устроила бы у нее в холле засаду. Это если бы ты сказала мне, кто мой отец.

— Я могла бы сказать. А ты хочешь?

— Нет, — неожиданно для себя ответила я.

Мать, похоже, ожидала такого ответа. Даже не глядя, я почувствовала, как она кивнула.

— Вот видишь? Нет. Просто ты не хочешь, чтобы тебе подсунули готовенькое. Хочешь разобраться во всем сама. Иначе всю жизнь тебя будут мучить сомнения. Недоверие.

— Да, — согласилась я. — К тому же это мешает мне сосредоточиться на... других проблемах.

— Ладно. Я поговорю с Клариссой, попробую переубедить ее хотя бы в одном, — сказала Ви. — Ну а ты? Куда ты добралась в своих поисках?

Я откинулась спиной на подушки.

— Сейчас изучаю линию Хетти. Некто по имени Синнамон Эверелл Стоукс Старквезер Стерджис Грейвз Пек.

Мать присвистнула.

— Ну-у, это знаменитая личность!

— Это точно. Пять мужей, и всех похоронила. И я еще копаюсь в законных связях Шарлотты Франклин Темпл. Это дочь Джейкоба Франклина Темпла. Тоже писала романы, как я выяснила. *Nom de plume*, то есть литературный псевдоним — Сайлас Меррил. Но тут я зашла в тупик. Никакой информации об этих загадочных дамах Викторианской эпохи.

— Шарлотта и Синнамон... что-то очень знакомое, — отозвалась мать.

— Ви, ты только сейчас не вдавайся в воспоминания, а то припомнишь кого-нибудь не того. Не волнуйся, я сама во всем разберусь.

Но мать задумчиво смотрела на меня, быстро-быстро моргая.

— Ой, подожди!

Она спрыгнула с постели и побежала куда-то вниз. Я слышала, как скрипели лестницы в викторианском крыле дома. Я слышала, как она зашла в комнатку, где хранила свои книги и бумаги, и как на обратном пути смеялась.

Когда она вернулась, лицо ее разрозовелось и как-то сразу похорошело.

Она размахивала крафтовым конвертом, таким ветхим, что с него сыпалась труха.

— Вот, вот!.. — кричала она. — Я не такая уж и дура! — Она положила конверт мне на колени и выжидательно уставилась на меня. — Это мой отец оставил перед смертью. Я никогда туда не заглядывала.

Я взяла конверт в руки и прочла написанную витиеватым почерком моего деда надпись: «14 сентября 1966 года. Переписка Синнамон Эверелл Пек и Шарлотты Франклин Темпл. Без необходимости не вскрывать. Содержимое может ранить». Из этих строк прямо слышался голос моего деда, напыщенный и вместе с тем суровый. Я почувствовала прилив нежности к этому бедному маленькому человечку, который всю жизнь душил в себе неразвившиеся страсти.

Потом до меня дошло, что содержимое конверта никогда не было никем прочитано и что он был искушением для моей матери с тех пор, как умерли ее родители, то есть уже почти тридцать лет.

— Ви, неужели ты никогда не вскрывала его? Это при всей твоей любви к семейным тайнам? Неужели никогда?

Она нахмурилась:

— Нет. Я слишком хорошо знала своего отца, Солнышко, поэтому никогда бы этого не сделала. Кроме того, я знаю, кто такая была Пандора.

— Хм... А вот библейский миф гласит, что зло выпустила на свет Ева.

Она игриво чмокнула меня в щечку.

— Во-первых, это зависит от того, что ты называешь мифом. А во-вторых, я считаю, нам не хватает строптивых женщин, а потому перехожу к следующему вопросу.

— То есть?

— К Клариссе.

— О Господи!

— Не упоминай имя Господа всуе. И не волнуйся, я уже звоню ей.

Я наблюдала за ней, когда она взяла трубку и стала набирать номер. Даже не здороваясь, она проговорила в автоответчик:

— У меня есть что сказать тебе, дорогая, так что слушай. Одна маленькая птичка насвистела мне, что ты у нас, оказывается, сдурела и забросила нормальную западную медицину. Мне вообще-то хочется еще видеть тебя на этом свете, поэтому давай-ка заканчивай с этими глупостями.

Она слушала что-то в трубке, затем сказала:

— Только не надо изображать передо мной крутую девчонку. Крутой девчонкой изначально была я, а это все жалкие потуги. Теперь слушай.

И моя мать принялась обрабатывать Клариссу, выслушивая ее аргументы и начисто опровергая их. Я наблюдала, как прокравшееся в комнату солнышко ползло по ней — сначала по ногам, потом по туловищу, потом озолотило лицо. Я слушала весь разговор, пока не поняла, что мать наконец убедила Клариссу. Когда Ви повернулась и показала мне два пальца галочкой, я поняла: Кларисса согласилась, чтобы я приехала через две недели, если ей не станет лучше. С конвертом в руках я выбежала в коридор и стояла там в темноте, упиваясь нахлынувшим облегчением. В моем распоряжении теперь было время.

Мне вдруг вспомнилось лицо Ви, каким оно было в тот день, когда мой двенадцатилетний сверстник Филипп Цара обозвал меня ублюдиной. Это было в физкультурном зале. Мы с Филиппом ходили кругами — такой вот детский флирт, — потом я, зайдясь в возбуждении, развала его умственно отсталым, а он меня — ублюдиной. Вот тут-то во мне все вскипело. Я была крупнее всех мальчишек в классе, поэтому легко уложила его на глазах у притихших одноклассников. Я раскрошила ему зуб и порезалась — даже не могла сказать, чьей кровью перемазалась.

Когда моя мать пришла в кабинет учителя физкультуры, мамаша Филиппа распиналась там уже целый час, угрожая подать в суд, а Филипп тихонько плакал в уголке на стуле напротив меня. Мне хотелось еще раз треснуть его — за то, что он такой плакса, за то, что его мамаша с такой ненавистью смотрит на меня. Физрушник, круглолицый и обычно добродушный мужичок, к тому времени уже наслушался воплей миссис Цара и, когда в кабинет вошла моя мать, выплеснул на нее все разом — сказал, что отныне мне запрещено появляться в физкультурном зале и что такому невоспитанному ребенку, как я, вообще нельзя находиться среди людей. Мать обвела оценивающим взглядом всю картину — мою окровавленную руку (которую никто не удосужился перевязать), кусок льда, приложенный ко рту Филиппа, разъяренную миссис Цара и выпученные глаза физкультурника. И тут Ви на моих глазах стала как будто увеличиваться в размерах, пока не стала больше всех нас, вместе взятых.

Она заговорила так невозмутимо и так тихо, что мы все вытянулись по струнке, прислушиваясь к каждому слову.

— Чушь, — сказала она. — Вилли умнейший человек. Если она ударила этого мальчика — значит, у нее на то была причина. Так ведь, мальчик? — проговорила она, обращаясь к Филиппу.

И зареванный Филипп, судорожно переведя дыхание, сказал:

— Я только назвал ее ублюдиной...

На самом деле маленький дурачок Филипп просто выразил мнение взрослых по поводу меня — ведь то же самое шипел мне в спину весь город. Его мамаша понуро опустила плечи и простонала:

— Ой, Филипп!..

А учитель физкультуры, покачив головой, бросился извиняться перед моей матерью.

— Могу я теперь забрать дочь домой и выяснить, не сломана ли у нее рука? — холодно поинтересовалась моя мать.

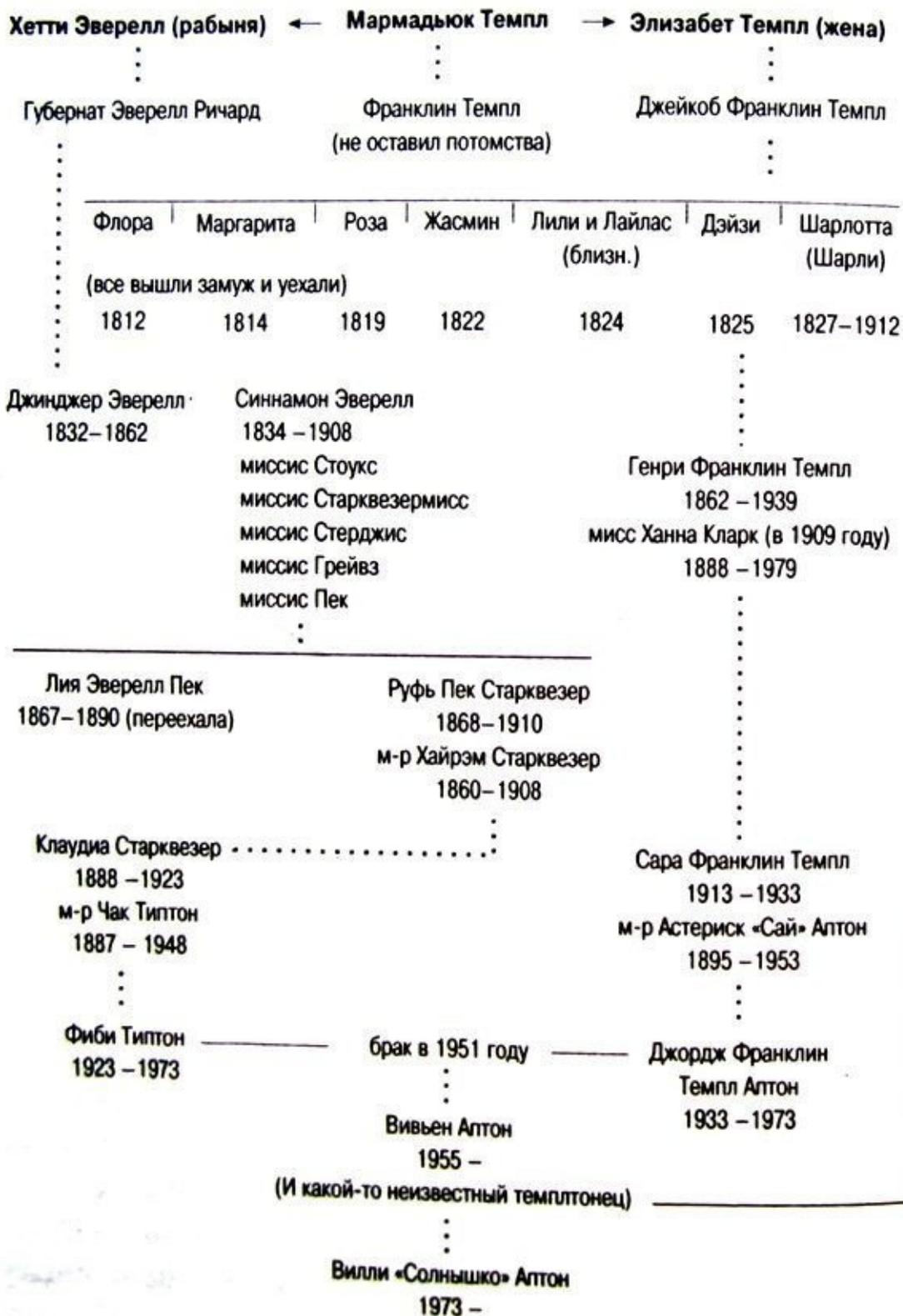
— Конечно, конечно!.. — залепетал учитель, а миссис Цара вытолкала Филиппа из кабинета.

Учитель еще долго извинялся и уверял мать, что мне вовсе не запрещено посещать физкультурный зал.

На обратном пути в машине я с любопытством смотрела на мать. Сколько раз мне приходилось утешать ее, когда ее обижали в городе, и ее тонкая ранимая натура была уязвлена. А эта сильная крупная женщина, сидевшая сейчас за рулем нашей машины, казалась мне чужой и незнакомой. Только много лет спустя я поняла, что Ви не могла защитить от оскорблений себя, но, когда дело касалось других, превращалась в львицу. Эта ее мощь и нежность были незаменимы в работе, когда она облегчала последние мгновения умирающих в муках людей.

Стоя в темном холле, я вскрыла старый конверт и вытряхнула из него стопки писем, перевязанных пыльными ленточками. Я держала их в руке, и мне казалось, что доброта Ви не знает границ.

***ВОТ КАК ВЫГЛЯДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИЛЛИ АПТОН
О ЕЕ РОДОСЛОВНОЙ ПОСЛЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНОГО
ПЕРЕСМОТРА ТАКОВОЙ И СОКРАЩЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ
С ЦЕЛЬЮ УПРОЩЕНИЯ***



Глава 16

СИННАМОН И ШАРЛОТТА

Часть I

Обращаюсь к тому, кто прочтет собрание этих писем. Эти материалы ни в коем случае не должны попасть в поле зрения общественности, дабы не опорочить две знаменитые темплтонские фамилии. Эти письма были обнаружены мной по отдельности в двадцатилетний промежуток времени. Письма Синнамона к Шарлотте я нашел в сундучке на чердаке Франклин-Хауса, когда был мальчиком, двадцатью годами позже я нашел пачку писем Шарлотты к Синнамону в старом платяном шкафу темплтонских предков моей жены Эвереллов. Каково же было мое потрясение, когда я обнаружил, что послания эти составляют части одной переписки. Разумеется, здесь собраны не все письма — большую их часть, не представлявшую интереса и состоявшую из обычных женских пустяков, я передал Нью-Йоркскому историческому обществу. Составляющие это собрание письма отобраны мной из множества. Они являются неопровержимым доказательством того, над чем я работал всю жизнь, однако я предпочел, не предавать их на суд общественности. Долгие годы я пытался заставить себя уничтожить их, но у меня так и не поднялась рука уничтожить саму историю. Я очень боюсь, что они попадут в неверные руки, но еще больше, что они будут уничтожены. Поэтому, какое бы отношение вы ни имели к нашей семье, прошу: распорядившись этими тайнами, проявите благородство.

Джордж Темпл Антон, 1966 год.

С конторки Шарлотты Темпл, Франклин-Хаус, Блэк-берд-Бэй, Темплтон. 13 ноября 1861 года

Мой дражайший друг!

Как болит мое сердце за Вас в это трудное для Вас время! Как невыносимо больно было для меня видеть сегодня всю глубину Вашей скорби, когда Вы стояли там в своем траурном, платье и Ваше

прекрасное маленькое личико было преисполнено мужества, когда на Ваших глазах могильщики опускали в землю Вашего четвертого мужа. И я, не будучи в силах представить, что могла бы даже иметь, не то что потерять мужа, я, видя Ваше горе, вынуждена была уйти, чтобы не слышать шепота этих ужасных сплетников. Я проплакала в экипаже весь обратный путь до Франклин-Хаус и до сих пор плачу о Вас. Именно поэтому меня нет сегодня в числе приглашенных в Эверелл-Коттедж — для меня было бы невыносимо видеть, как Вы стараетесь крепиться перед фальшивыми соболезнованиями тех самых сплетников, что гадко шептались у Вас за спиной на похоронах Вашего мужа. Этим людям я задушила бы! Позор им! И позор мне — за то, что не смогла быть Вам настоящим другом, за то, что презрела свой долг и не оказалась рядом с Вами в трудную минуту. Сможете ли Вы простить меня? Я надеюсь. И молю также простить мне это поспешное необдуманное послание — мое сердце переполнено чувствами, и я не могу остановить мое перо, из-под которого рвутся на бумагу эмоции.

*Ваш любящий друг
Шарлотта Темпл.*

Эверелл-Коттедж, Темплтон. 20 ноября 1861 года

Моя дорогая Шарлотта!

Надеюсь, Вы забудете эту неделю, что прошла с тех пор, как я получила от Вас письменные соболезнования, — мне столько всего нужно было сделать! А мне хотелось писать и писать Вам, мой дорогой друг, с тем чтобы всечасно думать о Вас.

Помимо скорби по моему бедному Годфри, меня также одолевает ужасная тоска. Целый год и один день я должна быть в черном трауре — так постановила семья Грейвз, и это является условием получения мной моей доли наследства. После года черного траура мы сговорились на шести месяцах полного траура и потом на шести месяцах полутраура. Но удручает меня, конечно, черный траур — целый год в шерсти, крепе и драгоценностях из одного только черного янтаря; целый год без музыки, балов и обедов, без миленьких кружев и лент; целый год не видеть в доме никого, не видеть Вашего милого лица, моя дорогая Шарлотта, — мне кажется, это даже хуже, чем смерть Годфри!

Ах, я вовсе не хотела такое сказать! Просто хотела произвести на Вас сильное впечатление. Мне нравится производить на Вас сильное впечатление, нравится видеть, как лицо Ваше бледнеет и Вы сурово

смотрите на меня и вздыхаете: «Ох, Синнамон!» — словно я совсем уж безнадежна. Я вот рассмеялась сейчас, подумав об этом, и это, похоже, тоже недопустимо, потому что моя канадская француженка горничная Мари-Клод хмурится на меня из-под насупленных бровей. Увы, но ее некрасивое лицо, видимо, будет единственным, что я буду видеть до следующего ноября. Благо по крайней мере, что у меня есть Вы, кому я могу писать.

Как Вы думаете, чем мне дозволено заниматься, пока я буду погребена здесь заживо? Мне можно рисовать, но в доме ограниченное количество окон, и, боюсь, еще до января я израсходую все виды из них. Мне можно читать «Фриманз джорнал», но все эти разговоры о пенковых трубках и вставных резиновых зубах приводят меня в бешенство. Мне, наверное, можно вязать носки и повязки для наших солдат, гибнущих на Юге. Еще что? Не знаю. Наверное, мне пора найти Вам мужа, дорогая Шарлотта. Как Вы думаете?

Вы с Вашим преданным сердцем, несомненно, ужаснетесь такой ветрености, но я ничего не могу с собой поделать — такова уж моя натура, и я не знаю, почему я такая. Возможно, так сказалось на мне потрясение от потери мистера Грейвза. Мне страшно, я боюсь сойти сума здесь, в этом мрачном доме. Вам следует переехать в Темпл-Мэнор на Второй улице — мне будет утешительно такое близкое соседство с Вами.

Вы не представляете, как тоскует мое сердце по веселой жизни — я только что видела в окно какую-то веселую компанию, проходившую мимо. Хорошенькие девушки куда-то отправились, семеня по мостовой, игриво поглядывая на солдат, и под сводами моего старого дома эхом пронесли их радостные голоса. Они напомнили мне нас, Шарлотта, когда мы были также молоды. Я вспоминаю, как хороши, свежи и искрометны Вы были на том приеме перед самой кончиной Годфри, когда он почувствовал себя нехорошо. Вспоминаю тот веселый вечер у Лидии Кларк со сладенькими «птифурами» и музицированием на клавикордах и того новенького некрасивого старого учителя-француза Лё Куа в Академии доктора Споттера. Он был так похож на грифа с этой своей лысой головой и глазками-бусинками, правда же? Пахло от него гадкой старческой плотью, и я думаю, он, конечно, лгун и мошенник. Он сказал, что приехал из Нанта, откуда родом моя хорошая школьная подруга Генриетта Безье. Я уже написала ей, чтобы выяснить, правду ли он говорит. Подозреваю, что нет. Посмотрим и насладимся потом скандалом.

Пожалуйста, пишите мне, Шарлотта. Пишите многие и многие страницы. Пишите обо всем, что знаете. Об этом ужасном поджигателе, который поджигает все богатые дома в Темплтоне. Пишите свои соображения по поводу того, кто он такой. Старый аптекарь Мадж с его страшным лицом? Или толстуха Лэйси Помрой со своей нездоровой улыбочкой и сожженными волосами (нет, только не спорьте, я сама видела это варево, которым она красит их)? Или умственно отсталый сынок Дирка Пека, этот безмозглый увалень, который бесстыдно щупает себя в присутствии дам (опять я, наверное, поразила Вас)?

Вы уж простите мне эти фривольности — у меня сейчас нелегкое время, и я по-другому не могу. И кто же, кроме Вас, сможет меня понять?

Ваша любящая

Синнамон Эверелл Стоукс Старквезер Стерджис Грейвз.

** * **

С конторки Шарлотты Темпл, Франклин-Хаус, Блэк-берд-Бэй, Темплтон. 23 ноября 1861 года

Дражайшая Синнамон!

Признаю, что провела эти последние несколько дней в раздумьях над тем, как мне ответить на Ваше письмо от двадцатого числа. Такая жестокость к памяти Вашего мужа совсем не в Вашей натуре. Впрочем, я наконец поняла, что только Ваше глубочайшее горе и ничто иное повергло Вас в это состояние. Я понимаю Вас, мой дорогой друг, но прошу не выказывать Ваших слабостей перед посторонними, ибо в этом городе слишком многие не желают Вам добра.

Вместе с этим письмом я посылаю, как Вы просили, отрез муслина и настойку от Аристабулуса Маджа. Он сказал, что одной капли в день Вам будет достаточно, чтобы успокаиваться. Странный и чудной он все-таки человек. Не хочется говорить дурно о калеке, но при одном только виде его меня бросает в дрожь. И потом, заметили ли Вы, что он совсем не стареет? Мой отец, благослови его душу, заметил это. Однажды мы работали в его кабинете, и он увидел в окно Маджа, рыбачившего на озере. Отец нахмурился и сказал мне: «Шарли, берегись этого человека. Никогда нельзя доверять тому, кто не имеет возраста». Я тогда посмеялась, а теперь вот согласна с отцом.

Почему я Вам это рассказываю? Может, потому, что только Вы

знаете, как ужасно не хватает мне отца все эти одиннадцать лет? Ни один мужчина так не согревал мое сердце, как отец. Мне судьбой предопределено умереть девственницей. Так что нет, Синнамон, не утруждайте себя поисками мужа для меня.

О поджигателе писать не могу, так как ничего об этом не знаю. Просто мы должны быть христианами и понимать, что кому-то видимо, пришлось совсем не сладко и он нуждается в помощи Господней. В Темпл-Мэнор я переехать не могу, потому что мне там не нравится — там холодно и привидения. К тому же мой отец любил Франклин-Хаус, и я считаю, что должна остаться в доме, который любил мой отец.

Весьма сожалею также, что не могу написать Вам много-много страниц, как Вы просите. Прямо сейчас я отправляюсь на уик-энд в Хайд-Холл, куда меня пригласил Джордж Хайде и где я надеюсь выкачать еще сколько-нибудь средств для Академии доктора Споттера. Думаю, что устраивают этот прием девицы Помрой и Соломон Фолкнер. Думаю, что там будет также и француз, о котором Вы говорите. Мне очень жаль, что Вы насмехаетесь над ним. Не так уж он и похож на грифа, к тому же говорят, он из благородной семьи, потерявшей все во времена Наполеона. Он единственный человек в городе, с кем я могу подолгу болтать на своем убогом французском.

Да, только теперь, пожалуйста, не вздыхайте от зависти к моему уик-энду. Я уверена, моя дорогая, там будет очень скучно, к тому же Вам известна моя ужасная застенчивость и нелюбовь к такого рода сборищам. Вот бы мне обладать хоть каплей Вашей живости и красоты! Но увы, то, что нам нравится в других, не подходит нам самим. Я просто буду представлять там, что на моем месте находитесь Вы.

Надеюсь, моя дорогая, это письмо застанет Вас в более спокойном и умиротворенном настроении.

Ваш преданный друг
Шарлотта Темпл.

* * *

Эверелл-Коттедж, Темплтон. 28 ноября 1861 года

Моя дорогая!

Я горю нетерпением узнать, как прошел Ваш уик-энд в Хайд-Холле! Сегодня уже среда, а Вы еще ничего не написали мне. Вы же знаете, как мне одиноко. Напишите — умоляю!

Ваш нежно любящий друг

Синнамон Эверелл Грейвз.

С конторки Шарлотты Темпл, Франклин-Хаус, Блэк-берд-Бэй, Темплтон. 2 декабря 1861 года

Дражайшая Синнамон!

Я не писала Вам, так как все это время размышляла над тем, что произошло в Хайд-Холле. В голове у меня сплошная карусель; я думала, что если дам себе время, то смогу навести порядок в мыслях, но в них творится такая же неразбериха, как когда я поспешно покидала Хайд-Холл в воскресенье утром.

Во-первых, я совершенно забыла, что Вы никогда не были в Хайд-Холле. Это очень красивое место — здание из камня, выстроенное на естественном возвышении на северном берегу озера, настоящий английский особняк. Весной и летом там пышно цветет ухоженный парк, правда, сейчас, зимой, вид он имеет весьма унылый. Все постройки просты по стилю и очень милы. Впрочем, место это оставляет почему-то странное впечатление — несмотря на новизну и свежесть, чувствуется там какая-то заброшенность.

Теперь о хозяевах — Сюзанне и Джордже Кларк. Она красавица, натура пылкая и довольно ветреная; он — уравновешен, суров и по уши влюблен в нее. Представьте, она имела смелость пригласить своего обедневшего «друга» Пэта Помроя, не пригласив при этом его сестер! Теперь представьте смятение, какое она тем самым поселила в наших душах, — это, я думаю, важно для понимания того, что произошло дальше. Чтобы уже закончить с женщинами, перечислю также Минни Финни и девиц Фут, БERTУ и Бетину, подружек Сюзанны. Из мужчин там были Нэт Помрой, Соломон Фолкнер, Питер Мэхи, вечно моргающий доктор Споттер с вечно холодными и липкими руками и его новый преподаватель, француз мсье Лё Куа.

В первый вечер ничего примечательного не произошло. Мы приехали, разместились, переоделись к ужину, поиграли в вист, послушали, как бедняжка Минни Финни сражалась с фортепьяно, и все пошло спать.

Проснувшись утром, мы позавтракали, и кто-то предложил совершить пешую прогулку по окрестностям. Все охотно согласилось и два часа с удовольствием провели на свежем воздухе. Сюзанна, как оказалось, очень любит прогулки, и, хотя кое-кто из дам порядком продрог, она призывала всех идти дальше. Прогулка и впрямь была прелестная. Ранний снежок таял на твердой мерзлой земле; ветви

деревьев шелестели, перешептываясь с ветром, и ноги наши шуршали по сухой листве. Где-то уже на пол-пути мы невольно разбились на парочки — Джордж с Бетиной, Сюзанна с Нэтом (ну не скандал?!), Соломон с Минни, доктор Споттер с Бертой, Питер Мэхи с шустренькими терьерами Сюзанны. Оставшийся свободным мсье Лё Куа предложил мне идти под руку с ним.

Должна вывести Вас из заблуждения — он совсем не пахнет как старик, напротив, он пахнет чем-то свежим, вроде огурчика, но никак не «старческой плотью», как Вы изволили выразиться. У него добрая улыбка и величественные манеры, как у моего отца. И знаете, Синнамон, нам было очень приятно беседовать друг с другом. Он рассказывал мне о своей семье во Франции (он сын маркиза, так что слухи, оказывается, подтвердились!), о своих милых умненьких студентках, о своей жизни, полной приключений, — в жизни он перепробовал все, был даже семинаристом в Иезуитской семинарии. А я рассказывала ему о том, как наша семья очень давно путешествовала во Францию. У нас с ним, кажется, нашлось много общих знакомых.

Я так увлеклась разговором, что забыла о замерзших руках и ногах, даже немного расстроилась, когда на обратном пути мужчины поменялись спутницами и мне достался этот бездумный болтун и повеса Нэт Помрой. Всю обратную дорогу до Хайд-Холла он нескромно тарачился на меня и без конца курил.

Весь день мы с дамами сидели в чертежном зале. Я пыталась читать, но Сюзанна отвлекала меня разговорами, то и дело упоминая академию, поэтому я решила, что не ошиблась, когда надеялась раздобыть на этом уик-энде денег для школы. Она все-таки допекла меня своей болтовней, и я удалилась в свою комнату на несколько часов перед ужином. Представьте мое удивление, когда я увидела на туалетном столике распустившийся розовый цветок — розу из оранжереи Хайд-Холла. Рядом лежала карточка с надписью: «От восхищенного поклонника». Синнамон, мое сердце заколотилось. Отдохнуть я уже не могла.

Видимо, не стоит упоминать, что за ужином я боялась говорить из боязни выдать свое удивление по поводу розы. И как радовалась я, что весь вечер прошел в музыке и танцах — благо вместо Минни за фортепьяно села Бетина! Поскольку кавалеров было больше, чем дам, я ни одного танца не сидела на месте. Три танца я станцевала с Соломоном Фолкнером, который так напоминает мне моего отца (конечно, только физически, ибо с моральной точки зрения этот человек опасен); два танца — с Нэтом, два с Джорджем, один с доктором Споттером и один с мсье

Лё Куа.

Наконец у меня выдалась свободная минутка, чтобы отдохнуть, когда доктор Споттер увел мсье Лё Куа в уголок для разговора и я тихонько выскользнула из зала немного прохладиться. Я побрела по парку — серебристый и злоеущий в лунном свете, он напоминал сказочные владения злой феи. Любуясь озером, я услышала за спиной шаги. Я закрыла глаза, втянула плечи и затаила дыхание. Палец в лайковой перчатке нежно коснулся моего подбородка. Открыв глаза, почти на грани обморока, я увидела перед собой улыбающееся лицо Нэта Помроя.

Вы хорошо знаете мою душу и, конечно, поймете, какое несказанное разочарование я испытала в тот момент. Ах, Синналюн! Во-первых, потому, что я ожидала увидеть там совсем другого человека. Но разочарование мое мгновенно удвоилось, когда я вдруг поняла, для чего, оказывается, был затеян этот уик-энд. Сюзанна разыграла все это, чтобы женить на мне своего обедневшего любовника Нэта. Они, должно быть, хихикали оба, полагая, что ему удастся очаровать невзрачную старую деву, охмурить ее своими ухаживаниями, чтобы она осталась навеки ему благодарна. А потом, когда она пала бы перед его обаянием и они поженились, он стал бы тратить ее деньги на ухаживания за своей прелестницей Сюзанной.

О, какой злой, гадкий замысел! Я сразу его раскусила. Я ничего не сказала, повернулась и убежала в дом, в свою комнату. В ту же ночь в поместье загорелась какая-то постройка, и все мужчины пытались ее потушить. Вернулись они на рассвете, продрогшие, в мокрой одежде, с которой на пол лилась вода. Когда все они, валясь от усталости, разошлись по спальням, я дождалась приличного часа, оставила записку, объяснив в ней, что мне срочно нужно в Темплтон по неотложному делу, и уехала в своей коляске.

А вот другое признание. Возможно, я поторопилась, опрометчиво заявив, что не хочу замуж. Возможно, я пыталась флиртовать с мсье Лё Куа, но, кажется, ни он, ни кто другой этого не заметил. Он так мил и обаятелен, хотя и некрасив, что все женщины пытаются флиртовать с ним. А я, отойдя в уголок, чувствую, как все горит внутри, когда Берта или Минни хихикают и щебечут с ним, выслушивая от него комплименты. Мне кажется, он поселился в моем сердце. Только, пожалуйста, никому об этом ни слова. И не смейтесь надо мной. Я ведь не такая, как Вы, Синнамон, — я простодушна, серьезна и доверчива, я это знаю. Быть может, Вы научили бы меня флиртовать, научили бы быть привлекательной. Только не смейтесь надо мной. Я испытываю

отчаянную потребность научиться этому, и Вы идеальный кандидат на роль учителя. Как думаете, могли бы Вы меня научить?

Лицо мое горит от смущения. Я заканчиваю это письмо и посылаю его Вам в надежде, что Вы не посмеетесь надо мной.

Ваша полная нежности

Шарлотта Темпл.

Эверелл-Коттедж, Темплтон. 5 декабря 1861 года

Моя дорогая Шарлотта!

Вы представить себе не можете, как порадовали меня! Вы предложили поистине стоящий план — мне всегда хотелось посоветовать Вам кое-какие маленькие усовершенствования, ибо если я в чем и знаю толк, так это в том, как выглядеть так, чтобы нравиться мужчинам. И я просто уверена, что, когда мы приведем этот план к завершению, Вы выйдете замуж. Я даже могу гарантировать Вам это! Но для начала я должна поругать Вас — выбросьте Вы из головы эту глупую привязанность к лысому старому французу. Он недостойн Вас, и Вам не следует замечать его, даже в самом лучшем обществе. Да что там, когда я закончу Ваше усовершенствование, Вы выйдете замуж за принца! Мы используем высокое положение в обществе Ваших сестер и подыщем для Вас блестящую партию!

Я тщательно все обдумала и ниже изложу мои советы. Следуйте им, насколько это возможно.

Наружность

1. Волосы. Дорогая моя, мы должны что-то сделать с Вашей прической. В восемнадцать лет Вы, несомненно, были очаровательны с этими обильными длинными локонами, обрамляющими Ваше лицо, но тогда лицо Ваше было совсем молодо, а сейчас эта старомодная прическа лишь придает Вам детский вид. Попробуйте поднять волосы на затылке и сделайте коротенькие мелкие кудряшки вокруг щек.

2. Платье. Мы должны отвадить Вас от всего черного. Конечно, я понимаю, что Вы пребываете в трауре по Вашему отцу, но ни один мужчина не осмелится приблизиться к женщине, чье сердце целиком и полностью поглощено человеком, которого нет в живых. Я совершенно точно знаю, что Вам подойдут пурпурный и темно-зеленый цвета. Цина Микс, несомненно, лучшая портниха в Темплтоне, но я советую Вам попросить Ваших сестер выслать Вам последние журналы мод из Европы. И закажите себе также туфельки — ибо нельзя носить ботинки, в каких

ходите Вы, и ожидать, что кто-либо из мужчин станет восхищаться Вашими изящными ножками.

3. Украшения. Моя дорогая, где-то в глубине души каждый мужчина по-прежнему остается мальчишкой, строящим замки из палок и потрошащим часы, чтобы посмотреть, как те устроены. Мужчин зачаровывает все, что бренчит и звенит. Серьги, позвякивающие в Ваших ушах, — это Ваши друзья, как и браслеты, мелодично звенящие при каждом Вашем движении. Разумеется, музыки этой должно быть в меру, иначе Вы будете похожи на женщину-оркестр!

Флирт

Мы должны сыграть на Вашей природной застенчивости, ибо, если мы будем играть против нее, Ваши манеры, окажутся только лишь искусственными и деланными. А что такое деланность манер, Вам, должно быть, известно, коль вы знакомы с Сюзанной Кларк, как известно Вам и то, насколько непривлекательно выглядят эти деланные манеры.

1. Когда мужчина входит в комнату, не стыдитесь зардеться. Я знаю, как плохо Вы умеете управлять своим румянцем, но ко всему прочему Вы еще обычно начинаете опускать лицо, пряча щеки за волосами, или бросаетесь поспешно задавать вопросы, чтобы перевести разговор на кого-нибудь другого. Вместо этого Вам следует держать голову высоко, непринужденно и загадочно улыбаться и изо всех сил стараться не смотреть в сторону нравящегося Вам мужчины. Тогда никто не усомнится в отсутствии у Вас каких-либо нескромных намерений.

2. Когда мужчина разговаривает только с Вами, смотрите ему в глаза и на губы, а то Вы любите во время всякой беседы тет-а-тет смотреть почему-то на его воротник. Изящно покусывайте губку, улыбайтесь, слегка опустив ресницы, и повторяйте его манеру сидеть или стоять, только не забывайте делать это по-дамски — просто любой человек любит зеркало, даже если он не подозревает об этой своей любви.

Когда Вам удастся овладеть этими навыками, Вы существенно продвинетесь в своем усовершенствовании. Тогда я научу Вас писать любовные послания, назначать тайные свидания (только не пугайтесь — тайные свидания назначают все), научу Вас, как заставить Вашу служанку хранить секрет, и разным прочим вещам.

Надеюсь, я не перешла разумного предела — ведь я всего лишь хочу Вашего счастья! Пожалуйста, напишите мне, как только Вам удастся овладеть какими-нибудь из этих эффектов. И не переживайте из-за глупенькой Сюзанны Кларк и ее любовника. Им недостает деликатности в поступках, а стало быть, они не опасны.

*Ваша любящая
Синнамон Эверелл Грейвз.*

С конторки Шарлотты Темпл, Франклин-Хаус, Блэк-берд-Бэй, Темплтон. 9 декабря 1861 года

Дорогая Синнамон!

Благодарю Вас за добрые советы. Признаюсь, я потрясена тем количеством изменений, коим мне предстоит подвергнуть мою наружность и литеры. Я, оказывается, и понятия не имела, как много всего должна усовершенствовать в себе. Я уже заказала себе у моей сестры Маргариты модные журналы и туфельки. Я не очень уверена, что сумею овладеть искусством флирта, но буду стараться.

Кроме того, боюсь, что не смогу выкинуть из сердца мсье Лё Куа. Я уже пробовала, но не получилось — стоило мне увидеть его в церкви на воскресной службе, увидеть эти его добрые глаза, как мне снова захотелось, чтобы он был рядом. Только скажите теперь, что все равно будете помогать мне, даже если предметом моих чувств будет он. Пожалуйста, помогайте мне!

*Ваш друг
Шарлотта Темпл.*

Эверелл-Коттедж, Темплтон. 11 декабря 1861 года

Дорогая Шарлотта!

По некотором размышлении я решила, что буду помогать Вам, даже если предметом Ваших чувств останется этот француз. Иногда наше сердце не в силах прислушаться к разуму. Я была очень похожа на Вас с моим первым мужем, моим дорогим Полом Стоуксом, и думала, что умру, когда, упав с лошади, он сломал себе шею. Конечно, я теперь откажусь от всякой надежды найти Вам принца — во всяком случае, пароль этого мужа! Разумеется, это шутка, но француз несколько староват для Вас, моя дорогая, и вы должны быть готовы к чему угодно.

Помните: il faut souffrir pour etre belle — красоту нам дают страдания. Я теперь снова читаю на французском, так что смогу практиковаться, общаясь с Вами, когда выйду из черного траура в ноябре.

*Я еще буду писать Вам.
Ваша
Синнамон Эверелл Грейвз.*

(черновик)

Мой дорогой мсье Лё Куа!

Пожалуйста, послушайте, что напоеет Вам птичка, желающая сообщить Вам, что у Вас есть обожательница — благороднейшая в этом городе дама. Птичка желает даме счастья и будет радостно щебетать, если ВЫ проводите даму до дома после воскресной церковной службы. Дама нарочно ходит до дома пешком — говорит, что это ей наказание за грехи. Но птичка-то знает, что у дамы нет грехов и что ВЫ, мсье, могли бы превратить это наказание в блаженство.

Друг.

11 декабря

Мой дражайший, добрейший, прекраснейший друг Синнамон!

Простите мне это небрежное послание, ибо я сама не знаю, что творится со мной. Вы только представьте — мсье Лё Куа провозжал меня весь путь из церкви до Блэк-берд-Бэй! Ваши советы, моя дорогая, поистине творят чудеса. Вы самый прекрасный друг, какого я только могу себе вообразить. Я должна отправить это немедленно с Джозефом, который прямо сейчас едет в город. А потом я должна пойти к себе в комнату и побыть наедине с собой, пока не уляжется возбуждение.

Ваша любящая (!)

Шарлотта.

Эверелл-Коттедж. 19 дек. (черновик, написанный наспех)

Ах, Шарлотта!

Я не знаю, что мне делать — я в полной растерянности — я должна написать Вам немедленно — случилось нечто ужасное — у меня было к Вам письмо, длинное письмо на двадцать страниц, я собиралась отправить его утром, в нем содержалось множество советов, как вести себя с мужчинами, но теперь от него нет никакого толку — я бросила его в огонь. Теперь же я пишу Вам это послание — Вы должны помочь мне!

Вы получите его, как только я его закончу, потому что я тотчас же отправлю его с одним из конюхов — надеюсь, он сможет пробраться через эти снежные заносы. Ночь я не спала и до сих пор вся дрожу. Ах, Шарлотта, Вы помните снежную бурю прошлой ночью? Этот ужасный бушующий ветер, метель и треск ломающихся сучьев. Мари-Клод

побежала пораньше с вечера к себе, потому что боялась за коров, а я ела свой скромный ужин, когда раздался ужасный стук в дверь, даже не стук, а удары. Я и встать не успела, как дверь распахнулась и я увидела на пороге запорошенного снегом медведя!

Нет, это был не медведь... Когда он ворвался в комнату и рыча снял с головы этот странный убор, что-то вроде башилыка, и стряхнул с себя снег, я у видела лицо моей сестры Джинджер. Представляете? Джинджер! Вы помните ее, эту громадную Джинджер, которая не разрешала Вам играть в бейсбол с ней и мальчишками из-за того, что Вы были из богатой семьи? Джинджер, которая сбежала от моего отца, когда ей было четырнадцать. И вот эта долговязая тощая Джинджер стояла теперь, улыбаясь, передо мной в мужской одежде — она так походила на мужчину, что, не зная я ее в лицо, подумала бы, что это мужчина. Она нисколько не изменилась, просто стала еще крупнее. Джинджер вернулась в Темплтон.

Я стояла как вкопанная, еще не успев броситься к двери, чтобы закрыть ее, как моя сестра гаркнула: (Заходите!) И в мой дом ввалилась целая толпа людей. В мокрых грязных башимаках они топтались на полу, который только утром Мари-Клод натерла до блеска. Их было всего четверо, как я посчитала после, но в тот момент они показались мне настоящей армией. Они отряхнули с себя снег, разулись, разделись и бросились греться к огню.

Я потеряла дар речи, а когда обрела его вновь, Джинджер, повернувшись ко мне, объявила: «Син, я дома!»

В растерянности я пробормотала:

— Добро пожаловать...

И один из ее спутников сказал:

— Какая милашка твоя сестра, Папа Джин. Настоящая леди, так, что ли?

Тут я увидела, что это произнесла женщина. Они все оказались женщинами. От их ярких платьев, пахнувших одеколоном и начавших испарять у камина влагу, у меня даже зарябило в глазах. Джинджер бросила один только взгляд на проговорившую те слова женщину, и та сразу сникла, как шавка. Тогда Джинджер сказала:

— Позвольте представить вас друг другу. Познакомься, Синнамон, с моими девочками. Вот это Аоло, она французенка из Нового Орлеана. А это вот близняшки из Индианы — Минерва и Медея. А вот это моя любимица Варвара, хотя на самом деле его зовут Сэмюэл.

И они бросились жать мне руку своими леденящими руками — рыхлая

рыжая толстуха с красными щеками, две тощие уродливые блондинки и прекрасный юноша, которого я никогда не приняла бы за мужчину, потому что на нем были юбки, а кадык был прикрыт пышным воротником. Оторопев, я смущенно смотрела на них и на сестру, а она улыбалась мне.

— Ах, Джинджер, как же тебя занесло в Темплтон? — в растерянности выдохнула я наконец.

— Да, давненько меня тут не было, — отозвалась она. — Столько всего произошло за это время. Столько всего я натворила, кое за что даже стыдно, а чем-то горжусь. Да ты садись!

Я повиновалась ее приказу.

Я была близка к обмороку, И у меня было странное ощущение — словно взятые по отдельности черты моих родителей смешали, нагрели до кипения, отфильтровали и отлили в совершенно противоположные друг другу формы в виде меня и сестры. От отца Джинджер достался его рост, смуглая кожа и сверкающие глаза, а также волевой подбородок, вспыльчивый нрав и лукавство, а от матери — стать, прямые каштановые волосы и, возможно, чуточку сумасшествия. Я же пошла в мать невеликим ростом, розовой кожей, добротой и мягкостью, а от отца взяла худощавость, медные волосы, мелодичный голос и умение обращаться с деньгами. То есть мы с сестрой были непохожи друг на друга настолько, насколько бывают непохожи чужие люди.

Наконец Джинджер нарушила молчание.

— Неужто первым делом не предложишь усталым путникам подкрепиться чем-нибудь с дороги? — спросила она.

И я, представьте, устыдилась, хотя никто их сюда не приглашал и само по себе нахождение их здесь — это чистый скандал, ведь у меня период черного траура! И я тотчас же встала, нарезала им ветчины, хлеба и сыру (превосходный сыр, его доставляют мне с фермы Старлина Йомена) и сварила крепкий кофе. И эти девушки в ярких платьях набросились на угощение как голодные волчицы, словно не ели несколько дней. А Джинджер даже придвинула к себе чашку с моим остывшим вечерним супом и, не спрашивая разрешения, выпила его одним махом. Закончив, она откинулась на спинку стула, промокнула губы и улыбнулась. Это была ужасная улыбка, скажу я Вам, Шарлотта.

— А что, детей у тебя нет? Ты ведь, я слыхала, перебрала уже четырех мужей, и неужели нет детей? Ты бесплодна, Син?

— Не знаю, — прошептала я. — А ты? У тебя есть дети?

— Не-а. Потеряла одного очень давно, с тех пор больше что-то не

получается. Да и к лучшему это, так работа легче идет. — И спутницы моей сестры зафыркали и заржали в свои чашки как лошади.

— Какая работа? — спросила я в ужасе. — И почему ты все-таки здесь?

— Почему мы здесь? Ах, Син, а то ты не знаешь! Вечно ты изображаешь из себя невинность.

До этого момента, клянусь, я не понимала, зачем они приехали, но теперь все встало на свои места — и эти яркие платья, и резкий парфюмерный запах неряшливых девиц, и юноши в женских нарядах. Мне страшно сказать Вам, Шарлотта, истинному воплощению невинности, но они приехали сюда затем, чтобы обосновать здесь бордель.

— Ах, Джинджер, значит, это шантаж?! — только и смогла вымолвить я, решив, что она станет просить у меня денег, обещая после этого убраться.

Но она рассмеялась, вытаращила глаза и сказала:

— А кстати, хорошая идея. Да только нет, сестрица, никогда ты не сможешь дать мне столько, сколько мы намерены заработать тут сами. Мы намерены тут остаться.

Мне сделалось нехорошо, в особенности после того, как одна из девиц поймала у себя на щеке вошь и раздавила ногтем.

— Остаться?! О, Джинджер, нет!..

— Не нет, а да! — отрезала она. — Здесь славное место, а моим девочкам страсть как надоело таскаться за войсками — конкуренция большая, да уж больно солдат много гибло на наших глазах. Болезни опять же. Нет, посмотрели мы на Темплтон — нам он подходит. Здесь войска стоят часто, богатеньких дядечек пруд пруди, отель новый построили — скоро, глядишь, настоящий курорт здесь будет. Сытая публика понаедет, а где сытая публика, там деньги. На Миссисипи нам не понравилось, а здесь охотно останемся. Только тебе волноваться нечего. Я назову себя Папа Ажин Стоун, и никому в голову не придет, что мы с тобой связаны родством.

А этот неестественный юноша в зеленом женском платье, затрепыхав ресницами, добавил:

— Не волнуйтесь, мадам, мы будем вести себя тише церковной мышки. Никто даже и не узнает, что мы здесь.

Погладив юношу по щеке, Джинджер сказала:

— Правильно, дорогая. Мы переночуем здесь всего одну ночь. А утром уйдем.

Потом толстуха, уже клевавшая от усталости носом, и вместе с ней

остальные поднялись и расстелили свои одеяла прямо на полу. А наутро моя сестра испарилась вместе со всем своим фамильным серебром и с деньгами на хозяйство на всю зиму, что были припрятаны в жестяной коробке в буфетной.

Я не знаю, что мне делать, Шарлотта. Сейчас утро, а я все еще во вчерашней одежде. Мари-Клод пришла и, чертыхаясь по-французски, заново отскребаёт пол. А я просто не знаю, что делать. Умоляю, пожалуйста, помогите мне мудрым благоразумным советом! И умоляю: не говорите никому ни слова, ни единой душе! Мне же скажите, что делать. Ради Бога, извините, что посылаю Вам черновик — переписывать болит рука. Я должна послать Вам это немедленно, иначе я просто сойду с ума. Я знаю, что веду себя необдуманно и опрометчиво, но иначе не могу — я молю Вас о помощи.

*Ваш попавший в беду друг
Синнамон.*

** * **

Эверелл-Коттедж, Темплтон. Рождество 1861 года

Моя дорогая Шарлотта!

Вы сущий ангел! Что бы я делала без Вас? Вы подарили мне столько утешения за все эти ужасные мрачные дни, даже, возможно, отвлекаясь от романтических отношений с дорогим Вашему сердцу французом. У Вас даже не было времени на обычные прогулки с ним. Не было, потому что Вы успокаивали и утешали меня. И Вы правы — я должна сохранять спокойствие, я не вправе блюсти мою сестру, пусть Господь будет ей судьей, а не я.

Шарлотта, я наверняка сотворила бы что-нибудь с собой, если бы не Вы. Вы тотчас же поспешили через замерзшее озеро и заснеженные лужайки, чтобы прийти мне на помощь. И возвращались ко мне каждый день, пока я наконец не успокоилась. Я принимаю настой, который Вы мне опять прислали, и от него меня клонит в сон. Но прежде чем уснуть, я высылаю Вам этот подарок. Я написала Аристабулусу Маджу и попросила приготовить это для Вас. Это любовное снадобье — я пользовалась им сама, — и поверьте, оно замечательно действует. Вы должны положить его в пищу, приготовленную собственными руками, и дать съесть ее Вашему возлюбленному.

Говорила ли я Вам, что, когда меня одолевает такая сонливость, мне

начинают мерещиться мои мужья? Это весьма и весьма волнительно. Они всегда предстают передо мной окутанные тенью и никогда не улыбаются. Что я такое пишу? Я с трудом понимаю, что строчит моя рука, я едва держу перо и очень устала. Видимо, сейчас, моя дорогая, мне нужно лечь и уснуть. Но я навеки, навеки останусь перед Вами в долгу.

Ваша любящая

Синнамон Эверелл Грейвз.

Глава 17

ПЕРЕРЫВ

Переписку Синнамона и Шарлотты я начала читать накануне поздно вечером, после того как мы с матерью поужинали и она ушла в одиннадцать на ночное дежурство, а я еще посмотрела черно-белый фильм по телевизору. Каково же было мое удивление, когда, держа в руке еще добрую половину непрочитанных писем, я глянула в окно и увидела, что солнце, потихоньку выплывающее из-за гор, уже начало окрашивать озеро в бледный цвет. Я зевнула, потянулась и объявила моему привидению, что нуждаюсь в небольшом перерыве. Привидение, на сей раз лиловое, кажется, трепыхалось надо мной всю ночь, но стоило мне только посмотреть на него в упор, как оно тотчас же сделалось невидимым.

Я спустилась вниз и приготовила себе кофе, потом включила телевизор и от души рассмеялась. На экране, сидя с выровненными спинами, словно мальчишки во время диктанта, «молодые побегии» болтали с какой-то миниатюрной милашкой, которая без конца хихикала как дурочка. Это был повтор той самой передачи. Но я захватила только ее конец. Дамочка поблагодарила бегунов за участие в передаче, и камера отъехала, показав какого-то красавца репортера, который намеренно вышел на передний план.

— Всю прошедшую неделю, — говорил он, — профессиональные ныряльщики пытались достичь дна этого девятимильного ледникового озера в штате Нью-Йорк, чтобы выяснить, был ли обнаруженный на прошлой неделе «монстр», получивший ласковое прозвище Глимми, единственной в своем роде обитавшей там особью. Примечательный факт, но ни одному из ныряльщиков так и не удалось достичь дна. Это озеро имеет очень большую глубину, и ныряльщики не смогли опуститься ниже четырехсот футов от поверхности воды. Впрочем, сегодня ситуация изменится. — Тут камера отъехала в сторону, чтобы показать ярко-желтого цвета машину, возле которой стоял репортер. — Этот вот глубоководный батискаф опустится сквозь толщу легендарных вод озера Глиммерглас и выяснит, обитает ли кто-нибудь — и если обитает, то кто, — в глубинах этого безмятежного и симпатичного с виду озера. А заодно этот глубоководный аппарат определит точную глубину водоема. — Последние

слова репортер произнес с особой торжественностью, и камера снова поехала, чтобы показать мое родное озеро, переливающееся золотисто-розоватыми тонами на утреннем солнышке и еще подернутое кое-где ключьями предрассветного тумана.

Я выключила телевизор и выглянула в окно — там желтый батискаф на специальных рельсах спускали в воду. Когда он скрылся под водой, я нарочно отвернулась, чтобы даже не представлять себе мысленно, как он будет бороздить темные глубины нашего озера.

Ровно в семь в дверь позвонили. Поначалу я решила, что это Иезекиль Фельчер — накануне я не выходила весь день, но видела его эвакуатор напротив нашего дома, он стоял там несколько часов кряду. Вот я и решила сначала не открывать — побоялась, что не удержусь и съезжу Фельчеру по физиономии, — но потом в голову полезли всякие мысли: а вдруг что-нибудь с матерью, вдруг ее сбила машина, когда она возвращалась домой с ночного дежурства, или какой-нибудь урод-нарк устроил в больнице стрельбу, или ей просто сделалось плохо на работе. Я побежала к двери уже со слезами в глазах.

И слезы эти чуть не брызнули у меня из глаз, когда я, открыв дверь, увидела на пороге «молодые побеги». Они стояли там все шестеро, улыбались и бормотали свое обычное «привет!».

Вилли Аптон! — сказал Фрэнк Финни. — Мы слышали, что ты в городе. Чем же ты таким занята, детка, что не выходишь с нами бегать по утрам? Мы, детка, смертельно оскорблены. Даже не знаю, сможем ли мы теперь тебя простить.

— Не слушай его, Вильгельмина, — вмешался Иоганн Нойманн. — А выглядишь просто префосходно. Прическа отличная.

Маленький Том Питерс, мой бывший педиатр, протянул мне засаленный бумажный пакет.

— Вот, пончиков купили, — сказал он улыбаясь. — Ви ни за что не скажем, обещаю.

— Милые мои «побеги», как я рада вас видеть! — сказала я этим пропотевшим чудакам в спортивных трусах, с волосатыми ногами.

Всего около часа мы просидели за столом, как мною начала овладевать умиротворенность, какой я не испытывала с самого дня приезда. «Побеги» были, как всегда, в своем репертуаре — рассказывали мне все сплетни, делились своими мыслями. От них я узнала, что какой-то бейсболист, которого взяли в музей, как выяснилось, имел интрижку с шестнадцатилетней темплтонской девчонкой, и новость эта взбудоражила

весь город. Теперь я знала также, что Лаура Ирвинг, дочка Большого Тома, сбежала из дому неизвестно куда три недели назад. Том все это время очень переживал, поэтому и выглядит таким больным. Еще утверждалось, что все это время меня постоянно видели якобы «дико злощей»: «Ну прямо все нам это говорили, вот мы и пришли посмотреть собственными глазами».

Так сказал красавец Дуг Джонс, мой бывший школьный учитель английского, и, подмигнув мне, прибавил:

— Но мне ты не кажешься сердитой. Просто какая-то грустная, по моему.

Они ждали от меня ответа. Наверное, надеялись, что я выложу все начистоту — объясню, почему вернулась домой. Я думала, не рассказать ли им про Праймуса Дуайера, про мои приключения в Арктике и про крохотный Комочек, поселившийся теперь у меня внутри. Но Том Ирвинг продал мне машину всего за пятьдесят долларов, Дуг Джонс назначал меня в школьных спектаклях на роли Джульетты и Дездемоны, Сол Фолкнер заплатил за мой колледж, и, поскольку он был богат и не имел своих детей, этот долг я могла не отдавать.

И вот сейчас я смотрела на них и вспоминала, как вообще подружилась с «побегами». Это был июнь, и мне было всего четыре годика, и я как-то пронюхала, что пресвитерианская церковь устроила на лужайке благотворительную продажу мороженого. До того момента я пробовала мороженое всего один раз в жизни — его мне дал слизнуть с красивой длинной ложечки один из ухажеров моей матери в кафе «Картрайт», когда мать на минутку отвернулась, — и оно мне тогда очень понравилось. Оно таяло у меня на языке — сладенькое, нежное, прохладное, да еще со всякими сюрпризами в виде орешков, фруктов и шоколада.

Поэтому в день благотворительной продажи мороженого я преспокойно ушла из дому — сделать это было не трудно: моя мать красила в тот день стены в столовой. Я самостоятельно добралась до церкви. И хоть Фрэнк Финни по материнской линии был иудеем, Иоганн Нойманн — лютеранином, а Том Питерс католиком, все «побеги» со своими семьями пришли на ту же лужайку, потому что благотворительная продажа мороженого — это событие в Темплтоне, событие, какого не пропустит ни один уважающий себя сплетник.

В свои четыре года я уже откуда-то знала, что надо тихим печальным голоском говорить, что у меня нет папы, — трюк этот имел поистине сказочную силу над взрослыми, особенно над мужчинами. Поэтому, когда я, прижавшись к долговязому колену Сола Фолкнера и жадно глаза на его

сахарный рожок, в ответ на его вопрос: «Что случилось, девочка?» — прошептала, что у меня нет денег и нет папы, который купил бы мне мороженое, Сол сорвался с места и принес мне порцию ванильного.

— Вот тебе, лапочка, держи, — произнес он, и я рванула в кусты поесть новое сказочное угощение.

Моей следующей мишенью стал Том Ирвинг — он приглянулся мне тем, что в полном одиночестве дремал в шезлонге. Улыбаясь, он купил мне мятно-шоколадный брикетик и от всей души поцеловал в лобик. Так, постепенно освоившись и обнаглев, я подкатила к Дугу Джонсу, который кормил из бутылочки своего малыша. Он смерил меня скептическим взглядом — к тому времени у меня вокруг рта уже были разноцветные круги, — но все же протянул мне свою недоеденную порцию сливочного.

— Разве можно спокойно есть мороженое, когда рядом вздыхает несчастный беспризорный ребенок? — проговорил он.

У Фрэнка Финни его шоколадную трубочку я попросту «увела», и он, смеясь, позволил мне сделать это. И я уже носилась по лужайке как метеор с другими детьми, когда встревоженная Ви примчалась к церкви. Под звуки органа она ввалилась на лужайку мрачная и огромная, как страшный тролль. А ведь ей тогда не было и двадцати двух. Мне она тогда вообще казалась каким-то великаном. Взяв меня за шиворот и обнаружив, что я вся перемазана мороженым, она, вытаращив в ужасе глаза, воскликнула:

— О Боже, Солнышко, как же так! У тебя же аллергия на сладкое!

И мужики вокруг побледнели и понурились. Я заметила, что они тоже боятся ее. А я, как назло, а может, просто с непривычки к такой обильной жирной пище, начала блевать, и они все шестеро, столпившись перед моей матерью, бросились извиняться, пока она, подхватив меня на руки, не пошла прочь.

С тех пор «побеги» осторожничали, имея дело со мной. И сейчас, когда они спрашивали меня, что стряслось, я просто не могла рассказать им во всех подробностях, до какого предела докатилась.

Натужно улыбаясь, я объяснила так:

— Да обычное дело — разбитое сердце и все такое.

Они закивали, ничего больше не спрашивая.

Потом отворилась дверь и вошла моя мать в своей медсестринской одежде. Вид у нее был мрачный и грустный. Изобразив на лице удивление, она спросила:

— Что это такое у вас?

— Да вот тоже молельная группа, — пошутила я.

«Побеги», растерянно улыбаясь, дружно поднялись из-за стола.

— Мы уже уходили, — сказал Том Ирвинг. — Рад видеть тебя, Ви.

Они все загалдели — как рады видеть меня, что я должна бегать с ними и что еще увидимся — и аккуратненько, по одному, начали вытряхиваться за дверь. Тут я наконец увидела причину их смущения — в прихожей, оказывается, топтался преподобный Молокан. «Побеги», потупившись, учтиво здоровались с ним и уходили.

— Да, это было неожиданно, — сказала Ви, уже сидя на стуле и растирая подъем на ноге, потом позвала: — Заходи, Джон! Я сейчас завтрак приготовлю.

Преподобный Молокан застенчиво протиснулся в кухню и чуть заметно кивнул мне. Одет он был как на загородную прогулку — в потешный байковый жилет и слишком короткие шорты, из-под которых торчали мучнисто-белые ноги, покрытые синюшными венозными разводами. Красные волосатые пальцы выпирали из дурацких сандалий, которые выглядели так, словно их соорудили из старой резиновой крышки и отслуживших свое кожаных ремешков. Все это убожество, конечно же, довершал огромный железный крест — ни дать ни взять мельничный жернов на шее.

— Рад видеть тебя, Вилли, — сказал он.

— Ага, — ответила я. — Ну ладно, пока.

— Подожди! — крикнула мне вслед мать. — Я пригласила Джона, чтобы мы все вместе позавтракали, перед тем как я пойду отсыпаться за ночь. Подожди, что ты там говоришь, Вилли?

Но я посмотрела на преподобного Молокана и сказала:

— Нет, Ви, спасибо. Есть мне совсем не хочется, так что я уж лучше пойду.

Но кислое, расстроенное лицо матери так и мерещилось мне, пока я поднималась вверх, поэтому, походив из угла в угол по комнате, я вернулась.

— А вот кофе, пожалуй, выпью, — сказала я и уселась за стол напротив Молокана.

Мать заулыбалась, как будто у нее гора с плеч свалилась.

— Что, на природу решили выбраться? — поинтересовалась я.

— В общем, да, — ответил мне Молокан. — Я слышал, ты тоже любишь природу.

— Любила. Пока не стала жить в Сан-Франциско. Там горы тоже рядом, и природа красивая, но у меня совсем нет времени куда-нибудь выбираться.

Разочарованно посмотрев на меня, он важно изрек:

— Господь создал природу, чтобы отвлекать нас от наших мирских забот.

— Угу, — кивнула я, пожалев хлопчущую у плиты мать и решив не объяснять ему, что природа — это часть нашей повседневной жизни и что он не сказал сейчас, в сущности, ничего. Это все, что мы нашли поведать друг другу — блаженный богоборец и блудная проститутка-дочь, — а потом уж подросла Ви с подносом, весело щебеча что-то про Глимми. За завтраком — я вдруг поняла, что тоже, оказывается, проголодалась, — она говорила о всяких чудесах и монстрах, о каких-то мутантах-уродах, что рождаются у рыб и млекопитающих. Я смотрела на мать и поражалась тому, что она держит за руку человека, которого не удостоила бы даже презрительной усмешки еще год назад.

Мысленно я поклялась своему Комочку, что никогда не буду встречаться с такими вот дебилами только потому, что одинока. Мать, видимо, заметила жалостливое выражение моего лица, потому что вдруг, прищурившись, смерила меня суровым взглядом.

— Ну а как там Синнамон и Шарлотта? — осведомилась она. — Прогресс есть?

Я поняла, что это означало следующее: «Если тебе столь противно, то можешь пойти прочь». С чувством великого облегчения я поднялась из-за стола.

— Спасибо за еду, Вивьен. Была очень рада видеть вас снова, преподобный. Надеюсь, общение с природой доставит вам удовольствие. Только смотрите, чтобы медведь вас не задрал.

Уже почти в дверях я услышала озадаченное:

— Ну надо же, а мне никто не говорил, что здесь водятся медведи.

Засев за письма, я еще хихикала. Привидению, снова замаячившему в углу, я сказала:

— Ну вот, давай продолжим. — И взяла в руки следующее письмо, написанное почерком Шарлотты.

Глава 18

СИННАМОН И ШАРЛОТТА

Часть II

С конторки Шарлотты Темпл, Франклин-Хаус, Блэк-берд-Бэй, Темплтон. 7 января 1862 года

Моя дорогая Синнамон!

Вы должны простить меня за долгое молчание: я гостила у моей старшей сестры в ее загородном доме в Рай и там работала над новой книгой (об этом известно только Вам). Я вернулась только что — горничная еще распаковывает вещи. Я рада, что Вам стало легче и что успокоительный настой действует должным образом. Вы напугали меня упоминанием о Ваших мужьях, но я думаю, это можно объяснить тем, что Вы пребывали в тот момент в полусне и к этому не нужно относиться серьезно.

Да, Вы просили докладывать Вам, если я услышу что-нибудь о Вашей сестре. Думаю, я кое-что слышала. На обратном пути я заезжала с письмом от моей сестры к преподобному Бельведеру. За чаем этот старый сплетник поведал мне о двух вещах. Вот первая. Пекарь Шнайдер рано утром после той снежной бури, выглянув на улицу проветриться, видел каких-то странных призраков, облаченных в белое. Словно выстроившись по росту, они брели чуть ли не по пояс в снегу по Второй улице.

А еще я слышала, что братья Вандерхее вдруг взяли да и продали гостиницу «Кожаный Чулок». Вы, конечно, по-мните, что в начале века они купили ее у старой вдовы Кроган и лишь совсем недавно перестроили ее в новейшем духе. Там в каждой комнате настенные росписи с изображением сцен из книг моего отца — Натти Бампо прыгает в водопад; Чингачгук снимает скальп с гурона; Натти оплакивает истребленных голубей и так далее. Так вот братья заходили ко мне попрощаться, хотя за много лет, проведенных здесь, они по-прежнему с трудом говорят по-английски. Когда я спросила, кто купил у них

гостиницу, они, переглянувшись, ответили: «Крупный такой мужчина. Пахнет как женицина». Полагаю, это весьма подходит под описание Вашей сестры.

И еще поведаю Вам секрет. Мсье Лё Куа стал весьма обходителен с тех самых пор, как я последовала Вашему совету и угостила его конфеткой, которую приготовила собственными руками. Мы прогуливались уже одиннадцать раз, и мой французский стал гораздо лучше. При расставании он теперь целует мне руку, и у меня кожа горит, Синнамон, — горит через перчатку, горит, когда он вдали от меня и даже когда мы снова встречаемся.

Ах, Синнамон, сердце мое преисполнено благодарности к Вам, моему дражайшему другу, и наша вынужденная разлука неимоверно тяготит меня.

Ваша любящая

Шарлотта Темпл

* * *

9 января 1862 года (черновик)

Дорогая Шарлотта!

У меня ощущение, что силы мои подорваны. Что-то неладное творится со мной. Я не знаю что, знаю только, что Вы как-нибудь можете мне помочь. Видите ли, мне нужно рассказать Вам кое-что ужасное. Этот мир мрачен и зол. И я не знаю, что...

14 января 1862 года (черновик)

Дорогая Шарлотта!

Почему бы не пишете? Почему не пишете? Вы не пишете из-за того, что влюблены? Разве Вы не друг мне? Разве не знаете, как печально мне и одиноко? Да разве Вы что-нибудь знаете! Вам кажется, что Вы влюблены, но это не так. Вы влюблены в Вашего отца, Шарлотта, а то, что Вы видите в мсье Лё Куа, это всего лишь Ваше...

Эверелл-Коттедж. 17 января 1862 года

Шарлотта!

Уже очень поздно, а я не могу спать. Я не могу спать уже давно, целый месяц, с тех пор как вернулась Джинджер, — не могу уснуть без

этого настоя. У меня такое ощущение, что я схожу с ума. Шарлотта, мои мужья являются ко мне, окруженные тенью... Они толпятся вокруг моей постели, когда я пытаюсь уснуть. Они смотрят на меня, я вижу их везде, в каждом отражении, в черных проемах окон, в отражении луны на поверхности озера; я вижу, как они плавают подо льдом вместе с глиммергласким чудовищем. Помните, Шарлотта, как мы видели его? Мы тогда только познакомились и прогуливались вдоль берега, и вдруг он показался из-под воды всего в каких-нибудь двадцати футах от нас, ощерил свою черную гнилую пасть и снова ушел под воду. Мы были тогда всего лишь девочками, Шарлотта, и считали это чудовище просто мифом, но с того дня мы прикипели сердцами друг к дружке, мы стали неразлучны. Вот и мои мужья, они такие же, как это чудовище, они не оставляют меня в покое. Я зажгла десять свечей, у меня горит камин, и в комнате светло как днем, но в каждом отражении, на каждой темной поверхности я вижу их, своих мужей. И я вроде знаю, что их нет здесь, но они все равно здесь. Они прячутся за ртутью зеркала, они не настоящие, не живые, но они здесь. И я не верю в призраков, а все равно знаю, что это они. И я боюсь, так боюсь, что не могу спать. Даже Мари-Клод озабоченно спрашивает, здорова ли я.

Мне кажется, я близка к помешательству. Нервозность, охватившая меня после смерти бедного Годфри, никак не проходит, я просто хорошо скрываю ее — вот Вам пишу все время, потому что совсем не могу больше читать, строки в книге извиваются перед моими глазами как черви. И меня все время трясет.

Вы писательница (да, об этом знаю только я, но еще и весь город — ибо напрасно Вы думали, что храните это в секрете, об этом знают все). Так вот я расскажу Вам историю.

Вот она, моя история. Я была принцессой, она — жабой. Так всегда начинаются сказки. Я была хороша собой, изящна, мила; она — мрачная, большая, неуклюжая и всегда дерзкая, вопреки множеству прутьев, поломанных моим отцом о ее спину. Отец ненавидел ее, ненавидел! Заведет ее, бывало, на задний двор дубильни и порет розгами за малейшую провинность. Он порол ее с самою малолетства, лет с пяти-шести — за разбитое зеркало, за неосторожное слово. Вы бы только видели их в такие моменты — мой громадный разъяренный отец и моя сестра, упрямая и неподвижная как мул. Она всегда была крупнее меня, я рядом с ней маленькая птичка. Отец любил меня, меня любили все. В нашей детской спальне обитало привидение — призрак моей бабки, рабыни Хетти. (Ах, только не притворяйтесь, что не слышали слухов! Слухи эти

чистая правда, все до единого слова — я действительно веду свое происхождение от рабов. От той самой рабыни, которую привез в город Ваш прославленный дед, этот почтенный квакер, великий Мармадьюк. Почтенный квакер и великий ханжа. Об этом в том числе шептались люди у меня за спиной на похоронах Годфри — да-да, о том, что я веду свое происхождение от рабов. О том, что мой отец, к злорадному утешению всею города, был до странности похож на старого господина Мармадьюка Темпла. О том, что мы с Вами, мой милый друг, возможно, и не такие чужие по крови. О да, все это я слышала!)

Так вот, мы с сестрой жили в комнате, где обитала бабушка Хетти. Джинджер издевалась надо мной страшно. Она привязывала меня к столбику кровати и принималась тянуть, пока руки мои не выворачивались из суставов. Тогда она переходила к следующей пытке — загоняла мне под ногти иголки и ждала, когда я закричу.

Всякий раз, поймав Джинджер на таких проделках, отец сек ее до крови. Всегда наказывал, и мать не препятствовала. Она словно ничего не замечала, словно была слепая. А позже, когда отец водил Джинджер на задний двор наказывать, оттуда уже не доносилось звуков порки. В двенадцать она была уже ростом с мужчину и сложена как мужчина. Она была очень сильная, могла освежевать бычью тушу в считанные секунды. В четырнадцать она побоями поднимала меня среди ночи с постели и гнала, босую, по лестнице на мерзлую лужайку, где земля была такая холодная, что мне обжигало ноги. Она приводила меня в дубильню и заставляла держать фонарь, пока сама по очереди забавлялась с подмастерьями. Один за одним, в этом ужасном смердящем месте, они были с ней, один за одним! Так она наказывала меня — стоять и смотреть на все это было мне наказанием. Глаза ее сверкали, рот щерился в оскале, огромные голые мускулистые ляжки под задранной рубашкой тряслись белыми пятнами в фонарном свете, а если я отворачивалась, она рывкала на меня. И то, что вытворяли с ней эти парни, она вытворяла со мной. Она заставляла меня смотреть, а если кто из них пытался прикоснуться ко мне, того она жестоко избивала. Она заставляла меня смотреть.

Однажды ночью отец застал нас там. Я, дрожащая, плачущая, пытающаяся отвернуться; она, заставляющая меня смотреть; дергающийся свет качающегося фонаря; один из подмастерьев, похотливо хрюкающий, как свинья, у нее сзади; двое других, со смехом ждущие своей очереди на куче дубильной коры, — и вдруг мой отец, большой, спокойный, появляется в дверях. Единственный его глаз сверкает гневом.

— Синнамон, в дом! — приказал он.

Я выбежала с фонарем в руке, подмастерья следом за мной, бросились наутек через луг. В окно спальни я видела, как отец вышел из дубильни, за волосы таща Дрейнджер. Она падала, он за волосы поднимал ее на ноги. Лицо ее, ноги были в крови. Он швырнул ее о стену дома, и она упала. Он оставил ее лежать там, в белой рубашке на темной траве, а сам ушел в дом. Я слышала его шаги по лестнице и тряслась, пока он не заперся у себя в комнате и начал там читать вслух Библию. Только тогда я легла в постель. А утром она исчезла.

С тех пор в нашем доме о ней не упоминали ни словом. Никто — ни мать, ни отец. Как будто ее никогда и не существовало. А когда она вернулась в ту бушующую снежную ночь, ко мне впервые стали являться призраки. И она, живая и настоящая, здесь; я чувствую ее близкое присутствие, мрачное, пугающее, ужасное для всех нас. Я чувствую постоянный страх — за то, что ничего не предприняла для ее спасения, за то, что была бессильна тогда, и за то, что бессильна сейчас. Она отравляет этот город. Отравляет его своим злом. Она подняла из могилы моих мужей. Из окна моего дома я вижу, как расползается по городу эта отвратительная заразная желчь, как поражает умы горожан мыслями о разврате.

Мой рассказ приведет Вас в состояние потрясения. Вот и хорошо. Вы почувствуете себя больной. И все же не такой больной, какой чувствую себя я. Не такой больной, если сможете после всего этого думать о своем французе. И если сможете, то мне жаль Вас, моя девочка.

Нет, я не стану отправлять Вам это письмо. Это было бы безумием, слишком жестоким даже для Вашего доброго сердца. Я не могу отправить его. Я запру его вместе с Вашими милыми, душевными, невинными письмами. Но даже они, Ваши письма, будут отравлены таким чудовищным соседством. Это письмо слишком безумное даже для меня, женичины, чье неистовство чувств порой поражает Вас до глубины души (да-да, я знаю, поражает!). И я знаю, дорогая моя Шарлотта Темпл, что Вы с Вашим серьезным личиком нет-нет да и мечтаете быть такой же неистовой, как я. У Вас нет никаких тайн, и в Вас нет темных неизведанных глубин. Не будь у Вас этой фамилии и этих денег, Вы были бы ничем. А вот я могла бы научить Вас кое-чему.

И уж коль это письмо никогда не попадет к Вам, я скажу — поистине отвратительным я нашла единственный прочитанный мной роман, подписанный именем некоего Сайласа Меррилла, то есть Вашим литературным псевдонимом. Сплошь пустые разглагольствования. Никчемная, бессодержательная вещь. Вы называете себя писательницей,

не зная о жизни ровным счетом ничего. Подписывать не буду. Зачем? Ведь это письмо не будет отправлено. Оно убило бы Вас, попади оно к Вам в руки, а я не хочу Вашей смерти.

С конторки Шарлотты Темпл, Франклин-Хаус, Блэк-берд-Бэй, Темплтон. 28 января 1862 года

Дражайшая Синнамон!

Вы не представляете, как я беспокоюсь за Вас! Вот уже три недели Вы не отвечаете на мое письмо. Поначалу я боялась, что Вы рассердились из-за того, что я долго не писала, но потом вспомнила Ваше состояние после возвращения Вашей сестры и теперь, конечно, понимаю, что Вы просто очень сильно переживаете. Сегодня я приходила к Вашему дому и подкараулила Мари-Клод, чтобы расспросить о Вас. Совершенно не понимаю, почему Вы жалуетесь на нее — такая милая девушка, прелестная, темноволосая, розовощекая. Она так возбужденно лопотала мне что-то про Вас, только я с трудом понимала, потому что французский ее совершенно искаженный и звучит совсем по-канадски. Однако я все же поняла, что Вы были очень больны, потеряли сон, почти не притрагиваетесь к пище и теряете в весе так, что на Вас уже висит одежда и, как утверждает Мари-Клод, отовсюду выпирают косточки. Она говорит, что Вы завесили все окна и зеркала и сжигаете по двадцать свечей за ночь. Она плакала, Синнамон, так что знайте: у Вас хорошая служанка. Она так напугала меня, что я чуть не ворвалась в Ваш дом, послав к черту все приличия!

Но с приличиями, конечно, надо считаться. Я беспокоюсь за Вашу репутацию в этом городе, но за Ваше здоровье, признаюсь, волнуюсь куда больше.

И я решила так: если Вы не ответите по истечении двух дней, то приду к Вам тем же путем, что и тогда, когда утешала Вас после возвращения Вашей сестры, то есть в обход всех дорог, по замерзшему озеру. И я буду выхаживать Вас до тех пор, пока здоровье не вернется к Вам. Вы нужны этому городу, Синнамон. Я слышала, Нэт Помрой ищет себе богатую партию. Ага! Уверена, что пробудила у Вас смех.

Теперь насчет Вашей сестры. О ней я слышала совсем немного. Конечно, теперь, когда в городе расквартированы войска, на каких-то странных, подозрительных женищин никто не обращает внимания. Вы бы слышали, сколько шуму поднимают молодые солдаты. Темплтон Вы бы не узнали — на у лицах повальное пьянство, азартные игры, и глупые

темплтонские девчонки буквально походили с ума от офицеров, кружащих им головы. Тысячи молодых людей кромсают лед, делают проруби, чтобы искупаться в ледяной воде озера. Для них это забава, веселье, но ведь какой скандал — люди на глазах у всего города бегают нагишом посреди зимы! Впрочем, скоро они уйдут, уйдут на Юг, и многие из них никогда не вернутся домой. Так что я думаю, мы должны быть к ним снисходительны.

А теперь я хочу рассказать Вам новость, от которой Вы упадете в обморок, моя дорогая. На прогулках мсье Лё Куа начал прижимать меня к дереву и целовать так, что у меня подгибаются колени. Наконец-то и я теперь могу привести Вас в состояние шока. Он теперь требует большего. Вот его записочка, привожу ее здесь полностью (я даже перевела ее, так как не знаю, насколько хорош Ваш французский после всех этих лет):

«Моя очаровательная фиалка!

Я вернулся в мои обширные комнаты в академии, отморозив себе ноги на мерзлой лужайке перед Вашим домом, когда ждал знака в окне кабинета Вашего отца. Я надеялся, что вы примете предложенный мной план, который обеспечит наше блаженство. Но увы, я ждал напрасно. Почему Вы так мучаете меня? В этом городе есть и другие, они выказывают мне свой интерес, но я пока жду Вас, мой целомудренный ангел. Я пытался убедить Вас, что мне не нужны Ваши деньги — когда я вступлю в права полагающегося мне наследства, я смогу обеспечить десять жен, — но мне нужны только Вы. Ваше милое личико, Ваша прекрасная душа! Скажите одно только слово, и мы с Вами будем как муж и жена. Я буду ждать от Вас знака каждую ночь — до тех пор пока у Вас не кончатся силы сопротивляться. Ваш любящий обожатель».

Если бы Вы знали, Синнамон, сколько сил мне стоило, чтобы удержать руки и не дать им посветить лампой в окне отцовского кабинета! Ваши уроки не прошли даром, и Ваша маленькая ученица делает большие успехи! Похоже, у меня и впрямь очень скоро будет муж. Но скажите, должна ли я уступить до объявления нашей помолвки? Ах как неблагоразумно я сейчас поступаю! Но Вы ведь сохраните мои секреты? Я сгораю от нетерпения получить от Вас ответ. Пожалуйста, мой дорогой друг, напишите мне! Ведь ярываюсь между моими восторгами и тревогой за Вас.

С самыми теплыми пожеланиями

Шарлотта Темпл

* * *

Эверелл-Коттедж. 5 февраля 1862 года

Моя дорогая Шарлотта!

Я очень сожалею, что доставила Вам такое беспокойство. Я действительно была очень больна, как Вы видели, навестив меня. Я напугала Вас и прошу простить меня за это. После Ваших усердных забот я чувствую себя лучше. Возможно, Вы правы и я не могла спать из-за шума, который устраивали военные в парке перед моим домом. А возможно, все дело в настое Маджа — возможно, он не так крепок. Как бы то ни было, но я проспала три дня кряду и до сих пор чувствую себя так, словно еще сплю. Мужья ко мне больше не являются. Но, уж простите мне это, как Вы выразились, суеверие, только я почему-то знаю, что они до сих пор здесь. Знать, что они где-то рядом, и не видеть их — это для меня даже страшнее, чем видеть их повсюду.

Мне вот только кажется странным, почему Вы так испугались, когда вошли в мою спальню. Вы, наверное, увидели моего Пола, как он вышагивал из угла в угол по комнате? Или смутились при виде Абрахама, склонившегося над постелью? Я не понимаю. Неужели Вы тоже их видите?

Шарлотта, я хочу, чтобы Вы мне поклялись. Есть одна ужасная вещь, которая давит на меня, но, прежде чем я поведаю Вам о ней, Вы должны поделиться со мной каким-нибудь секретом. Вы должны рассказать мне такую свою тайну, о которой не знает ни одна душа.

Но, пока не пришло еще от Вас это признание, это доказательство Вашей искренней дружбы, я расскажу Вам, что я сделала сразу после Вашего ухода. Вы, конечно, будете потрясены. А сделала я, Шарлотта, вот что. Я облачилась в одежду моих мужей — в бриджи Годфри, жилет Сэма, сапоги Абрахама и в шляпу моего дорогого Пола. Поскольку я сейчас очень похудела, то выглядела во всем этом как мальчик, и очень, скажу я Вам, убедительно выглядела в накладных бакенбардах Сэма (свои-то он никогда не мог отрастить). И вот, нарядившись во все это — Вы сейчас ужаснетесь, — я вышла из моего одинокого холодного дома на вечернюю улицу.

Какая это была прелесть, Шарлотта, — я почувствовала себя свободной! Мои душа и тело не чувствовали никаких уз. Я шла по людным улицам и видела множество военных — множество красавцев, смеющихся,

пьяных, пеших, конных и в экипажах, один даже «оседлал» слабоумного дурачка Пека, а тот смеялся, заливаясь слюнями. И никто из встречных не узнавал меня в этом мальчишеском обличье. А я упивалась этой людской толпой, в которой была как перст одинока. И вот наконец я оказалась у гостиницы «Кожаный Чулок».

За занавесками в освещенных окнах двигались тени, и от дверей вдоль улицы до самой лавки зеленика тянулась очередь из мужнин, ожидающих, когда их впустят. Переулками я пробралась на Вторую улицу, нашла там дверь кухни заведения моей сестры. В кухне никого не было, и я вошла. Там было грязно, очень грязно, повсюду тарелки с объедками пирожных и каких-то сладостей, даже мухи — это посреди-то зимы! Я прошмыгнула в гостиную. Там какой-то мужнина в шотландке играл на органе, звук его показался мне очень знакомым — уж не орган ли это из Темпл-Мэнора? Я помню, что видела в Вашем доме очень похожий — такой простенький, без украшений, со странным звучанием. Ведь это вполне в духе моей сестры — взять и украсть что-нибудь. Огромный красный попугай пронзительно верещал в клетке, а сидевшие в гостиной мужнины пили и громко хохотали. И моя сестра была там, в мужской одежде, громадная как гора.

Единственным дамским предметом у нее был павлиний веер. Она собирала деньги с мужнин на выходе.

Укрывшись за высоким растением в кадке, я стала наблюдать и ждать.

Некоторые из мужнин, что были там, Шарлотта, — осмелюсь снова привести Вас в шок, — это те, кого мы с Вами хорошо знаем. Я узнала даже отца Хенрика, этого немецкого католического священника, хотя он все время прятался за перегородкой на кухне. И Соломон Фолкнер был там. И Нэт Помрой. Даже доктор Споттер с его вечно влажным жирным лбом. Я могла бы назвать и многих других, но не буду. Я пряталась все время за этой кадкой с цветком, и, похоже, никто не замечал моего присутствия. Я была уверена, что сестра не видит меня, но она вдруг встала и громко объявила:

— Что-то, по-моему, дует. Угоститесь-ка пирожными, пока я разберусь с этим сквозняком.

Мужчины в гостиной очень обрадовались — по-видимому, эта фраза имела какой-то другой, только им понятный смысл. А Джинджер направилась к выходу, кивнув мне по дороге, чтобы я следовала за ней. Что я и сделала через минуту.

Джинджер поджидала меня за дверью. Закрыв ее за мной и

прислонившись к ней своей могучей спиной, она рассмеялась и сказала:

— Итак, Син, ты пришла навестить меня в моем заведении. Пришла, несмотря на траур по усопшему мужу.

В этой одежде — какое святотатство! — И она схватила меня за шиворот.

— Я пришла повидать свою сестру, узнать, как ты поживаешь, — сказала я.

— О-о, это хорошо, — проговорила она, удивившись.

Мы смотрели друг на друга. Потом из кухни на лестницу вышел юноша в зеленом женском платье, за ним священник. На прощание юноша чмокнул старика в щечку, потом повернулся к нам и его красивое лицо просияло.

— Ой, Папа Джин, — заговорил он нежным голосом, — а твоя сестричка так похожа на мальчика! И где только нахваталась таких повадок? Видать, в академии.

Джинджер рассмеялась, поцеловала его в губы и сказала ему:

— Иди. Иди работай, любовь моя. — Когда она, пропустив его в гостиную, повернулась ко мне, глаза ее еще похотливо сверкали. — Ну так что скажешь, Син? Работать сюда пришла? — И она шагнула ко мне, как будто собиралась обнять.

Пятась к выходу, я вскричала:

— Я порядочная женщина!

Джинджер поджала губы и уже не улыбалась.

— А я не то про тебя слыхала.

Я пришла в ярость и крикнула ей:

— А мне плевать, что ты про меня слышала, Джинджер! Убирайся ко всем чертям в ад!

Она усмехнулась и ответила почти шепотом:

— В ад? В ад далеко ходить не надо. Мы уже и так в аду, не так ли? И муженьки твои уже машут тебе ручкой.

Я убежала. Дома сердце у меня колотилось так, что мне пришлось выпить изрядную порцию Маджева снадобья. Проснувшись я только сегодня, то есть три дня подряд спала. Мари-Клод, хмурая и мрачная, принесла мне в постель чашку бульона. Я выпила его, и у меня появились силы, чтобы написать Вам это письмо.

Пришлите же мне, Шарлотта, доказательства Вашей верной дружбы и помогите мне выбраться из этой беды. Только сделайте это поскорее, сразу же как получите это письмо. Пожалуйста, Шарлотта, поскорее, а то я в полной растерянности.

*Ваш друг
Синнамон.*

* * *

С конторки Шарлотты Темпл, Франклин-Хаус, Блэк-берд-Бэй, Темплтон. 7 февраля 1862 года

Моя дорогая Синнамон!

Каких странных вещей Вы требуете от меня! Целых два дня я провела в растерянности и в раздумьях, пытаюсь решить, должна ли я выполнить Вашу просьбу, и все же пришла к выводу, что да, должна. Если кто и способен помочь Вам облегчить душу, то это буду я. На сегодня у меня есть два доказательства моей любви к Вам — две тайны, два признания. О первом, я уверена, Вы и так догадываетесь. Прошлой ночью я осветила фонарем в окне отцовского кабинета, и мсье Лё Куа откликнулся. Теперь, Синнамон, быть мне замужней женщиной, и это вселяет в меня радость!

А вот о второй тайне, я уверена, Вы бы никогда не догадались. Помните, как прошлой ночью бегали и кричали люди, как спешили пожарные бригады, и бил колокол? Это горело здание суда — возможно, Мари-Клод рассказывала Вам.

Так вот это была я, Синнамон, — я и есть тот самый поджигатель. Вы, конечно, спросите, как я могла сделать такое? Как, если в это время я находилась у себя дома в Блэкберд-Бэй, в целой миле от того места, в объятиях человека, которому предстоит стать моим мужем? Вы скорее всего не поверите мне, Синнамон, но я даже в точности и не знаю, как я это делаю. Знаю только, что у меня всегда так было — в моменты сильного эмоционального возбуждения я что-нибудь поджигаю. Вот и в ту ночь в Хайд-Холле, после того как открыла для себя коварство Сюзанны Кларк, я подожгла там какое-то строение, хотя не покидала своей комнаты. И я устроила пожар в типографии Финни в ту самую ночь, когда мсье Лё Куа признался мне в любви. И я устраивала все те пожары, когда еще не встречалась с мсье Лё Куа и очень печалилась, боясь, что никогда не стану женой и матерью! Да, это была я — та, на которую Вы никогда бы не подумали!

У меня всегда было так. Самый первый раз я устроила пожар на пустыре во Франции — я тогда была еще маленькой девочкой и думала, что отец собирается бросить нас. Я стояла и смотрела на пустырь, и от моего взгляда занялась пламенем какая-то сухая трава, огонь уже начал распространяться, но ветер затушил его. И потом, в одной лондонской

гостинице, когда моя сестра Дэйзи ударила меня по лицу за то, что я порезала платьице на ее кукле, я устроила пожар в гостиной, хотя играли мы тогда в парке на заднем дворе. А в нашу первую ночь в Темплтоне я подожегла сарай, и потом еще много-много раз случилось подобное. Однажды меня обидел мистер Вудсайд, строивший тогда особняк на холме, и я подожегла уже заложенный фундамент. И все эти недавние пожары в нашем городе — все они произошли из-за моего сильного волнения!

В прошлую ночь я была так счастлива, что у нас загорелся суд. Хорошо, что пожарная бригада так скоро работает, иначе бедные заключенные сгорели бы все заживо. Когда я нахожу в себе силы управлять своими эмоциями, я могу управлять и огнем. А когда я не могу, вещи сами собой загораются. Вот и здание суда, построенное моим обожаемым отцом, теперь сгорело дотла. Я могла бы сожалеть об этом, но мне не до того — я слишком счастлива.

Я не сомневаюсь, что Вы не поверите мне. Разве человек может обладать такой таинственной силой? Но, Синнамон, это суцая правда! И я докажу Вам это. Сложите дрова в камине сегодня к восьми вечера, но не поджигайте. А ровно в восемь я подожду их, и они займутся сначала зеленоватым, а потом золотистым пламенем.

Вот Вы и услышали от меня два самых сокровенных признания. Теперь Вы знаете все и можете заглянуть в мою душу. И теперь, пожалуйста, поведайте мне свои тайны, ибо мне не терпится, моя дорогая, облегчить Вашу тяжкую ношу! Только что я чуть не разорвала это письмо, но сдержалась и отправлю его, ибо доверяю Вам всецело.

Ваш дражайший друг
Шарлотта Темпл.

9 февраля

Шарлотта!

Простите мне эти торопливые каракули; я верю Вам — собственными глазами видела, как запылали дрова в моем камине. Я несказанно рада Вашему признанию — и вот Вам взамен мое. Ах, я уповаю только, что Вы не станете меня ненавидеть, но если я не сделаю это признание какой-нибудь сострадательной душе, то умру! А признание мое таково: я отравила своих мужей, нет, только троих, а Пол умер естественной смертью, упав с лошади. Годфри и Сэма я отравила стрихнином, Абрахама — мышьяком. Все это я получала от Маджа. Давая мне яд, он

шипел заговорищицки: «Да-а, ну и крупные же у вас крысы!» Я просто уставала от мужей, от их назойливых рук, вечно тянувшихся ко мне, уставала от того, что они вечно вламывались в мою комнату, никогда не давая мне побыть одной. Да, знаю, что я ужасный человек и попаду в ад. Но сейчас, когда я призналась Вам, они наконец уходят, я прямо чувствую, как они удаляются прочь, — какое же это облегчение! Они уходят, но я боюсь, что мне придется поступить так же и с Джинджер, — я уже чувствую в себе это возбуждение, оно появлялось у меня и раньше, перед тем как я собиралась травить. Она отравляет этот город, и значит, я должна отравить ее. Когда ее не станет, наш город обретет покой, наш Темплтон выздоровеет.

Ну вот, я сделала это. Теперь Вы знаете все. И Вы должны простить меня — ведь и я знаю Ваши секреты, а Вы теперь знаете мои. У меня такое ощущение, будто вся тяжесть мира свалилась с моих плеч, Я могу наконец дышать, Шарлотта, могу вздохнуть свободно!

Синнамон.

Эверелл-Коттедж. 10 марта 1862 года

Моя дорогая Шарлотта!

Вы излечили меня. Я несказанно Вам благодарна за то, что Вы позволили мне сделать мое признание. Три недели после того как отправила Вам ту записку, я находилась в горячке, но за последнюю неделю стала чувствовать себя лучше. Все это время Вы не писали мне — наверное, Вы заняты любовными глупостями. Кстати, на Вашем месте я бы была осторожнее с этим французом, до сих пор мне не представлялся случай сказать Вам, но, кажется, у него есть свои секреты. Вы у же отдались ему, и это весьма плачевно, но я спешу предостеречь Вас — не отдавайте ему свою руку. Я понимаю, как неприятно слышать такие слова в самом разгаре пылкой любви, но я подумала, что Вам следует услышать это от Вашего искреннего друга. Если Вы не верите мне или Вам нужны доказательства, то я могу предоставить их Вам — просто я была бы рада, если бы мне не пришлось этого делать.

Пожалуйста, напишите мне. Весенний ветерок уже начал растапливать сугробы, — и я прямо чувствую, как оживаю, как во мне просыпаются силы, которых не было всю эту ужасную долгую зиму.

Ваша любящая

Синнамон Эверелл Грейвз.

Эверелл-Коттедж. 15 марта 1862 года

Дражайшая Шарлотта!

Вы меня пугаете! Прошло уже около пяти недель, как я пишу Вам, а Вы до сих пор не отвечаете. Я жду в страхе и тревоге. Неужели Вы возненавидели меня? Боюсь, это так. Ко мне теперь вернулось душевное здоровье, вернулся сон и былая красота — даже Мари-Клод говорит это. Я не помню в точности, о чем писала Вам в том бреду, помню только, что поверила Вам мои самые мрачные тайны. Так неужели Вы не найдете в своем сердце места для прощения?

Ваш друг

Синнамон Эверелл Грейвз.

Эверелл-Коттедж. 20 марта 1862 года

Шарлотта!

Почему Вы до сих пор не пишете? Я боюсь Вас. Пожалуйста, напишите.

Ваша Синнамон.

22 марта

Ш., пожалуйста, напишите! Я боюсь, если Вы не напишете, то я сделаю что-нибудь неосмотрительное.

Синнамон.

* * *

24 марта

Мне все понятно — Вы осуждаете меня. Я не могу поверить, что Вы, так хорошо зная меня, все же предпочли отвернуться. Я знаю, что Вы понимаете, на что я способна. Бедная, бедная Шарлотта! Это последний раз, когда я питаю к Вам какую-либо жалость.

Синнамон.

Эверелл-Коттедж. 25 марта 1862 года

Mon cher Monsieur he Quoi!^[2]

Или мне следует называть Вас Monsieur Charles de la Vallee^[3]? Мы встречались, полагаю, на одном приеме в октябре — и Ваши ухаживания

за мадемуазель Темпл вызвали у меня тогда глубочайшую скорбь. Полагаю, Вам следует оставить всякие попытки преследования милой девушки и вернуться в Нант, где Вы, как выяснилось, служили префектом полиции и были посажены в тюрьму по обвинению во взятках. Возможно такое? И имя-то Вы себе взяли как у прислуги — какой стыд! Мой друг, живущий в Нанте, прислал мне объявление из тех, что были расклеены по городу после Вашего позорного бегства оттуда. Ваш портрет на нем, конечно, не льстит Вам. Но с другой стороны, и не противоречит Вашей сущности.

Желающая Вам добра

Синнамон Эверелл Стоукс Старквезер Стерджис Трейвз.

* * *

Академия Споттера, Темплтон. 27 марта

Chere Madame, Graves!^[4]

Должен Вас огорчить, но Ваше письмо меня ничуть не напугало. Даже напротив — оно подстегнуло меня к поступку, на который я до сих пор не решался. Я попросил мисс Шарлотту Темпл выйти за меня замуж, и она с радостью дала свое согласие. От своего прошлого, от большей его части, я теперь освободился и чист. Как это у вас говорят? Дышу полной грудью? А у нее, кажется, тоже имеются скелеты в семейном шкафу. Даже ее прославленный дед, как она сама рассказывала мне, и тот имел весьма подозрительные связи — судя по всему, с рабыней. Впрочем, Вам об этом, должно быть, известно. Да, я был свидетелем многих слез, когда поведал ей об обстоятельствах своей жизни, но я поспешил стереть эти слезы поцелуями. Да и что может значить чье-то там прошлое перед лицом столь ослепительного будущего, не правда ли? К этому выводу мы пришли совместно. Наша свадьба состоится 20 апреля в церкви Христа, где покоится прах ее предков. Мне следовало бы пригласить на этот праздник и Вас, но Вы сейчас в трауре, а свежееиспеченной вдове, как я слышал, не полагается выходить из дому прежде положенного срока.

Поскольку я ценю свободу не меньше денег, то некая часть меня сожалеет об этом моем шаге, который я теперь нахожу необходимым. Но у меня есть утешение. Мисс Темпл весьма мила, и ее огромное состояние позволит мне делать все, что мне заблагорассудится. Надеюсь, с этим Вы согласны?

С величайшим уважением и наилучшими пожеланиями Шарль «de la Vallee» Лё Куа.

* * *

Эверелл-Коттедж, Темплтон 29 марта

Мсье «Лё Куа»!

Я нахожу Ваше имя весьма для Вас подходящим — «Нечто». Точнее выразиться нельзя!

Возможно, Вашей будущей жене будет небезынтересно узнать, что Вы часто (три-четыре ночи в неделю) навещаетесь в один дом, снискавший в Темплтоне дурную репутацию. Тогда она, вне всякого сомнения, отменит вашу свадьбу и Вы останетесь ни с чем, в том числе без Вашей невесты и без всех ее денег. Очень возможно также, что в Академии Споттера Вас сочтут неподходящим для Вашей нынешней должности, после того как выйдут на свет эти новости. Представляю, каким позором это будет для Вас.

Ваш друг

Синнамон Эверелл Грейвз.

Академия Споттера, Темплтон. 1 апреля

Мадам Грейвз!

Прошу прощения, но этот день мы у себя во Франции называем «днем первоапрельских шуток», и в этот день люди дурачат друг друга кто во что горазд. Могу ли я считать эту Вашу угрозу как раз такой шуткой? Весьма печально то, что Вы не располагаете никакими доказательствами. Самые словоохотливые рты можно заткнуть деньгами, и они будут молчать. Кроме того, я сомневаюсь, что моя дорогая невеста поверит Вам, поскольку Вы, судя по всему, окончательно лишились всех друзей. Когда-то вы с ней были друзьями, но теперь она больше не упоминает о Вас. Откуда такая холодность, спрашиваю себя я, если еще совсем недавно она могла говорить о Вас только с теплотой? Пока я этого еще не понял, но обязательно разберусь, в чем дело. Я не могу не удивляться, почему Вы с таким рвением преследуете меня. Может, потому, что боитесь, как бы Ваша «подруга» не была счастлива? Вы просто не желаете ей счастья? Тут можете положиться на мою помощь, ибо я намерен выяснить причину. Если Вам угодно, предлагайте варианты, которые могли бы подстегнуть мое скромное любопытство.

Ваш покорный слуга

Ш. Лё Куа.

5 апреля (черновик)

Мадам Джинджер, прошу прощения за анонимность сего послания. Небезызвестная Вам персона желает Вам зла. Это обстоятельство было предметом моих раздумий многие ночи напролет. В конце концов я осознаю, что хоть Вы и пали столь низко и за Ваши грехи предстанете перед Высшим Судом, мой христианский долг — предупредить Вас. Если пожелаете откликнуться, оставьте записку под камнем под статуей Чингачгука и его собаки на берегу Саскуиханны.

Тот, кто не желает Вам зла.

6 апреля

Послушай, ты, «тот, кто не желает мне зла, но и добра тоже не желает»! Я не нуждаюсь в твоих предостережениях, кто бы ты ни был, хотя ясно, что ты женщина. Лживая изворотливая шлюха! Мне в жизни отродясь все желали только зла, и я могу позаботиться о себе сама. Ты считаешь себя христианкой — вот и молись за свою собственную душу, потому что гореть тебе в аду!

«Мадам Джинджер», как ты изволила выразиться.

* * *

Эверелл-Коттедж, 16 апреля 1862 года

У меня ушли на это недели, но я разговаривала с моим адвокатом и могу дать Вам 20 тысяч долларов самых что ни на есть законных средств — то есть все, что оставил мне после смерти отец. Если Вы явитесь ко мне домой в восемь вечера 17 апреля, я снабжу Вас быстрой лошадью и деньгами в переносном сейфе. Вы подпишете соглашение, по которому не сможете больше вернуться в Темплтон. Если Вы готовы его подписать, то сегодня же сообщите мне об этом письменно.

С.Э.Г.

Академия Споттера. 17 апреля

Эх, наконец-то Вы заговорили на понятном мне языке, мадам Грейвз!

20 тысяч долларов — это, конечно, лишь жалкая часть состояния мисс Темпл, но зато мне не придется ближайшие тридцать лет сюсюкать и выслушивать ее детский лепет. Итак, я согласен и приду к Вам сегодня. Если бы Вы только знали, мадам, какую тяжесть помогли

мне сбросить с плеч!

Лё Куа.

Эверелл-Коттедж, Темплтон. 18 апреля (черновик)

Дорогая «Папа Джин Стоун»!

Вот, наконец, нам и есть о чем поговорить. Сегодня я отправила куда подальше одного из твоих лучших клиентов — мсье Лё Куа. Но в качестве компенсации посылаю к тебе мою служанку Мари-Клод. Она, возможно, в слезах — я уволила ее, а ведь на деньги, что я платила ей, она кормила семью. Быть может, ты найдешь ей применение. Она девушка прилежная и работающая, и от нее будет толк даже в таком заведении, как твое. Кроме того, она довольно мила, так что не исключено, что подойдет тебе и для каких других целей. Я бы порекомендовала платить ей 50 долларов в месяц — бедная дурочка будет считать это целым состоянием. Прими также это ореховое печенье, что я тебе посылаю. Сегодня утром у меня случился такой каприз, и я напекла — только что-то уж больно много. Вот бы нам стать друзьями, Джинджер, — я ведь очень одинока.

Эверелл-Коттедж, Темплтон. 18 апреля 1862 года

Шарлотта!

Вы презираете и осуждаете меня — прекрасно! А как Баш французский друг — не запропастился ли он куда сегодня? Он говорил мне, что на сегодня у вас назначено обсуждение со священником вашего венчания, которое должно состояться через два дня. Но увы, француз-то Ваш так и не появился. А когда Вы послали в Академию разузнать, что случилось, то оказалось, что он исчез. И сальный старый доктор Споттер не знал, куда деваться от смущения, — все вещи французса тоже исчезли. Увез с собой, вот ведь крыса! Эх, бедняжка Вы, бедняжка! Конечно, это я добралась до него. Нет, он жив, только скачет сейчас в Олбани, где пересядет на дилижанс до Бостона, где начнет потом новую жизнь. Для Вас он оставил записочку, которую я и прилагаю.

«Шарлотта, душенька, я больше не мог лицемерить. Если уж на то пошло, свою свободу я любил больше, чем Вас. В утешение Вам скажу только, что Вас я тоже любил — по-своему, в какой-то момент. Желаю Вам счастья. Шарль».

Вот видите, моя дорогая? Вас он тоже любил! Вот и хорошо. А еще

лучше то, что он все-таки покинул это прибежище воров, это гадючье гнездо, коим я только и могу назвать наш отвратительный городишко Темплтон. Содом и Гоморра — разве нет? Так что, как видите, я оказала Вам любезность.

*Ваш друг
Синнамон.*

Эверелл-Коттедж, Темплтон. 20 ноября 1862 года

Дорогая мисс Темпл!

Осмелюсь предположить, что Вы еще помните меня, хотя не писали мне уже очень давно — с апреля, если не ошибаюсь. Сегодня до меня дошли слухи, что Вы собираетесь вернуться в Темплтон и привезти с собой Вашего «племянника». Надеюсь, Вам хорошо жилось в Манхэттене у Вашей сестры Дэйзи — жалость вот только, что она так скоростижно скончалась вскорости после смерти своего дорогого мужа. Особенно жаль ее осиротевшего младенчика, который почему-то родился через месяц после того, как она сошла в могилу. Каково было ей, бедняжке, рожать в таком-то неудобном положении! Поистине чудо из чудес! Но Вы не извольте беспокоиться — никто здесь не знает настоящей даты ее смерти. Разве что я — я переписывалась с Вашей сестрой Маргаритой, и она случайно обмолвилась. Вашего секрета я никому не раскрою.

Бог мой, да сколько секретов мы с Вами знаем друг о друге, не так ли? Вот, к примеру сказать, как в ту злополучную апрельскую ночь полыхал чуть ли не весь Темплтон. Вы ведь помните? Ну конечно, помните. Звон колоколов, четыре пожарные бригады, добровольцы из Академии, весь город на ногах, все полки — и все равно почти вся Вторая улица выжжена дотла! От отеля «Игл» до лавки зеленика и даже дальше пекарни Шнайдера! Выгорело все, даже то, что стояло там со времен Вашего деда! Даже, представьте, эта миленькая гостиница «Кожаный Чулок». Вообразите — оттуда вытащили потом четыре обгорелых женских скелета и один, принадлежавший юноше. И никто не признался в знакомстве с ними, кроме одной могучей женщины, купившей эту гостиницу у братьев холостяков из Йорка. Вы, конечно, спросите, почему эти несчастные не смогли спастись от пожара? Почему не проснулись среди ночи, не вскочили и не выбежали из горящего здания? Кто их знает почему!..

Город потихоньку отстраивается заново, хотя многие так и не

забыли того страшного пожара. Старая матушка Гудинг нашла свою смерть в огне в своей комнатухе над шорной лавкой, где она прожила столько лет. И конечно, та же участь постигла слабоумного сына адвоката Дирка Пека, этого слюнявого дурачка, что вечно хватал себя за неприличные места в присутствии женщин. Говорят, он находился как раз в той постройке, откуда начался пожар, — некоторые даже считают его виновником бедствия, и эта новость Вас, возможно, порадует.

Кстати, о Дирке Пеке. Я по мере своих возможностей утешала этого беднягу, этого сказочно богатого адвоката. Красивый мужчина, между прочим, и, между прочим, тайно попросил моей руки, и я тайно дала согласие, только поженимся мы, когда я полностью буду свободна от траура. Мне он нравится, так что очень может быть, я оставлю его себе.

Да! Слыхали ли Вы о поимке Вашего женишка в Бостоне? Вот ведь настоящий позор — он пытался скрытно проникнуть на судно, следовавшее на Мартинику, и поймавший его французский лейтенант вспомнил его еще по тому скандалу в Нанте. Говорят, Ваш герой был сыном мсье Де Ла Валле и, скрываясь, взял себе имя своего слуги — Лё Куа. Вот ведь какой нелепый и смешной конец.

И последнее. У меня есть пачка писем, в обладании которыми Вы, возможно, заинтересованы. У Вас же есть пачка писем, в обладании которыми заинтересована я. Так вот, не могли бы мы устроить обмен? Мы могли бы обсудить это, когда Вы вернетесь в наш очаровательный город. С нетерпением жду возможности расцеловать в щечки Вашего племянника. Он, наверное, еще пока лысенький, но я надеюсь, со временем у него отрастут такие же, как у Вас, каштановые с рыжинкой густые роскошные волосы.

С самыми теплыми пожеланиями

Синнамон Эверелл и т. д. и т. д., в скором времени Пек.

Постскриптум. Я забыла упомянуть о самом важном событии той злополучной пожарной ночи. Возможно — вернее, я даже не сомневаюсь, — что Вы знаете: Темпл-Мэнор тоже сгорел. Портреты Ваших деда, бабки и отца были спасены из огня Помроями. Но вся мебель, к несчастью, погибла. Вы не представляете, какие ужасные чувства испытываешь, когда бродишь среди пожарища, среди этих обгорелых останков. Обугленные балки, словно ребра мертвого кита, на черной земле лужи ртути, вытекшей из зеркал. Такая богатая история — и сгорела как

есть за одну ночь! Я сочувствую Вашей потере.

** * **

Дом Кэпстэнов, Парк-Стрит, Манхэттен, Нью-Йорк. 1 декабря 1862 года

Синнамон!

Скажу Вам без обиняков — Вы опасная женщина. Это так, но и я не менее опасна. Ваших писем я Вам не верну. Эта пачка будет служить мне единственной защитой от Вас. Эти письма и, возможно, еще пожар, который я могла бы вызвать, если понадобится, даже отсюда. Уверена, что Вы не хотели бы потерять Эверелл-Хаус.

Ваши сплетники Вас не подвели — я действительно возвращаюсь в Темплтон. Моему племяннику лучше будет расти в моем родном городе. Но кое в чем Вы ошиблись — Вы никогда не будете целовать его щечки или дивиться его пышной рыжей шевелюре. Вы даже никогда не обмолвитесь с ним и словом. Если узнаю, что он разговаривал с Вами, то могу потерять терпение, и Вы, конечно же, понимаете, что случится тогда.

Для всего Темплтона мы просто будем знакомыми, будем держаться в разумных цивилизованных рамках. Мы никоим образом не будем соприкасаться или пересекаться, поскольку мы и впрямь принадлежим к совершенно разным социальным классам. Люди всегда, не скрывая этого, удивлялись, почему я держала двери своего дома открытыми для Вас. Вас называли интриганкой и черной вдовой — в честь паучихи, которая поедает своих самцов. Это сравнение у меня всегда вызывало только смех. Я объясняла тогда людям, почему помогаю Вам продвинуться выше в обществе — потому что Вы хороший человек. Хороший и добрый человек, говорила им я, а главное — прекрасный друг.

Прощаться не буду, так как это послание — последнее.

Шарлотта Темпл.

**ВОТ КАК ВЫГЛЯДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИЛЛИ О ЕЕ
РОДОСЛОВНОЙ ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С ПИСЬМАМИ
СИННАМОН И ШАРЛОТТЫ**

Шарлотта (Шарли) Франклин Темпл

1827–1912

Филипп Де Ла Валле (он же мсье Лё Куа)

1798–1869 (умер в тюрьме)

(Генри был настоящим родным сыном Шарлотты и мсье Лё Куа)

⋮

Генри Франклин Темпл (незакон.)

1862–1939

мисс Ханна Кларк (в 1909 году)

1888–1979

⋮

Сара Франклин Темпл

1913–1933

м-р Астерикс «Сай» Алтон

1895–1953

⋮

Джордж Франклин Темпл Алтон

1933–1973

мисс Фиби Типтон

1923–1973

⋮

Вивьен Алтон

1955 –

(неизвестный темплтонец)

⋮

Вилли «Солнышко» Алтон (незакон.)

1973 –

Глава 19

КАЖДЫЙ ВИДИТ В СВОЕМ СВЕТЕ

Оторвавшись от писем Синнамона и Шарлотты, я обнаружила, что вся дрожу.

Прочитав в свое время дневник Сары Франклин Темпл, я, помнится, увидела Темплтон совсем другими глазами — город представился мне тогда таким, каким был в ее времена. Теперь же, после писем Синнамона и Шарлотты, я видела только глубокую густую полночь, окутавшую мой город. Я не знала, что и подумать. Весь день, а потом еще и целую ночь напролет я читала и перечитывала эти письма. И мне казалось, что это какая-то мистификация, плод жаркой возбужденной фантазии какого-то писателя, какой-то утраченный незаконченный роман. Но от писем этих веяло старомодным ароматом розовой воды и кружевами, рассыпающимися от старости, письма сами словно бы рассыпались от времени. И какими разными были эти письма — и почерк, и даже сама бумага. У Шарлотты почерк был мелкий, изящный, уверенный, бумага тонкая, дамская. Синнамона же, напротив, писала на очень плотной добротной бумаге, а почерк ее, особенно издали, казался витиеватым. Однако при ближайшем рассмотрении он выглядел как неуверенный и размашистый, отличался множеством помарок в наиболее трудных словах, будто автор посреди слова прерывался, чтобы свериться со словарем относительно правописания.

— Неужели эти письма настоящие? — спросила я у Комочка.

Несколько часов спустя, когда луна переползла на противоположный берег озера, я ответила сама себе.

— Да, думаю, они настоящие, — сказала я и тут же вспомнила экскурсию в пятом классе, на которую водил нас мэр и где мы тогда узнали, как Темплтон однажды сгорел дотла. «Вся Главная улица от Темпл-Мэнора до того места, где сейчас стоит пекарня Шнайдера, и дальше, до самой Церковной улицы, все это дымилось тогда обугленными руинами, — вещал своим густым оперным басом мэр и широко разводил руками. Потом, уже проникновенным голосом, прибавил: — И все же, ребята, город отстроился заново. Мы, темплтонцы, всегда поднимали свой город из пепла». И пока он рассказывал, я представляла себе те руины и

десятицентovou пышку со сладкой глазурью из той самой пекарни. Это упоминание о знаменитом темплтонском пожаре меня тогда ничуть не поразило — видимо, подобного рода знания обитатели маленького городка впитывают с молоком матери.

Оторвавшись теперь от прочитанных писем и глянув за окно на темный спящий город, я увидела его на этот раз другим. У меня было ощущение, будто я освободилась от своего тела, вознеслась над крышей дома и, глянув оттуда вниз, увидела совсем другой Темплтон, в котором жизнь кипела даже в самый смутный предрассветный час. Мне казалось, я слышала, как храпят солдаты в палатках разбитого у реки лагеря, слышала шаги ночной стражи по мерзлой земле. По Главной улице волочились припозднившиеся подвыпившие гуляки — в серебристом лунном свете они напоминали каких-то копошащихся светлячков. Это была совсем другая, незнакомая мне Главная улица, такая, какой она была до знаменитого Шарлоттино пожара, — и здания, и все постройки здесь были другие. От гостиницы «Кожаный Чулок» змейкой вилась живая очередь из мужчин; мне даже казалось, я слышу их приглушенный говор. На холме напротив пресвитерианской церкви в огромном здании на последнем этаже спали в своих кроватках мальчишки, ученики Академии. На веранде отеля «Отесага» уже вдыхали целебный утренний воздух туберкулезники. Задворки больших особняков освещались фонарями; слуги, уже на ногах в этот ранний час, выпекали хлеба на день. Город выглядел промерзшим (повидимому, стояла зимняя пора), но жизнь в нем бурлила. Я чувствовала запах горящих дров и тающего льда, спертый чесночный дух множества людей. Это был город Синнамон и Шарлотты, город, взбудораженный событиями тех военных лет. Живи я здесь в те времена, я бы никогда не подумала, что через сто пятьдесят лет этот бурлящий, кипящий жизнью город превратится в нынешнее захолустье.

Моя мать накануне после ночной смены молча принесла мне на подносе еду, когда увидела, что я не спускаюсь к обеду. В глубокой задумчивости я смела целый кусок моей нелюбимой мясной запеканки и заметила это, только когда мать вернулась забрать поднос и усмехнулась, обнаружив, что та полностью исчезла. Я слышала, как в девять она отправилась спать и как потом дом словно ожил, заскрипел на все лады косяками и половицами, этими жалобными трехсотлетними ревматическими стонами. Очнувшись утром от моих раздумий, я с сожалением смотрела на этот современный, вылизанный к услугам туристов город, чьей слащавости не мог прикрыть даже туман, рассеивающийся от солнечного света.

Пока мать отсыпалась, я работала в саду. Мне еще требовалось переварить все, что я узнала о Синнамон и Шарлотте, и я не хотела продолжать расследование, не переговорив прежде с Ви. Еще очень многое мне предстояло осмыслить — что Генри был сыном Шарлотты, а не усыновленным ребенком одной из ее сестер; что сама Шарлотта была поджигательницей и что Синнамон убивала своих многочисленных мужей. С определенной долей уверенности я могла утверждать, что обе эти дамы были предками моего отца, но узнать это наверняка я могла только у Ви.

Над всем этим я и размышляла, пока ковырялась в огороде, собирая на грядках зеленую фасоль и сочные помидоры. Я выдирала из салата сорняки, а под широкими листьями на соседней грядке нашла пузатую малютку тыковку. Я набрала полную корзинку малины и передала целые полчища медных японских жуков-вредителей. Когда я вернулась в дом, мать уже встала и верещала на весь дом под холодным душем. Проходя мимо столовой, я заметила во рту у игрушечной лошадки на столе письмо, которое туда засунула по своей обыкновенной рассеянности Ви. Письмо было адресовано мне.

Куда: штат Нью-Йорк, Темплтон.

Кому: Вилли Антон.

Так вот коротко.

Почерк принадлежал Праймусу Дуайеру, на конверте — штамп Аляски. Это я только и успела разглядеть, когда на пороге появилась моя мать, на ходу вытиравшая волосы полотенцем. Увидев меня чуть ли не в полуобморочном состоянии с письмом, зажатым в руке, она воскликнула:
— Ой! Что это ты, Вилли?

* * *

Придя в себя, я обнаружила, что сижу в кресле, а мать по другую сторону стола, хмурясь, бегло читает вскрытое ею письмо.

— Ви, это ж мне адресовано, — возмутилась я.

Она сложила письмо и повела бровью.

— Может быть. Однако я не уверена, что ты захочешь это читать.

Я только тихо охнула.

— Может, мне прочесть его вслух? — предложила она, и я лишь теперь заметила, что она рассержена. Очень рассержена, и в кои-то веки не на меня.

— Ладно, читай, — согласилась я, а она уже и так начала.

— «Вильгельмина, — прочла она отрывистым стаккато. — Я до сих пор не могу поверить тому, что произошло. Надеюсь, ты понимаешь, как я сожалею о случившемся. Бедняжка Джен все еще намеревается подать в суд, хотя вроде бы потихоньку начала отходить. Я знаю ее хорошо, так что гарантирую, что через неделю все будет в порядке. На следующей неделе еду в Фэйрбэнкс, оттуда попробую позвонить. Мы собрали огромное количество материала для опубликования нашей теории. Ты, конечно, понимаешь, что это значит! И не волнуйся — тебя обязательно включат в состав авторов. Нам вообще нужны такие хорошенькие молоденькие научные сотрудники, а то эти старые толстые профессора уже надоели. Ха! Ой, Вилли, ты не представляешь, сколько шуму мы с тобой понаделали! Надеюсь, после всего этого ты меня не возненавидела. Я-то тебя, конечно, простил — я же понимаю, что ты была в большом расстройстве, когда пыталась задавить бедняжку Джен. Сейчас мне надо уже бежать (тут, разумеется, никто не знает, что я пишу это), но я часто думаю о тебе. Нежно любящий тебя Праймус».

Я смотрела на мать, она на меня. Комочек судорожно ворочался у меня в животе. Я выхватила у Ви письмо, перечла его еще трижды и только на третий раз поняла всю его оскорбительность. Я вскочила, бросилась в ванную и там вывернула из себя наружу весь свой импровизированный овощной ленч. Когда я вышла, мать встретила меня молча, раскрыв руки для объятия, и я бросилась в них, уткнувшись лицом ей в плечо. Так мы и стояли в прихожей, я прижималась к матери, а ее крест врезался нам в животы, пока я не отодвинула его в сторону.

— Вот теперь я понимаю некоторых баб, — сказала Ви. Ну, ты понимаешь каких?

— Лесбиянок, да? — уточнила я.

— Да, их. Потому что из-за таких вот бесчувственных болванов, как твой Праймус, им больше ничего не остается.

— Да, — согласилась я, вдруг почувствовав себя очень хрупкой и уязвимой. — И знаешь, по правде говоря, мне очень хочется отгородиться от игрек-хромосом навсегда.

Мать обхватила руками мое лицо и посмотрела мне в глаза.

— Если хочешь, я могу тебе это устроить. В Сан-Франциско у меня еще остались кое-какие связи.

— О-о, это мне, считай, повезло, — ответила я, и мы обе рассмеялись.

За окном прошелестел туристский автобус. На подоконнике пересмешник попытался завести свою робкую песню. А мать смеялась, и крест у нее на груди раскачивался, как маятник, отсчитывающий

мгновения жизни.

В тот вечер мы с матерью долго гуляли по Темплтону. Сумерки перешли в темноту, и окна в домах начали перемигиваться электрическим светом. Жар дня сменился приятным теплом, люди семьями выползли из домов посидеть на крылечках и на скамейках — поболтать, поесть мороженого и полюбоваться издали умиротворяющим мельканием летающих над холмами светлячков. Туристы разбрелись и разъехались, город снова принадлежал местным жителям, вот тогда-то мы с Ви и выбрались — робко, как большеглазые антилопы, попасть на родных пастбищах.

Ви шагала со мной рядом, и ее грудь колыхалась. Я заметила, что и грудь у нее теперь трясется и что она стала сильно косолапить. Она тоже украдкой поглядывала на меня, пока мы бесцельно блуждали по знакомым до боли улицам. Мой город возвращался ко мне, постепенно проникая под кожу. Я чувствовала, как его острые края ворочаются там у меня внутри.

Чтобы не впасть в раздумья, я сказала:

— Кстати, очень мило было вчера официально познакомиться с твоим благоверным.

Мать искоса посмотрела на меня:

— Вот и отлично.

— И он, похоже, хороший человек.

— Да, хороший. Даже очень хороший.

— Это неудивительно — все-таки священник. А как это у вас случилось? На почве религии или наоборот?

— Я целый год сидела на задней скамье в церкви, — объяснила Ви. — Не верила, конечно, ни во что, а все меня туда почему-то тянуло. И вдруг как-то сразу это пришло ко мне. Вера, любовь. Просто однажды я подняла глаза и увидела сразу и то и другое — его лицо прямо излучало их.

— Любовь? Лицо излучало любовь? — Я изо всех сил старалась не скорчить рожу.

— Да.

— Слушай, но это же великолепно. Просто великолепно.

— Солнышко, только давай без издевок.

— Конечно, конечно! Только ты мне вот скажи, Вивьен Алтон, с чего это ты вдруг стала везде ходить с этим крестом? Выставляешь его напоказ — такое впечатление, что ты просто помешалась на этой вере.

— С этим? — Ви ткнула пальцем в свой крест. — Во-первых, некоторым из нас это просто нравится. Тяжелый крест на шее напоминает

о том, что мы должны творить добро. Правда, Джон поначалу задумал это для дела — чтобы мы смогли насобирать побольше денег для нашего города-побратима в Кении, где мы намереваемся построить клинику. Джон хоть и называет это визуальной памяткой, но на самом деле, я думаю, это такой своеобразный пассивно-агрессивный способ усовестить людей и сподвигнуть их на пожертвования. Те, кто не относится к пастве, дают нам деньги, чтобы не чувствовать вину всякий раз при виде наших крестов. А те, кто относится к пастве, дают деньги благодаря такому вот напоминанию на груди. Что касается меня, то мне этот груз на шее очень нравится. Хорошая памятка.

— Да, просто и гениально. Безотказный этот ваш пассивно-агрессивный способ.

— Ну да, я не люблю хвастаться, но это все Джон выдумывает.

Мы уже подходили к дому, но обе почему-то замедлили шаг, словно что-то удерживало нас.

— Скажи мне вот еще что: ты спишь с ним, когда ходишь к нему ночевать? — спросила я.

Мать остановилась и посмотрела на меня. Мы уже зашли в гараж, и я вдруг покраснела, вспомнив свое недавнее приключение с Фельчером здесь.

— Нет, — ответила она. — Джон не признает секса до женитьбы. А я о женитьбе как-то не склонна думать. Так что тут у нас ничья.

— А чем же вы тогда занимаетесь, когда ты у него ночуешь?

Слегка поморщившись, она ответила:

— Только не падай в обморок. Мы подолгу молимся. Перед ужином, до ужина, перед сном. Потом надеваем пижамы, и я ложусь под одеяло, а он рядом, но поверх одеяла. Он обнимает меня, и так в обнимку мы спим всю ночь.

Сия картина вызвала у меня отвращение, и это, видимо, было заметно, потому что Ви с горьким смешком проговорила:

— Да, знаю, выглядит это, конечно, жалко и убого, но иногда я проснусь среди ночи, почувствую на себе его руки, и знаешь, как приятно становится! Уютно так. — Она нежно потрепала меня по щеке и прибавила: — Не так уж это и плохо, Вилли, поэтому не надо так сочувственно на меня смотреть. Я буду надеяться, что когда-нибудь и ты поймешь это.

— А я и так понимаю, — отозвалась я, но как-то не очень уверенно, и, вспомнив студенческие годы, прибавила: — Мне кажется, понимаю. — Заметив на лице Ви недоверие и подумав о Праймусе Дуайере, я, уже входя

в дом, сказала: — Точно понимаю.

Сама я думала о Клариссе. Мне казалось, она в этот момент тоже думает обо мне, и я сразу же схватила трубку звонящего телефона.

— Господи, как я рада тебя слышать! — с ходу воскликнула я. — У тебя когда-нибудь было ощущение, будто все вокруг бушует, а ты чувствуешь, что находишься в тихом эпицентре этой бури? Как раз такой денек у меня сегодня и выдался. Ничего ужасного как будто не происходит, а как подумаю о том, как все ужасно, так прямо дрожь пробирает. Ладно, не слушай меня, гадину, я же даже не спросила, как у тебя дела. Ну так как у тебя дела?

— Дела отлично. А в эпицентре бури я каждый день. Господи, ты даже не представляешь, как мне приятно слышать твой голос! Я-то думал, ты разозлилась на меня и больше никогда не захочешь со мной разговаривать, моя королева.

Только теперь до меня наконец дошло, что голос в трубке мужской, а еще через секунду я сообразила, что разговариваю с Иезекилем Фельчером. Я, конечно, растерялась, а он после долгой паузы сказал:

— А ты сейчас не со мной говорила. Ты меня приняла за кого-то другого, так ведь?

Я хотела бросить со злости трубку, но почему-то ответила:

— Ничего, ничего, ты продолжай.

В трубке вдруг послышалась гитара и чей-то приятный мелодичный голос. Голос я узнала — Питера Лейдера. Питер пел очень душевно, у меня аж слезы на глаза навернулись. Когда пение закончилось, я попросила Фельчера:

— А позови Питера Лейдера.

В трубке что-то зашуршало, и Питер Лейдер уже не певческим, а своим обычным голосом проговорил:

— Привет, Вилли!

— Питер-Лейдер-Пудинг-Пирожок, не вздумай целоваться с девчонками и доводить их до слез, — сказала я и повесила трубку.

Глава 20

БЕЗЫМЯНКА

Сначала было «до», потом «после».

«До» было огромным. Я бежала по траве среди деревьев, и сучки больно кололи ноги. Мое племя беззвучно пробиралось в ночи, преследуемое чем-то темным и дурным. А еще помню себя рядом с матерью — как сидели мы, склонив головы над «Королем Яковом»^[5], над страницами, похожими на листы выделанной кожи, и как палец ее водил по словам, что шептала она мне в самое ухо. «И земля тогда еще не имела формы, была она просто пустотой; и бездонная тьма выступала на поверхности глубин. И Дух Божий витал над этими бескрайними водами». Эти странные чужие слова слетали с ее губ, и звуки эти были как сверкающая чешуей рыба. Вот мать гладит меня по щеке и обнимает крепкой своей рукой. А лицо отца все печальнее и печальнее.

«После» было по семь шагов в каждом направлении — коричневый земляной пол хижины, пропахшей мясом и духом человеческой плоти. Тесная грязная комнатуха, где никому не было до меня дела, где никто ни разу не прикоснулся ко мне и где кожа моя так изнывала по человеческому теплу. Темнота и сладковатый дым трубки, что курил Дэйви, его чудной приглушенный смех и дедовы травы, развешенные сушиться под потолком. Одна в этой хижине целыми днями напролет, и только звуки гудящего внизу города, невидимого, но такого живого и манящего. «После» оно было как оленья линька раз в год; дед у очага как хлопающий крыльями филин. Руки его проворными птицами снуют туда-сюда — плетут, шьют, чинят, латают. Перевернутый рожок месяца над озером. И я тоскую по синеве неба в этой хижине, которую не могу оставить. Тоскую и молчу.

А озеро полно шорохов и звуков, полно бесконечных мерцающих огней.

Между «до» и «после» была история моего деда — он плел ее как косу, прядь за прядью. Он рассказывал ее долгими вечерами у дымного костра, степенно, неторопливо, всякий раз начиная со слов: «Отцом твоим, жавороночек мой, был вождь Ункас, а матерью твоей была Кора Манро. Многие годы твоему племени угрожали колонисты, поселившиеся на

западном берегу озера. У них были ружья, и твое племя вынуждено было уходить глубже в леса».

Мой дед всегда говорил, что когда-нибудь я найду своих родителей.

Была осень, когда Дэйви и мой дед ушли на запад от озера искать мою семью, чтобы провести остаток своих дней с племенем. Но везде они находили только теплые еще угли костра и запах людей в воздухе. Последний раз они опоздали всего на несколько часов, и стан уже был припорошен снегом. Все было припорошено снегом — и младенцы, насаженные на штыки, и головы их матерей с мертвыми пустыми глазницами. Были там мой отец и мать, голые к обугленные, в объятиях друг друга. Ункаса удалось узнать только по томагавку за плечами, Кору — только по отцовскому перстню с печаткой, зажатому в руке.

Дед мой чуть не лишился жизни, когда увидел их. Они с Дэйви плакали, когда копали мерзлую землю, и похоронили каждого.

А позже, когда пришла ночь, дед молился у костра за их души. И тогда я, голенькая и посиневшая от холода, с окровавленным лицом и ногами, выбежала из зарослей и бросилась к огню. В глазах моих дед узнал моего отца, и в моем щуплом детском тельце — мать. И несмотря на горе, превратившее его в камень, он чувствовал, как жизнь вновь загорается в нем. Замерзшими пальчиками я потянулась к жарившейся на вертеле ондатре и, отщипнув кусочек еще сырого мяса, затолкала его в рот. Дед бросился вытаскивать его у меня изо рта и ужаснулся, так как не мог понять, где мясо, а где язык. Во рту у меня было сплошь кровавое месиво. Я откусила себе половину языка. А было мне четыре годика.

Они вернулись в Темплтон и, не зная моего имени, временно окрестили меня Безымянкой. А я была немая и не могла сказать им свое имя. Другого имени мне так и не придумали. Из дома меня никуда не выпускали, так как женщин было мало в тех краях, а индианок и вовсе не считали там за людей. Страшно было представить, что сотворили бы даже с такой маленькой девочкой изголодавшиеся по женской плоти поселенцы, попадись я им на глаза. Так говорили дед и Дэйви, но мне тогда было невдомек, что они имели в виду, пока однажды я не узнала это на своем опыте.

А та ночь осталась у меня в памяти, хотя и какими-то обрывками — словно вспышки молний во тьме. Тот последний вечер с матерью и отцом, холодный и тихий вечер, когда мы нашли место для стоянки и начали разбивать лагерь. Я утщила у матери книжку и разглядывала ее, пока мать разговаривала с другими скво. И вдруг отец обернулся, издал боевой клич и ринулся куда-то. А потом смятение, шум, крики, лошади и люди, кровь.

Какой-то поселенец повалил меня на холодную землю, я помню боль и фонтан крови на том месте, где только что была его голова, и помню отца с окровавленным томагавком, помню, как он унес меня оттуда под мышкой и посадил повыше на дерево. А потом крик матери, отец бросился к ней, а я осталась на дереве как была, с книжкой в руке. Все полыхало вокруг, а потом наступила тишина. Долгая, нескончаемая тишина. Целую вечность сидела я на том дереве.

Когда я спустилась вниз, костер деда закружился у меня перед глазами. От запаха ондатры на вертеле меня пробил дрожь. Пока шла к костру, я выплюнула мясо, что нашла у себя во рту. Это был мой собственный язык.

Так огромный мир, в котором я доселе жила, сузился до крохотного и тесного, такого тесного, что даже самые крохотные вещи там становились огромными. Дважды в день еда, и каждая как праздник. Когда дед рассказывал истории, это было как упоительный восторг, как танцы, которые я смутно помнила, ножные танцы у костра. Моими друзьями были мухи, а братьями — собаки, и я часами глядела в окно, любуясь ползущими изменчивыми облаками и тенью, которую они отбрасывали на лес. Все эти годы сидела во мне пустота, яйцеобразная пустота и боль, и время тянулось долго, как нескончаемая ночная тьма. Я предавалась мечтам и плела корзиночки и все время смотрела на свою книгу в коричневых пятнах крови, а потом Дэйви дал мне какие-то письма и я научилась читать. Медленно, мучительно я читала о событиях, которых не могла до конца понять.

Старый чудак Дэйви был моим суженым. Я знала это всегда — слышала, как они с дедом это говорили. И он был так добр ко мне, обращался со мной бережно — только бы не посмотреть на меня лишний раз, не коснуться, особенно когда я уже выросла. Но он отдавал мне свое сердце — в похлебке, которую варил, и вместе с первым весенним цветком, трепетавшим, когда он дарил его мне. Он был мне настоящим дядюшкой, а в двенадцать лет я задумалась над тем, что такое муж. Однажды, когда Дэйви еще не вернулся с охоты, я спросила у деда, спросила знаками, как он учил меня, но он только пыхтел своей трубкой и смотрел на меня молча, пока я угрюмо не ушла в сторонку. Мне хотелось зашвырнуть куда-нибудь подальше эту его трубку, но вместо этого я ласкала за ушки щенка.

Тогда я только притворялась, что мне хорошо, но хорошо мне не было.

Я старалась держаться поближе к двери, а наружу было нельзя — накажут. Только через два года, когда мне было шесть, я осмелилась высунуть за порог ножку, даже не ножку, а только мысок. И целый год,

когда дед уходил в город продавать свои корзины, а Дэйви охотился в лесах, я грела мысочки на ласковом теплом солнышке. И по ночам я еще чувствовала в пальцах это дневное тепло, и в душе моей тогда бушевала необузданная радость. Дед смотрел на меня, и я отворачивалась, и Дэйви сидел рядышком, рассказывал, курил в тепле и уюте и ничего не замечал.

Через год я осмелела и высунула за порог плечо и всю ногу целиком, подставив их ласковому ветерку. А еще через год или два я уже выходила постоять в соснах и, как пугливая олениха, прислушивалась там к каждому шороху и, только заслышав шаги Дэйви еще в полумиле от дома, бегом мчалась обратно в хижину. Когда меня спрашивали, не хочу ли я еще печеной картошки или кленового сиропа, я частенько говорила обратное, скрывая свои желания и храня эту свою маленькую ложь внутри как теплый камушек. А потом по ночам, лежа без сна, беззвучно смеялась. И неделями, искупая стыд, вела себя прилежно — убирала хижину, плела корзиночки. А затем все повторялось снова — я снова лгала, и дед внимательно смотрел на меня, и я, пристыженная, снова становилась прилежной.

На десятом году жизни я отважилась сделать двадцать шагов к озеру, которое манило меня и пело на все лады. Ветерок подгонял меня, терся о мою кожу. Упоенные букашки резвились в траве, и я любовалась их весельем. Этот огромный мир вокруг казался мне таким многообразным, а тот другой мир, в чьи тесные пределы я была заключена, душил меня и давил своей тяжестью.

В одиннадцать лет я уже ходила к озеру, босыми ногами чувствовала тепло земли, и от восторга мне хотелось плакать. А однажды я зашла прямо в воду, зашла по колено и так испугалась собственной смелости, что не делала так больше до двенадцати лет, когда все во мне вдруг изменилось, когда кожа моя кое-где начала пылать и когда Дэйви совсем перестал смотреть в мою сторону. И это ощущение чего-то огромного и необузданного все росло во мне, и долгими зимними вечерами я все пыталась представить себе, что будет, если я тихонько скользну к Дэйви под одеяло. От этих мыслей мне становилось стыдно, я ловила на себе взгляд деда и заставляла себя думать о чем-нибудь другом.

И это вот гадкое, нехорошее все росло во мне, все твердело и крепло. Однажды я украдкой взяла монетку, из тех что дед выручил за корзины, и закопала под сосной. Я снимала с себя исподнее и долго лежала и, только заслышав приближающиеся шаги, поспешно натягивала одежду.

А когда это стало совсем невыносимо, я без утайки вышла в этот большой мир и, шагая в тот день к озеру, видела, как все вокруг — и

солнце, и камни, и зверушки в траве — наблюдает за мной. Я зашла в воду с головой, я видела, как волосы мои расплылись по поверхности и как пошли от них пузырящиеся круги.

В тот день, когда я так открыто вышла к озеру, я видела издали крохотные фигурки людей,двигающиеся по улицам города. Укрывшись среди придорожных валунов, я наблюдала за проходившими мимо людьми, за дамами в тугих корсетах, смешно сидевшими на лошадях, за мужчинами, скакавшими галопом и взметавшими облака пыли. Я видела мать, несшую на руках маленького сыночка, двух влюбленных, что шли по дороге, взявшись за руки, и остро чувствовала тогда, как мне самой не хватало этих прикосновений. Я полюбила их всех, полюбила людей, мне понравилось наблюдать за ними, воображать себе, что они говорят, представлять себе произносимые ими смешные бесформенные слова. Но больше мне почему-то нравились мужчины. И горбун с добрым лицом, и волосатый толстяк, и одинокий востроносый парнишка, вечно разговаривавший сам с собой, и тот великан с красными полосками на парике, оставленными шляпой.

Вернувшись домой, я почувствовала, как что-то нехорошее снова растет во мне. Перед глазами стояло лицо деда, оно было грустным, но меня это больше не пугало. Собаки радостно бросились мне навстречу, тыкались в ноги своими холодными носами. И хижина казалась теперь местом более чем никчемным и ничтожным.

Весь день просидела я над «Королем Яковом», пропуская через себя его трепещущие проникновенные слова. Слова эти были для меня как окошко, через которое я могла видеть мою мать. И, сидя вот так, с книгой в руках, я знала, что опять пойду к озеру. Опять тайком пойду к озеру и снова, раздевшись, войду в воду. Пойду, прогнав от мысленного взора укоризненное лицо деда. И мелкие рыбешки будут сновать у моих ног, и верткие угри будут клевать волоски повыше моих ступней, оплетенных водорослями, и солнечный свет будет дрожать, преломляясь в зеленоватых глубинах. И так по озеру, по его каменистому дну, я пойду в город и Там выйду на сушу к людям. Я побреду по их улицам, войду в их жилища, и люди обратят ко мне свои взоры. Женщины всплеснут руками от изумления, мужчины обнимут меня своими крепкими руками, и дети будут носиться вокруг меня, и все-все в этом городе будут останавливаться и улыбаться. Они протянут ко мне свои руки, они будут касаться меня, и я буду переходить от одного к другому, я буду трогать руками их всех, всех жителей Темплтона, и наконец-то, наконец войду в этот желанный мир людей!

Глава 21

ПОЗОР ВО СЛАВУ

Снова идти в библиотеку мне почему-то не хотелось. Всю неделю при мысли о Питере Лейдере или Зики Фельчере меня одолевало смущение, и мне не хотелось выходить из дому. Забросив свое расследование, я часами разговаривала с Клариссой. Она рассказывала мне, что Салли все больше молчит и дуется, что волчанка потихоньку отступает перед ее новым экспериментальным лечением и что у нее уже достаточно сил, чтобы взяться за работу. Я же рассказывала ей о Праймусе, о Комочке, шевелящемся внутри меня, и о своем папаше, прячущемся где-то в Темплтоне как та самая книга, которую ты разыскиваешь часами, а она лежит на виду. Так мы болтали, пока она не засыпала с трубкой или не перебивала меня, усмехнувшись:

— Вилли, милая, тебе вовсе не обязательно развлекать меня разговорами целый день. Я совсем не одинока и всегда найду чем заняться — я могу читать, спать, смотреть свои «мыльные оперы».

Я тоже читала — перечитывала письма Синнамона и Шарлотты, пока окончательно не поняла, что обе эти женщины хоть и порядочные чудачки, но никак не могли оказаться прямыми предками моего отца. Наконец, не выдержав, я спросила у матери. Крася ногти на ногах подходящим к ее баптистской вере белым лаком, она, не отрываясь от занятия, сказала мне из своего старинного плетеного кресла:

— Не останавливайся на полпути, Вилли. Копай дальше по восходящей. Сделай следующий шаг.

Это какой же? Губернат Эверелл? — Я состроила рожу. Как бы там ни расписывала Синнамона своего папашу с самой лучшей стороны, портрет его у нас в холле говорил сам за себя — производил пугающее впечатление, изображая человека жесткого и сурового. — Или Джейкоб Франклин Темпл?

— Правильно соображаешь, — проговорила мать, вставив кисточку обратно в пузырек и закрутив крышечку. — А ты копни обоих. А то ведь тебе скоро ехать к Клариссе. Да и в школе занятия начнутся уже через две недели. Я видела в Интернете, что ты, оказывается, ведешь курс обзорных занятий. Поздравляю.

Скрестив на груди руки, я стояла на пороге и смотрела на нее.

— Знаешь, Ви, все бы хорошо, если б не одна проблема. Маленькая такая проблемка — мне ребенка надо вскармливать и растить. Ты забыла?

Ви посмотрела на меня, нахмутив лоб.

— Хочешь мое мнение, Вилли? Извини, но я считаю, тебе не следует рожать этого ребенка.

Яркий солнечный свет падал на голову матери, отчего волосы ее казались жесткими как провода. Обретя наконец пропавший от возмущения дар речи, я накинулась на нее:

— Ты соображаешь, что говоришь? Ты, религиозный, верующий человек! Ты что же, выступаешь за аборты?

— Если я за что и выступаю, так это за родительскую ответственность, — сказала Ви. — Ты по всем параметрам не готова быть матерью, а еще один несчастный, наполовину нежеланный ребенок этому миру не нужен. Да, я верующий человек. — Она поднялась, вызываясь глядя на меня. — Но помимо этого, детка, я еще руководствуюсь здравым смыслом, и к тому же я медик, так что знаю, что говорю. Внутриутробный плод на первом трехмесячном сроке сам по себе нежизнеспособен, поэтому я порекомендовала бы тебе избавиться от него как можно скорее, а зачать сможешь, когда будешь к этому готова. И прости, если задела твои чувства или сказала не то, что ты ожидала от меня услышать. Просто я люблю тебя и твоего будущего ребенка, которого ты когда-нибудь родишь. А сейчас это лучший выход для всех нас.

— Вот так, да? — только и могла я воскликнуть.

Мать нахмурилась.

— Только не надо думать, Солнышко, что я сравниваю тебя с собой, когда ты родилась. У меня не было вообще ничего, и ты была для меня счастьем, светом в окошке. А у тебя есть все, я всю жизнь старалась, чтобы дать тебе все, и ты это имеешь. И рожать тебе сейчас было бы совсем некстати.

— Ну, об этом, положим, судить мне, — ответила я, по-человечески уверенно. — Мне решать, и больше никому.

— Совершенно верно. Я могу только дать тебе совет, подсказать правильный выход, а решать, конечно, тебе самой. Вот и решай и скажи, чем я могу тебе помочь.

С этими словами мать вышла из комнаты, а у меня сложилось ощущение, что вместе с ней улетучилось и какое-то напряжение. Сидя все это время дома, я боялась такого вот разговора и боялась собственного решения. Конечно, где-то в глубине души я хотела оставить себе Комочка,

увидеть, как он родится, как будет беспрестанно кричать и расти потихоньку, превращаясь в человека, но ровно с такой же силой я желала, чтобы его не было внутри меня. Поэтому один шаг казался мне безответственным, неверным и нелогичным, а другой был как будто настолько правильным, что казался бесспорным и словно кричал о своей правоте, так что мне даже пришлось заткнуть уши. Выходя из комнаты, я мельком увидела себя в зеркале и ужаснулась. Вид у меня был измученный и больной.

Кое-как успокоив себя, я вышла из дому в роскошный темптонский август с блокнотом и ручкой в руках. Я решила пока не отягощать себе голову своими проблемами, а просто заняться работой. Я подумала: вот приду домой и тогда позвоню доктору и запишусь к нему на прием. И нечего об этом лишней раз думать — все мне сделают, аккуратно, хирургически, не будет у меня внутри никаких Комочков, а будет у меня найденный папаша ну и еще разбитое сердце и разборки с бессовестным Праймусом Дуайером.

Но не всегда все складывается так, как мы предполагаем. Вот и со мной, как со сказочной героиней, по дороге в библиотеку все время что-то происходило. Останавливалась я трижды.

Сначала мне встретился роскошный красный автомобиль с открытым верхом, медленно кативший по Западному Озерному шоссе. В нем три не менее роскошные оперные дивы соревновались, кто кого перепоеет. Одна громче другой, они голосили по-итальянски арию из оперы.

Звук был настолько потрясающим на этой пустынной, залитой солнцем дороге, что я остановилась и слушала с замирающим сердцем. К глазам моим подступили слезы, но потом женщины вдруг перестали петь, расхохотались и укатили. Я да одинокая симпатичная буренка остались сто-ять на пустой дороге, мечтательно пялясь одна на другую.

Потом возле загородного клуба я загляделась на каких-то загорелых людей в купальниках и плавках, толпившихся над расстеленной на земле картой. Они были похожи на воронье, слетевшееся на мертвечину, а мне почему-то вспомнилась бархатистая на ощупь шкура чудовища, и сердце защемило, и в горле встал противный комок.

Последний раз я остановилась посреди дороги, ибо вдруг поняла, что не готова войти в библиотеку, поэтому скользнула в прохладную пыльную сень музея «Франклин-Хаус». Тут я была совершенно одна, никто не заставлял покупать билетик, и я, прошмыгнув в какую-то комнатку, уставилась в окно на озеро, раскинувшееся за зеленой лужайкой. В обитой

ореховыми панелями комнате с высокими потолками стоял сумрак. Обернувшись, я поняла, что попала как раз куда надо.

С портрета над каминной полкой на меня смотрел мордатый и суровый Мармадюк Темпл. Потом мне чудилось, он показал мне глазами на другую стену, где во всем своем суровом величии, будто бы слегка ухмыляясь, на меня смотрел с другого портрета великий романист Джейкоб Франклин Темпл.

Стояла я между этими двумя своими великими предками, отцом и сыном, и чувствовала себя словно та самая веревка, которую тянут стороны, соребнующиеся в перетягивании каната.

— Ладно, мальчики, дайте-ка мне побыть одной, — сказала я и сбежала от них.

В библиотеку я шла, надеясь укрыться там как в святилище, но старушка за столом у входа обескуражила меня с порога.

— А вашего друга Питера нет, — нахмурившись, сказала она. — Только не спрашивайте почему, я все равно не знаю.

С одной стороны, я, конечно, обрадовалась, а с другой — расстроилась, потому что рассчитывала на помощь Питера. Я прошлась между стеллажей и вернулась к старушке. Утренние события — эти певички, эти ныряльщики и портреты в музее, — по-видимому, произвели на меня впечатление, потому что чуть ли не со слезами в голосе я сказала:

— Вы, случайно, не знаете, где я могла бы поискать какую-нибудь информацию о Джейкобе Франклине Темпле?

Старушечка вытаращила на меня как жаба.

Я ждала в растерянности, хотя понимала, что вряд ли дождусь от нее помощи, ведь, судя по ее виду, она себе и чашки чаю заварить не могла бы.

А старушка вдруг просияла:

— Ну, это вам повезло, деточка. Перед вами один из лучших специалистов по Джейкобу Франклину Темплу.

Мы побрели в ее комнатку, где она, посетившись немного возле чайника, села наконец и представилась:

— Меня зовут Хэйзел Помрой, и я работаю здесь сколько себя помню. А вы кто такая будете? — спросила она, отхлебнув горячего чая, который, как выяснилось, прекрасно могла заварить.

— Вильгельмина Аптон, — вздохнула я. — Я пытаюсь выяснить, не ходил ли Джейкоб, что называется, налево и не произвел ли на свет незаконнорожденных отпрысков.

У Хэйзел глазенки на лоб полезли — такое впечатление, ей было что сказать и она с трудом сдерживалась.

— Боже правый! Так вы — Вильгельмина Аптон?! — наконец вымолвила она. — Ну надо же! Дайте-ка мне разглядеть вас хорошенько.

К этому я была привычна: все мои учителя по истории, даже в колледже, обычно трепетали от восторга при виде меня, живого потомка прославленной семьи; по этой причине они даже проявляли ко мне снисхождение на экзаменах. Вот и сейчас бабулька, прищурившись, долго разглядывала меня, после чего, качая головой, заулыбалась:

— А знаете, вы очень похожи на Мармадюка. Эти волосы с рыжим отливом, высокий рост, твердый подбородок, румяные щеки. Просто поразительно!

— Спасибо, Хэйзел, — сказала я, но моя новая знакомая еще не закончила.

— А вот от своего дедушки Джорджа вы ничего не взяли. С волосенками у него туго было, уж я-то знаю, он ведь моим женихом был в свое время.

Я изумленно притихла, даже пылинки в солнечных лучах перестали роиться, словно тоже были поражены услышанным. Выходит, что эта Хэйзел Помрой тоже могла дать начало линии моего отца, подумала я. Что, если я ошибалась и он только показался мне паинькой? Что, если сейчас я вижу перед собой свою настоящую бабулю?

Но Хэйзел, видимо, угадав мои мысли, поспешила заметить:

— Ну конечно, деточка, не по-настоящему. Мне только шестнадцать было, когда он женился на твоей бабушке. А я была просто глупая девчонка. Он тогда вернулся из Йельского университета, и все барышни по нему сохли. Да и как же не сохнуть — докторская степень, такая фамилия, сын самого Сая Аптона да к тому же не урод. Один только разочек пригласил он меня в кафе, угостил мороженым, и я, конечно, вообразила, что он теперь на мне женится. Разболтала всем и каждому. А потом представьте, что со мной творилось, когда через неделю он сделал предложение вашей бабушке. Тут она всех барышень обставила, да как! Была она уже девица не первой молодости — двадцать восемь лет, как ни крути, и ни одного ухажера. Вы уж не обижайтесь, но страшна она была как смертный грех да еще и на десять лет его старше. Я до сих пор ума не приложу, как она умудрилась охмурить его. Правда, позже я догадалась, что он женился на ней не ради нее самой, а потому, что сам вел свое происхождение от этой распутной рабыни Хетти Эверелл и просто хотел, чтобы фамилии Эвереллов и Темплов объединились. А я, бедняжка, тогда

целый месяц страдала. Мы же, когда молодые, так переживаем из-за вещей, над которыми потом в старости смеемся!

Я бы могла подумать, что Хэйзел выложила мне все это безо всякого умысла, просто по свойственной старикам привычке делиться с кем попало воспоминаниями, если бы не этот ее хитроватый взгляд. Интересно, догадалась ли она, почему я здесь? Я отвернулась.

— А вообще-то я тогда не больно расстроилась, — продолжала Хэйзел. — При всем моем уважении к усопшим должна вам сказать, что ваш дедушка был холоден как лягушка. Я знаю, что там обычно говорят про его и Фиби гибель, только считаю, что все это ерунда, не было это ни убийством, ни самоубийством — обыкновенный несчастный случай. С таким зрением, какое было у него, людям за руль вообще лучше не садиться. Я же помню, сколько раз он съезжал в придорожную канаву, когда ездил из Эверелл-Коттеджа сюда. Тут всего одна миля, и все равно каждый раз умудрялся, а мы с Рэмом только и знали, что вытаскивали его. Нет, я никогда не жалела, что он не достался мне. Прекрасно, знаете ли, жила холостячкой. — И она игриво подмигнула мне.

— Рада за вас, — сказала я и спросила: — Неужели Джордж был таким занудой, каким я его себе представляю?

Старушка заморгала.

— Нет, ну что вы, он был очень даже мил.

— Вот как?

Старушка заулыбалась и вдруг призналась:

— Да приврала я, конечно. На самом деле он был моим начальником здесь, в библиотеке. Вот уж туго мне тогда приходилось — всю работу выполняла одна.

— Могу себе вообразить. — Чашка у меня в руках остыла, и, отставив ее в сторону, я спросила: — Ну так что, мисс Помрой? Что вы можете рассказать мне о Джейкобе ФранкLINE Темпле?

Хэйзел Помрой откинулась на спинку стула и смерила меня лукавым взглядом.

— Вильгельмина, у вас есть несколько часов?

— Зовите меня просто Вилли. У меня есть не то что несколько часов, а несколько дней.

— Очень хорошо, — сказала она. — Тогда я расскажу вам одну историю.

И вот что рассказала мне в тот день за бесконечным чаепитием Хэйзел Помрой.

Джейкоб Франклин Темпл был младшим из семерых детей, которые все умерли, кроме самого Джейкоба и его старшего брата Ричарда. К тому времени, когда Джейкоб родился, Мармадьук уже прославился и нажил внушительное состояние. Ричард вырос и стал взрослым мужчиной, таким волосатым, что лица было не разглядеть. Их мать Элизабет была женщиной хрупкой и немощной.

Расхожий миф гласит, что Джейкоб родился в тот самый день, когда его мать приехала наконец в Темплтон из Берлингтона, чтобы остаться навсегда в знаменитом поселении, основанном ее мужем. Он появился на свет, вопя во все горло, едва она успела ступить на порог Мэнор-Хауса. Правдивость этого мифа ничем не подтверждена, если не считать того факта, что Джейкоб так и остался на всю жизнь мямлей и нытиком.

С самого начала Мармадьук возлагал на своего любимца Джейкоба большие надежды — сам он был безродным самоучкой, жена его Элизабет умела только читать, но не писать, да и Ричард был выучен кое-как. Поэтому Мармадьук решил сделать из Джейкоба благородного джентльмена и дать ему соответствующее образование. Когда мальчику исполнилось два года, он уже умел читать и писать свое имя. К четырем годам он болтал по-французски как настоящий француз, декламировал наизусть стихи, знал простейший счет, красиво писал и приступил к изучению латыни. Когда ему исполнилось четырнадцать, отец его к тому времени уже пять лет как лежал в могиле, и Элизабет отправила мальчика учиться в Йельский университет, как того хотел Мармадьук.

Ясное дело, что юный возраст и большие деньги сыграли с парнем недобрую шутку. Он пьянствовал, играл в азартные игры и вел дружбу с дурной компанией. В шестнадцать лет его отправили домой, после того как он взорвал под дверью у однокашников бочонок с порохом. Друзья его успели разбежаться, а сам он спьяну бухнулся на пол прямо под ноги декану. Это был его первый позор.

Он вернулся в Темплтон, и брат помог ему устроиться на торговый флот, так как он всегда мечтал посмотреть чужие страны, собственными глазами увидеть гейш, жирафов и разные чудеса, о которых только читал в книжках. Правда, до чужих краев ему добраться так и не удалось, и, избородив под парусом вдоль и поперек озеро Эри, он в двадцать один год уволился из флота, во второй раз снискав вместо славы позор. Тогда он подался в Манхэттен и там безо всякой ученой степени, но с помощью влиятельных связей отца попробовал себя на адвокатском поприще. В адвокатуре он тоже не преуспел — не обнаружил по этой части таланта. И это был его третий по счету позор.

В Манхэттене он влюбился в очаровательное воздушное создание по имени Софи де Ланей. Происходила она из очень влиятельной семьи и вряд ли удостоила бы его особого внимания: за ней увивались ухажеры не менее состоятельные, чем Джейкоб, но из более знатных родов, чем Темплы, которые всего лишь поколение назад выбрались из низов. Только по какой-то причине Софи вдруг согласилась выйти за него. Никто в точности не знал, что вызвало такую стремительную перемену в сердце юной дамы, но всего через восемь месяцев после свадьбы в молодой семье случилось пополнение — родилась их первая дочь, — ну а людям оставалось лишь делать выводы.

Родители Софи подарили молодой чете земли на Гудзоне, и Джейкоб попробовал заняться фермерством, но и здесь оказался бездарью и неумехой. Денег молодоженам катастрофически не хватало — земли почти не приносили прибыли, а Софи оказалась женой дорогостоящей.

И вот однажды, в разгар этого уже четвертого по счету невезения, после утомительного печального дня, когда пришлось забить коров, заболевших сибирской язвой, Джейкоб пытался забыться за книгой — подвернувшемуся под руку романом Сюзанны Роусон. Внезапно вскочив, он швырнул книгу через всю комнату, вскричав: «Какая чушь! Да я могу написать лучше и всего за две недели!» Отложив в сторону рукоделие, Софи сказала ему: «Прекрасно, так сделай это!» — «И сделаю!» — ответил он в запальчивости. Слово он сдержал. Через две недели собрал семью — на тот момент у них было пока еще только четыре дочери — и принялся читать им рукопись. С затаенным дыханием они слушали его вечерами целую неделю, а когда он закончил, Софи, отбросив свое рукоделие, кинулась к мужу, восклицая: «О, я знала, что ты не окажешься неудачником! Я знала это!» Он издал книгу на собственные деньги под псевдонимом. Книга имела огромный успех, хотя в наши дни и воспринимается жалким подобием салонных романов, весьма популярных в те времена в Англии. Бледные героини с розовыми щечками, суровые великодушные лорды. Балы, менуэты, интриги, скомпрометированные младшие сестры, прощение и любовь.

Вдохновленный первым удачным опытом, Джейкоб продолжил писать и через несколько месяцев имел новую рукопись, которую издал уже под собственным именем. Новая книга раскупалась в улет, это считалось патриотичным, так как до сего времени в молодой стране издавалась только английская литература, а теперь вот появилась и своя, отечественная. Джейкоб вошел во вкус и строчил романы один за другим без остановки со скоростью, поразительной для времен, не знавших

компьютерной клавиатуры или печатной машинки и предоставлявших сочинителю лишь бумагу, чернила и оточенные гусиные перья.

Семья перебралась в Европу и десять лет жила там, тратя все, что Джейкоб зарабатывал пером, плюс остатки состояния супругов. Склонность Софи, окружавшей себя многочисленными поклонниками, к роскоши — всевозможным женским штучкам: веерам, кружевам, лентам — лишь усугубляла денежные трудности. Так что к тому моменту, когда уже престарелый волосатый Ричард сообщил брату в письме, что отрывает его от семейного лона и требует его возвращения в Темплтон для подведения плачевных финансовых итогов, семейство Франклин Темпл уже было разорено. На тот момент у них было восемь дочерей, названных именами цветов за исключением одной, самой младшей дочери Шарлотты, или Шарли, как обычно называл отец свою любимицу.

Тут Хэйзел Помрой возбужденно наклонилась ко мне, округлив мутные голубенькие глазки.

— А теперь небольшой сюрпризик. Об этом вы ни от кого больше не услышите. Взгляните-ка сюда! — И она раскрыла передо мной какую-то книгу на странице с иллюстрацией. — Это портрет их дочерей, сделанный неким художником в Париже. Посмотрите и скажите мне, что вы там видите.

Я принялась разглядывать репродукцию — портрет восьми хорошеньких девочек в платьях девятнадцатого века. Я тщательно всматривалась, пытаюсь увидеть там то, на что мне намекала Хэйзел, пока наконец меня не осенило. Волосы у них были самых разных оттенков — от рыжеватого-каштанового у Шарлотты до откровенно белокурых локонов двух ее сестер-близняшек. И кожа была тоже разных оттенков — от бледной у Шарлотты до темно-оливковой и даже смуглой. И носы разные, и губы, и овалы лиц, и глаза — словно это были не родные сестры, а удочеренные сироты. Только у Шарлотты я обнаружила такие же глаза, как у ее отца, и только у Шарлотты был такой же, как у Мармадюка (и как у меня) широкий подбородок.

— Да они не похожи на сестер!

Хэйзел Помрой закивала.

— Никто не скажет вам этого откровенно, но некоторые считают, что Софи не больно-то ревностно относилась к супружескому долгу. Полагаю, вы понимаете, о чем я. Не исключено, что рождение Шарли было просто случайностью. Уже в замужестве в одном из писем к сестре Софи де Ланей Темпл выразилась так, я цитирую: «Как странно, Доротея, но мой новый

супруг хоть весел, боек и говорлив, а временами мне кажется, что в жилах у него вместо крови лед». Тут она, по-моему, откровенно намекала на свое недовольство мужем как супругом, потому что в ответном письме Доротея рекомендовала ей попоить мужа травяным отваром с добавками женьшеня и корня мандрагоры — все это афродизиаки, заметьте, — а также воспользоваться «самым безотказным приемом, которому учила нас матушка» (это я цитирую). И тут кроется еще одна тайна — их матерью была красотка француженка, чье происхождение было покрыто завесой тайны. В свое время люди в высшем свете шептались, что до того как Хайрэм де Ланей привез ее из Парижа в Манхэттен, она, по слухам, была куртизанкой.

— Ого! — Я даже присвистнула. — Выходит, Софи была нимфоманкой, а Джейкоб импотентом. Боже мой, Хэйзел! А может, вы все это придумали?

На это Хэйзел Помрой, скрипуче хихикнув, ответила мне так:

— Конкретных доказательств у меня, конечно, нет, и опубликовать подобные вещи я не осмелилась бы, но чуется мое сердце, что во всем этом девичьем букете был только один настоящий и законный отпрыск Джейкоба — Шарлотта. — Задрав над головой тонюсенькие ручки-спичечки и устало потянувшись, она прибавила: — Все это я к тому говорю, чтобы вы не думали искать у Джейкоба Франклина Темпла незаконнорожденных отпрысков, потому как был он, похоже, так же безразличен к женскому полу, как и ваш дедушка.

Я посмотрела на Хэйзел с прищуром, решив попытать ее дальше:

Так вы утверждаете, что я не имею прямого родства с Мармадюком, если не считать Хетти? Ведь выходит, что если Шарлотта всего лишь усыновила сына сестры, а сестры ее не были настоящими дочерьми Джейкоба, то во мне, стало быть, нет законных кровей Мармадюка?

Озадаченно поморгав, Хэйзел заулыбалась:

— Ну, тут вы ошибаетесь. У нас имеется письмо одного манхэттенского врача, который утверждает, что лично принимал роды у Шарлотты. И было это спустя несколько месяцев после смерти сестры Шарли, той самой сестры, которую принято считать матерью Генри. Ведь не могла же эта самая Дэйзи произвести на свет ребенка из могилы, а тогда выходит, что Генри все-таки настоящий, родной сын Шарлотты, и, стало быть, в жилах Генри текла кровь Мармадюка. Ха! Да последние десять лет я только тем и занимаюсь, что пытаюсь найти хоть какие-нибудь убедительные доказательства того, что Шарлотта родила ребенка вне брака. Я даже пишу книгу, она называется «Тайны и слухи. Удивительная

история семьи Темпл». О вас я тоже напишу там. — Глазки ее заблестели. — И о вашей матери Вивьен, и о приключениях ее молодости в коммуне свободной любви. Я давно прошу ее разрешить мне покопаться у вас на чердаке, а она все отказывает. Я пытаюсь втолковать ей, что она идет наперекор американской науке, но вы же знаете свою мать — какая она строптивая.

Конечно, я могла в тот момент извлечь из сумки письма Синнамон и Шарлотты и вручить их старой даме, в одночасье сделав ее знаменитой, но какая-то зловредная жилка заставила меня промолчать — наверное, я боялась, что старушка возликует над нашим семейным позором, заполучив его доказательства в свои руки, а может, мне просто не хотелось, чтобы эта чужая женщина разнесла по всему белому свету наши фамильные тайны. Какое-то неуютное чувство так и не дало мне раскрыть рта. Это заворочался у меня в животе Комочек.

Я просто смотрела на Хэйзел, вытаращив глаза. Она даже обеспокоенно поинтересовалась, все ли у меня в порядке. Комочек шевелился внутри, словно бы вопрошая: «Какого черта?!» Когда он затих, я посмотрела на Хэйзел и поймала на себе ее проницательный взгляд.

— А вы, в сущности, так и не сказали мне, зачем взялись отыскивать незаконнорожденное звено в линии своих предков. Зачем оно вам понадобилось?

Напустив на себя беззаботный вид, я ответила с улыбкой:

— Да просто из любопытства.

Старушка недоверчиво хмыкнула, а я продолжила:

— И все же у вас нет более или менее убедительных доказательств того, что Джейкоб был безразличен к женскому полу, не так ли? Одни только подозрения и домыслы, а доказательств нет.

— Да. Доказательств у меня нет, но я много читала о нем. И журнальные публикации, и книгу о нем, и его переписку. Я прочла о нем все, что только можно было прочесть, но так ничего и не нашла. Доказательств у меня нет, но я поняла, что он был помешан на своем писательстве так же, как ваш дед на семейной истории, а Джордж был уж точно безразличен к женщинам. Не удивлюсь, если окажется, что это ваша фамильная черта. Скорчив гримаску, она ехидно усмехнулась.

Хорошо, а если я, допустим, захочу найти доказательство, что у него была интрижка на стороне, то с чего вы посоветуете мне начать? — спросила я.

Вздыхнув, Хэйзел Помрой закрыла глаза. Я даже испугалась, не обидела ли ее такой резкой постановкой вопроса, и затаенно ждала, наблюдая за

темнеющим небом. А она, открыв наконец глаза, ответила:

— Вам остается одно — почитать его.

— Как? — недоуменно переспросила я.

— Почитать его романы. Нет, конечно, прямых доказательств там не будет, но что-нибудь косвенное вы обязательно найдете. Любопытная вещь, знаете ли, художественная литература. Иной раз в произведениях писателя можно найти о нем самом больше, чем он сам расскажет в своих мемуарах.

— Ну что ж, пожалуй, я и впрямь могла бы почитать его. А сколько книг он написал?

Старушкина козья борода затряслась, когда она ответила:

— О!.. Всего пятьдесят пять. — И она хихикнула. От этого ее смешка меня передернуло.

Пятьдесят пять романов! — отдалось у меня в голове. За десять дней? Старушка встала, куда-то ушла и через несколько минут вернулась, толкая перед собой тележку, груженную книгами.

— Вот, деточка, начните, скажем, с этого, — весело предложила она.

— Спасибо, Хэйзел. И за чай спасибо.

— Не стоит благодарности. Вы только не забудьте поискать дома какие-нибудь письма или дневники для меня. Хорошо?

— Хорошо, я попробую что-нибудь сделать.

Пока я укладывала в сумку книги, меня посетила озорная мысль.

— Хэйзел, а можно мне сделать с вашего телефона междугородний звонок? Я потом отдам деньги.

— Не надо ничего отдавать, за телефон нам платит государство. Звоните и уходите, мне пора закрывать библиотеку.

Хэйзел ушла куда-то в хранилище, а я набрала номер Клариссы и ждала затаив дыхание.

— Алло, — послышался в трубке ее полусонный голос.

— Какое счастье, Кларисса, что ты сидишь дома и ничего не делаешь!

— Я ничего не делаю? Смеешься? Да без меня Земля перестала бы вращаться! Без меня все живое вымерло бы на планете...

— Ладно, ладно, все это здорово, но ты лучше послушай. Помнишь, ты в колледже умела читать книги скоростным методом?

— Помню. Я на Бальзаке тренировалась.

— Тренировалась, а посоревноваться не хочешь?

— Это я всегда готова.

Пока я объясняла Клариссе, что она должна делать, Хэйзел уже прибралась, потушила в библиотеке свет и ждала меня в дверях, звякая

ключами.

— Вас подвезти? — предложила она.

— Нет, спасибо. Вечер сегодня чудесный, я с удовольствием пройду, — с улыбкой ответила я.

Она потрепала меня по щеке.

— Вам нужно больше улыбаться, вам это идет. — С этими словами она влезла в свою колымагу и укатила с чудовищным грохотом, оставив позади облако едкого дыма.

Было уже довольно поздно и темно, так что я смело зашагала через поле для гольфа, не рискуя словить лбом какой-нибудь шальной мяч. Я прошла через автостоянку загородного клуба, мимо ресторана, откуда неслась гавайская музыка, и безошибочно определила аппетитный запах подрумянивающейся на углях хрюшки. По холму я спустилась к пляжу, где резвились мальчишки и на теннисном корте два старичка еще пытались впотьмах перебрасываться мячом.

Ступая по шелковистой траве, я обнаружила, что вслух разговариваю с Комочком.

— Нет, ты пойми, я не из тех людей, кто то и дело оказывается в жизненном тупике, — разглагольствовала я. — Я вот только не знаю, что буду делать, когда избавлюсь от тебя.

И тут мне вдруг захотелось резко изменить планы — дать Комочку расти и расти, пока живот мой не распухнет до невероятных размеров на обозрение всему белому свету. Принять ухаживания Иезекиля Фельчера и в один прекрасный день оказаться в каком-нибудь убогом скромном домишке где-нибудь на отшибе с тремя детишками на руках и с фактическим мужем в наличности. С мужем, который будет обалденно жарить шашлык, каждую неделю приглашать друзей на пивные посиделки и даже привьет мне любовь к боулингу. Тогда я открыла бы магазинчик в центре Темплтона и продавала бы там не какую-нибудь бейсбольную ерунду, а полезные и приятные товары. Стали бы мы жить на широкую ногу, а после смерти моей матери перебрались бы в Эверелл-Коттедж и вместо старого пруда сделали бы крытый бассейн. Детишки мои выучились бы в престижных колледжах и нашли бы потом себе выгодную и престижную работу. А на старости лет, похоронив Зики, я бы вновь жадно набросилась на книжки и читала бы, читала с утра до ночи, как делала это до возвращения в Темплтон. Я бы даже сражалась со старческим маразмом, развивая какие-нибудь научные идеи, не мечтая, конечно, переплюнуть по этой части своих гениальных детишек.

Идея эта, хоть и была малоутешительной, все же прошибла меня до мурашек.

Добравшись до нашего двора, я не пошла в дом, меня почему-то понесло в гору за огородом. Мимо малинника, мимо моей детской дощатой хибары, мимо бабкиной вечной неувядаемой клумбы.

И тут я замерла на месте. Сначала я увидела круглые свечи, плавающие на дощечках по лягушатнику — в темноте они напоминали горящие островки, а потом обнаружила под липой накрытый скатертью стол, за которым сидели трое. Я недоумевала — неужто преподобного Молокана потянуло на романтику?

Среди голосов я узнала голос Ви. Затем порыв ветра раздул огонь свечей, и я разглядела еще два лица — Питер Лейдер (со скрипкой в руках) и Иезекиль Фельчер мечтательно любовались сквозь липовые ветви вечерним небом.

— Ну где же она ходит? А, миссис Аптон? спросил Питер и тронул скрипичные струны.

— Зная Вилли, скажу только, что ее может понести куда угодно, — отозвалась моя мать. — Она у нас чокнутая.

Они дружно рассмеялись, а я, разозлившись, вышла из тени и громко объявила: — Я здесь.

Они разом обернулись, а Питер Лейдер даже вскочил, да так резко, что опрокинул стул. И Ви встала. Питер заиграл на скрипке, а Фельчер подошел ко мне и за руку подвел к столу. Стол был накрыт как на праздник — сыры, закуски, вино. Я уселась спиной к дому и лицом к озеру, и Фельчер вдруг вытащил из-под своего стула огромный букет лаванды. Я сидела, потеряв дар речи от изумления, и слушала скрипку, а когда та умолкла, в образовавшейся тишине заквакали лягушки и со стороны загородного клуба снова донеслись звуки гавайской музыки.

— Может быть, кто-нибудь скажет, что здесь происходит?;- наконец поинтересовалась я.

Мне ответил Фельчер:

— Мы с Питом хотели заглядить свою вину, Вилли. У тебя тогда и так кошки на душе скребли, а мы, похоже, еще масла в огонь подбавили. Я вот сегодня позвонил, хотел извиниться, а трубку взяла твоя мама. Мы с ней немного поболтали, и она предложила устроить тебе маленький праздник. Они с Питом приготовили всю эту вкусноту, и Пит еще хочет поиграть тебе на скрипке. Посидим, выпьем, а может, даже в озере искупнемся.

— Да, это так романтично, — сказала Ви, и по голосу чувствовалось, что вино ее уже пробрало.

— Да ничего романтического, просто сидим по-дружески, и все, — возразил Фельчер.

— У меня нет слов, — ответила я.

— Этого мы и добивались, — добавил Питер.

— Ничего подобного! Вы сделали это из жалости ко мне. Просто из жалости, так?

— Ого! Мы, кажется, задели ее за живое, а это опасно, — проговорила Ви.

— Заткнись, Вивьен, — попросила я.

Засим последовала долгая неуклюжая пауза. Мать задумчиво щипала хлебный батон. Молчание нарушил Фельчер:

— Знаешь что, Вилли, так тоже нельзя! Мы же просто хотели тебя порадовать. Мы видим, какая ты вернулась в Темплтон, худая, изможденная, после этих твоих скандальных приключений, которые еще неизвестно чем кончатся. Да и здесь ты тоже торчишь целыми днями в исторической библиотеке, а ведь ты археолог. Я вот, например, не видел тебя тысячу лет, и что получаю? Только тычки да обиды! Все тебе не то да не так — «не ходи со мной, Иезекиль!», «не хочу, чтобы видели, как мы выходим вместе из бара!», «двух слов связать не можешь, Иезекиль!», «примитивный ты, Иезекиль!», «не подходишь ты мне, Иезекиль!» Да пошла ты сама куда подальше, Вилли Аптон!

Он вскочил, но тут же снова плюхнулся на стул. Ви принялась разливать по бокалам вино, а Фельчер скорчил обиженную рожицу, как маленький мальчик; мне даже захотелось поцеловать его в эти надутые губки, но в этот момент Питер со вздохом сказал:

— Мы устроили все это, Вилли, просто потому, что любим тебя. Любим и хотим, чтобы ты была счастлива.

Так или иначе, но эти его слова растопили остатки льда. Ви сияла. Все, кроме меня, накинулись на еду. Мать нахваливала Питеровы блинчики с паштетом, он — ее фаршированные крабами артишоки, Фельчер пел оды чилийским сухим винам, и даже обнаружил в том, что мы пили, смородиновый и табачный аромат, а Питер заявил, что одна из лягушек в пруду имеет безукоризненное контральто.

Почему-то вспомнилась Кларисса, ее всегдашнее умение приободрить, и мне стало стыдно.

— Извините, — тихо сказала я.

— Что такое, Королева? — заговорил Фельчер. — Я не расслышал. Что ты сказала?

— Я говорю, извините. Извините за то, что у меня сегодня плохое

настроение и что я порчу вам такой чудесный вечер. Давайте выпьем.

— Вот это молодец! — просиял Фельчер, и я только теперь заметила, что он стал выглядеть гораздо лучше — немного похудел, побрился, даже рубашку надел с запонками. Он, кажется, начал отращивать волосы, и ему это шло, особенно сейчас, в сумерках. Подняв бокал, он воскликнул: — Пьем за Вилли!

— За Вилли, — прибавил Питер, пальцем теребя усы.

— За Вилли; вступила моя мать. — За то, чтобы она все-таки нашла и получила то, что ей нужно. — И она послала мне воздушный поцелуй, от которого заплясало пламя свечи.

Круглые свечи в пруду гасли одна за другой, какая-то любопытная лягушка запрыгнула на одну из дощечек, опрокинула свечку, и та с шипением погасла. Пока мать не принесла из кухни горшочки с десертом и не подпалила их для красоты синим пламенем, мы сидели почти в полной темноте, но глаза наши быстро к ней привыкли.

Когда Ви снова ушла, я наконец объяснила ребятам, что занимаюсь поисками отца.

— Дошла я уже до Джейкоба Франклина Темпла и набрала кучу его книг, чтобы выяснить, имел ли он любовниц. Хэйзел Помрой говорит, что других источников нет, так что придется мне штудировать его произведения. Теперь понимаете, как все непросто?

Питер, уже порядком навеселе, хихикал над тем, как ловко Ви придумала себе «хипняцкую отмазку», которую он назвал «поистине гениальной». Фельчер же, откинувшись на стуле, внимательно слушал меня с непроницаемым лицом.

И вдруг из тени вышла темная фигура. Когда луна осветила ее, Фельчер, опрокинув стул, полетел на землю, а фигура нависла над ним, угрожающе подбоченясь.

— Так вот ты, оказывается, где прохлаждаешься! — визгливо заголосила фигура, и мне сразу сделалось не по себе, когда я догадалась, что перед нами, по-видимому, Мелани, Фельчерова малозначительная вторая половинка. Теперь, правда, она обрела внушительную значительность — платиновые волосы до пояса и грозно сжатые кулачищи. — Я грузовик твой увидела на улице и поняла, что ты здесь, — прошипела она.

— Мел, что случилось? Как мальчики? — невозмутимо отвечал ей с земли Фельчер.

— Только не надо вот этих «что случилось?»! Мальчики у моей мамы.

— Мелани, я рад видеть тебя, — сказал Питер. — Присаживайся с нами за стол, угостись десертом.

— А тебя не спрашивают! — рявкнула она, но в голосе ее уже звучала какая-то слабость. Не поворачиваясь в мою сторону, она продолжала: — Девчонки мне говорили, что эта сучка изволила пожаловать домой и что ты торчал с ней в «Драгуне». А я все не верила, говорила, что ты всегда считал ее вонючей зазнайкой. Как ты в школе-то ее дразнил? Задавакой? Да, точно, ты ее так и назвал, когда она отказалась танцевать с тобой на школьном балу.

Моя мать, поджигавшая десерты, посветила спиртовой лампой в сторону Мелани.

— Послушай, Мел, — начала было я, да так и не закончила. Сказать ей мне было, в сущности, нечего. И оправдываться не за что, потому что между мной и Фельчером быть ничего не могло. Разве что напомнить ей, как ее саму в школе дразнили?

Она же, повернув наконец ко мне дряблое одутловатое лицо, сверкая маленькими глазками, процедила:

— А ты помалкивай, а то схлопочешь у меня. Я тебе рожу-то твою смазливую вмиг разукрашу.

— Послушай, Мел, — обратился к ней Фельчер, все еще сидевший на земле. — Ты лучше скажи, как у тебя дела. Я ж не видел тебя сколько? Год? Знаю только, что деньги на детей ты получала. Ты работу нашла?

— Не год, а всего десять месяцев; И какая разница? Давай вставай, пошли!

Она посторонилась, чтобы Фельчер встал, и он это сделал, но только поставил ровно свой стул и снова сел.

— Да вставай же ты! — крикнула она и пнула ножку стула.

Стул закачался, но Фельчер удержался и даже не подумал пошевелинуться.

— Послушай, Мел, — вдруг осторожно и вкрадчиво проговорил Питер, обняв меня за плечи. — Мне кажется, ты что-то не то подумала. Дело в том, что Вилли и я, мы сейчас вместе, а Зики, он здесь просто как наш друг.

— Ага, я так и поверила! — В голосе Мелани зазвучала неуверенность, и я вдруг заметила у нее на лице слезы. Она поочередно стреляла на нас глазенками, потом прикрыла лицо рукой и отступила.

— Послушай, Мелани, — сказал Фельчер, — если хочешь, присоединяйся к нам, мы же тебя пригласили. А нет, так иди, я зайду к тебе потом, и мы обо всем поговорим.

— Не забывай, что ты отец моих детей, — с легкой дрожью в голосе проговорила Мелани.

— Я не забываю, детка, и суд постановил, что они должны быть со мной, а не с тобой.

— Суд постановил, что ты должен платить.

— Да, платить. За Джо и за Ники. Но не за тебя. И пожалуйста, Мел, не зли меня.

Мелани развернулась, и мне показалось, что ее могучая спина содрогается. Она снова повернулась, посмотрела на нас, особенно на меня, суровым взглядом и пошла, вконец испортив мне настроение. Мать продолжала заниматься десертом. Питер чмокнул меня в щеку, и его тоненькие усики задрожали. А когда мы окунули ложечки в десерты, Фельчер сказал:

— Простите меня за эту сцену. Мне так неудобно.

— Да ладно тебе, — успокоила его Ви, хотя голос ее тоже немного дрожал. — Это жизнь. Из-за детей чего только не вытерпишь. — Она хлопнула Фельчера по плечу и прибавила: — Уж я-то знаю, каково ей приходится, на своей шкуре испытала. Правда, я знаю еще одну вещь — насильно мил не будешь. Она это тоже поймет со временем.

Десерт мы доедали в полной тишине, которую нарушало лишь кваканье лягушек в пруду. Я то и дело поглядывала на Фельчера, и он, ловя мой взгляд, забывал о своих мрачных мыслях, лицо его светлело, а у меня внутри что-то екало, и я вдруг поняла, что больше никогда не смогу называть его по старой школьной привычке, по фамилии.

— Иезекиль, — сказала я.

— Что? — спросил он с готовностью, улыбаясь.

— Да нет, ничего. — Я тихонько рассмеялась и тут же почему-то вспомнила Праймуса — наши ночные прогулки по тундре, его теплую руку, — и мне вдруг сделалось грустно. Больше мы никогда не будем гулять там вместе, дивясь многообразному колориту лишайников. Я подняла глаза и заметила, что Фельчер все еще улыбается мне и ждет ответа. Но мне уже было не до смеха, я отвернулась.

Ребята ушли в полночь, а мы с Ви перемыли и вытерли всю посуду. Жалобное пение скрипки еще стояло у нас в ушах. Протягивая мне последнюю сухую тарелку, Ви зевнула.

— Чудесный получился вечер. Давненько не было у меня такого дивного вечера, — сказала она.

— Если не считать этой истерички.

— Не суди ее строго, ей и так в жизни не повезло. А Зики, кажется, влюблен в тебя по уши.

— Зики не в моем вкусе.

— Пусть, но здоровые отношения с кем-нибудь вроде Зики помогли бы тебе выбраться из той ямы, которую вырыл тебе твой Праймус. И потом, кто знает... Зики обаятелен, хорош собой и, кажется, не глуп. По-моему, шикарный парень. И может, он еще вырастет в твоих глазах...

— Ви, Иезекиль Фельчер давным-давно перестал быть шикарным парнем. В 1995 году перестал.

— Вся твоя проблема, Солнышко, в том, что ты не можешь посмотреть дальше своего тесного снобистского мирка, — заявила Ви, грохнув об стол очередной тарелкой. — В Темплтоне для тебя, видите ли, все не так хороши. В твоей маленькой головке так уж сложилось, что если они живут в Темплтоне, значит, это люди второго сорта.

— Как ты не права, — возразила я.

— Я как раз права, — не унималась мать. — Но это моя вина, это я вырастила тебя такой. Я все толкала тебя куда-то вперед, лелеяла в тебе честолюбие, и теперь ты стыдишься признаться, откуда ты родом. Но я на этот счет не очень переживаю, у тебя это пройдет. Поезжай в свой Сан-Франциско, живи там, как тебе хочется, а когда-нибудь тебя потянет в Темплтон, и ты вернешься.

Я собиралась сказать ей, что в Темплтон меня вряд ли потянет, но промолчала — не хотела ее расстраивать.

— Может, так оно и будет, — вздохнула я. — Если я вообще разгребу эти кучи дерьма, в которые залезла благодаря своему папаше.

— Сколько времени в твоём распоряжении? — осведомилась мать.

— Шесть дней, — сказала я. — А потом поеду на выручку Салли, а то он там совсем сна лишился. Кларисса говорит, он сейчас как зомби. Говорит, ее роль себе присвоил — это ей, дескать, полагается быть в их семье полудохлой. — И, заметив, что эти слова покоробили Ви, я прибавила: — Нет, ну она как-то смешнее это выразила.

— За шесть дней успеешь, — отозвалась Ви и выключила на кухне свет. В темноте она пошла к задней лестнице, и я слышала ее тяжелую поступь по дому, потом звук закрывшейся двери.

Долго я стояла у темного окна и смотрела на полированную гладь озера и на сгрудившиеся над ним холмы. Я вообразила себе, что огромное чудовище не умерло, а плавает бесшумно где-то в толще воды, время от времени выныривая, чтобы глотнуть воздуха и отдохнуть на поверхности, перед тем как снова уйти в глубины. Я уже собиралась пойти к себе, как

вдруг раздался телефонный звонок. Я испугалась. Кларисса? Я представила себе «скорую помощь», врачей... Схватив трубку после первого же гудка, я сказала «алло» почти шепотом.

— Вилли, детка... — проговорил мне в самое ухо нежный бархатистый баритон. — Черт возьми, как я рад слышать наконец твой голос!

Это был Праймус Дуайер.

Глава 22

ПРАЙМУС ДУАЙЕР, или шут ГОРОХОВЫЙ

Потеряв дар речи, я так и осела на пол. В темноте передо мной мигали цифирки видеоманитофона.

— Вилли? С тобой все в порядке?

— Да, — прошептала я. — Просто целый месяц уже прошел, а ты все не звонил.

— Какая же ты глупышка! Неужели не понимаешь, что я не всегда имею возможность позвонить? Мобильная связь в тундре не работает.

— Да, я знаю.

В повисшей затем долгой паузе я слышала пронзительные крики крачек и чаек, гудение мотора, голоса. Праймус находился где-то в обитаемом месте — возможно, даже в городе. Потом до меня донесся шум прибоя, из чего я заключила, что он, наверное, нашел где-то на побережье платный телефон.

— Ты где? — спросила я, почти не слыша собственного голоса — так сильно колотилось сердце.

— Где? Ужинаю. Вернее, ужинал. Они думают, я торчу сейчас в туалете. Йэн с тех пор с меня глаз не спускает, а сегодня вот слабину дал, и я воспользовался случаем, чтобы тебе позвонить. Набрались мы все тут, по правде сказать, хорошенько. Празднуем. Статью закончили, Вилли, представляешь? Уже отослали в журнал, так что скоро выйдет. И ты там стоишь в списке авторов. Побороться мне, правда, за тебя пришлось. И я боролся. За тебя!

— Вот как? Ура.

— Послушай, милая, я долго говорить не смогу, иначе они меня хватятся. Я позвонил, просто чтобы узнать, не злишься ли ты на меня до сих пор. Да и не можешь ты сердиться, ты же у меня такая умница, такая лапочка. И знаешь, как мне не терпится поскорее увидеть тебя снова на занятиях! — Голос его стал совсем бархатистым и вкрадчивым, как там, на Аляске, когда он щупал меня за попку. Сейчас на холодном полу погруженного в темноту Эверелл-Коттеджа мне очень не хватало этих

нежных прикосновений.

— Подожди-ка, я что-то не понимаю, — сказала я и услышала коронный отрывистый смешок.

— Чего ты не понимаешь?

— Как чего? Я думала, меня вышибли из института за то, что я чуть не убила... твою жену.

Он хрипло усмехнулся:

— А-а, ты об этом... Нет, это ты напрасно. Она действительно довольно ревнива, но мы ее уже успокоили, и к тому же нам вовсе не обязательно говорить ей о твоём возвращении. Да и осталось-то тебе всего одну главу диссертации дописать. Защитишь ее в декабре, рановато это, конечно, зато потом тебя ждет блестящая карьера. Имея авторство в этой публикации, ты найдешь хорошее место где угодно. Или я помогу тебе найти хорошее место. Обязательно помогу. Я слышал, можно пристроиться в Принстоне. Я наведу справки.

— В Принстоне? Но это так далеко от Калифорнии! От тебя!

— Ну, знаешь, милая... — Он вдруг замолчал, и от этого дыхания в ухо я чуть было совсем не расклеилась, но когда он снова заговорил, голос его звучал металлическим басом: — Прости, дорогая, я что-то не сообразил. Я, признаться, думал, ты насчет этого не такая ранимая. О тебе же всегда говорят, ну... Не то чтобы ты неразборчива, а что не склонна привязываться. Не склонна привязываться к мужчине.

— Ничего подобного. Кто это тебе сказал? Я очень даже привязываюсь!

— Джон сказал, твой приятель. После твоего отъезда. Я такого про тебя понаслушался! Ты у нас, оказывается, взбалмошная.

— Ничего подобного, никакая я не взбалмошная, просто легко поддаюсь чувствам.

После паузы он продолжил, но голосом уже более сдержанным:

— Вилли, да разве ж я знал?! Разве я знал, что ты привяжешься? Прости меня, Вилли, но мы... мы не можем... Ты же знаешь, что мы не можем быть вместе. То есть можем, пока ты не закончишь диссертацию, а потом будем встречаться на научных конференциях каждые несколько месяцев. Но рядом со мной тебе быть не стоит, иначе моя жена что-нибудь заподозрит, а этого допустить нельзя.

— Ну конечно.

— Разумеется, я тебя очень люблю.

— Не сомневаюсь.

— Ты просто шикарная девчонка и... не знаю, нужно ли это говорить, шикарно трахаешься! Ну и большая умница, конечно. Так что за твое

будущее я спокоен. В любом отношении. Уверен, тебе повезет во всем.

— Спасибо, — хмыкнула я.

— Вот видишь? Ты и сама все прекрасно понимаешь! А сейчас, знаешь ли, мне надо бежать, иначе они подумают, что я утонул в сортире, и побегут спасать. Ха!.. Ну пока, береги себя.

— Подожди, — остановила я его зазвеневшим голосом, который, казалось, забился о стены темного Эверелл-Коттеджа. — Мне надо кое-что сказать тебе.

В этот момент у меня было такое чувство, будто я слишком глубоко поддела рычагом пол под собой, отчего пол дал трещину и готов был через секунду обрушиться в тартарары вместе со мной.

— Ну конечно, дорогая, говори. — Я уже слышала в его голосе нарастающую нервозность. Я чувствовала, что ему уже не терпелось вернуться в ресторанный зал к своей женушке.

— Доктор Дуайер, — медленно проговорила я. — Я беременна.

За моими словами последовала долгая пауза, после чего он сказал:

— Бог ты мой! Значит, ты не вернешься в Стэнфорд? Ты это хочешь сказать? Хочешь сказать, Вилли, что ты намерена сохранить ребенка?

— Не знаю. Все будет зависеть от тебя.

— От меня?! — искренне удивился он. — Уж не хочешь ли ты сказать, что отец — я?

— Именно это я и хочу сказать.

— Нет. Нет же, этого не может быть!

— Больше никому. Другие варианты невозможны.

— Ты в этом уверена? Полностью?

— С декабря я спала только с тобой, так что уверена, мать твою, полностью! Больше никому!

— Вилли! — простонал Праймус Дуайер. — Это не могу быть я! Много-много лет назад я сделал специальную операцию, ибо моя жена не хотела детей. Моя сперма бесплодна, так что это не могу быть я. Наверное, это кто-то другой.

— Других не было, — прошептала я в трубку.

— И все-таки кто-то должен был быть!

— Нет.

— А я уверен, что если ты хорошенько подумаешь, то обязательно припомнишь. Кто-нибудь был у тебя, на какой-нибудь вечеринке. Может, ты просто запятовала. И знаешь, Вилли, сейчас мне действительно нужно идти. Я попробую позвонить тебе в другой раз. И кроме того, я надеюсь увидеть тебя на кафедре в первый день занятий. У тебя все будет

хорошо, вот посмотришь, прелесть моя. Пока!

— Запомню? — эхом повторила я, но он уже положил трубку. — Запомню? — повторила я еще раз в пустоту, черной безбрежной пропастью жужжащую в моем ухе.

Еще долго я сидела в оцепенении на полу, то и дело порываясь позвонить Клариссе, но всякий раз, берясь за трубку, останавливала себя, представляя себе ее хрупкое измученное болезнью тельце в постели. Наконец я встала и по темной лестнице побрела в свою комнату.

Я чувствовала себя выхолощенной и опустошенной, мне хотелось рыдать в подушку, пока та не промокнет насквозь, и все же, не обращая внимания на привидение, маячившее на этот раз нежно-сиреневым пятном, я забралась в постель и, раскрыв одну из принесенных из библиотеки книг, принялась читать пышную цветистую прозу Джейкоба. От его писанины веяло сентиментальной стариной, и все же это было захватывающее чтение.

Можно сказать, в тот вечер Джейкоб Франклин Темпл собственной персоной убаюкивал меня на ночь — усыплял своим причудливым витиеватым синтаксисом. И привидение старалось вовсю — нависало надо мной все ниже, вселяя в меня мир и покой. И вот, утешив разбитое сердце, где-то перед самым рассветом я наконец погрузилась в сон.

Проснувшись, я услышала какие-то возбужденные голоса и, не успев сообразить, что делаю, пошла вниз по лестнице и только уже там поняла, что это моя мать о чем-то спорит с преподобным Молоканом. На пороге столовой я замерла и стала подслушивать. От материных горячих хлебцев исходил теплый аромат, но в кои-то веки они почему-то не наполняли дом ощущением уюта. Когда мать в очередной раз повысила голос, я прижалась к буфету в углу.

Руки мои, пока я подслушивала, почему-то сами собой схватили с обеденного стола игрушечную лошадку. Я разглядывала лошадку, чтобы отвлечься от внезапных болезненных колик в животе.

В голосе матери я уловила оттенок язвительности, когда она сказала:

— Вот что, Джон. Своих детей у тебя нет, и ты просто не понимаешь, о чем говоришь. И поэтому давай сменим тему.

— Ох, Вивьен! — сказал преподобный Молокан. — Тему мы, конечно, можем сменить, но этим ничего не добьемся. Зачем уходить от проблемы? Ведь мы же хотим спасти твою до...

— ...правильно! — перебила его мать. — Зато мы много чего добились,

уходя от других тем, например, от той, о которой я тебе все время твержу, а ты как будто слышать не хочешь. От такого, например, вопроса, почему ты не проявляешь ни малейшего желания...

— Вивьен, только не начинай опять все сначала! — Приторные елейные нотки куда-то вдруг исчезли из голоса преподобного Молокана. — Я человек Слова Божьего. Слово Божье для меня закон, и мое собственное слово тоже, поэтому я не могу этого сделать, пока мы не поженимся. Я предлагал тебе миллион раз. Если б ты только согласилась...

— Ты знаешь, Джон, что я не верю в...

— Нет, я все понимаю, хотя, по правде сказать, это звучит как пощечина. Зато я не понимаю другого — что такого ужасного ты во мне нашла, что не хочешь выйти за ме...

— А я тоже не понимаю, в чем проблема, Джон...

— Тогда я вообще не понимаю, как мы собираемся разрешить эту проблему. Секс до женитьбы — это грех, и как христианка ты должна это знать. Я люблю тебя, но не настолько, чтобы отправить в ад свою вечную душу. И кроме того, как же я смогу вести за собой свою паству, если сам не буду следовать устоям, которые проповедую?

Вдохнув поглубже, мать выпалила:

— А я в таком случае вообще не понимаю, зачем нам сохранять эти отношения!

Повисла тяжелая неловкая пауза. Солнечный луч, протиснувшись на полки буфета, заиграл на стеклянной чаше, которая, казалось, готова была взорваться. Луч уже перешел на синюю вазу, потом на дальнюю стену, когда преподобный Молокан наконец нарушил тишину, заговорив голосом таким печальным голосом, что даже у меня в душе шевельнулась жалость к нему:

— Что ж, Вивьен, если ты хочешь, чтобы было так, я спорить не буду.

— Вот и хорошо.

— Ладно, — добавил преподобный Молокан. — Не забудь только проследить, чтобы твоя дочь ознакомилась с брошюрами, которые я принес.

— Хорошо, — отозвалась мать.

Я услышала шорох ткани и шарканье, удалившиеся в прихожую. Молокан начал обуваться. Затем дверь в гараже открылась и закрылась, и я услышала, как мать всхлипнула, но тут же взяла себя в руки.

Я стояла в столовой и слушала, как она ходит по кухне, стучая шлепанцами по кафельному полу. Я разглядывала лошадку, которая так и осталась у меня в руках, когда мать вдруг зашла в комнату и направилась

прямиком ко мне. Лицо ее было красным, руки распухли от воды.

— Джон просил передать тебе эти брошюры. — И она швырнула в меня книжонки, которые разлетелись в разные стороны и посыпались на пол подобно божественному конфетти.

Оранжевая задела меня по рукаву, воскликнув: «О, Иисус!»

Розовенькая хлопнула меня по губе, крича: «Помни о спасении души!»

«Да пребудет душа твоя в мире!» — провозгласила лазурно-голубая, угодив мне прямо в руку.

Я поцеловала мать в щеку, она погладила лошадкину гриву.

— Я всегда любила эту лошадку, — сказала она, и тонкая ниточка ее губ задрожала. Она склонила голову мне на плечо. Когда она отняла руку от игрушки, на лошадкином стеклянном глазу остался едва заметный отпечаток ее пальца.

В тот день грусть моей матери приняла тяжелую форму — руки-ноги ее и голова словно налились свинцом. Она все смотрела куда-то перед собой и то и дело поглаживала железный крест на груди. На следующее утро — это было воскресенье — она не пошла в церковь, хотя я везде заставляла ее молящейся.

Я слышала, как она, вечером проходя мимо моей комнаты, шептала: «Господи, спаси нас и сохрани!..» Я слышала, как она молилась за себя, за меня, за чудовище. За нашего Глимми, которого какой-то пришлый кликуша, поселившийся в палатке в Приозерном парке, объявил единственной на Земле непорочной душой. Когда я, проходя мимо, дала этому новоявленному пророку доллар, он вцепился в мою руку своими черными от загара узловатыми пальцами. Напротив него сидел наш городской дурачок Пиддл Смолли и весь день напролет сверлил пророка-чужака глазами, а когда тот схватил меня за руку, тихонько завыл от отчаяния.

И вот теперь мать молилась и за Глимми, и за грязного чужака шамана, и за бедного, провонявшего мочой Пиддла Смолли. Она молилась за моего неведомого отца, за то, чтобы ему достало сил выдержать нашу встречу, когда я явлюсь к нему и скажу, что я его дочь. Она молилась за Комочка, за то, чтобы мне хватило смелости сделать то, что надлежало сделать. Очень много она молилась за меня. А в тот вечер после их ссоры она молилась даже за преподобного Молокана, за то, чтобы он немного расправил плечи и научился держаться свободно. Как раз на этой молитве она заметила, что я ее застучала, и с виноватой улыбкой поспешила отвернуться.

Мое собственное горе было каким-то невесомым и призрачным.

Спасалась я тем, что глотала одну за другой книжки Джейкоба Франклина Темпла, стараясь при этом не пролить слезу над их слюнявым содержанием. Когда я позвонила Клариссе, оказалось, что она сама по уши зарылась в книги и отвечала мне тем рассеянным отстраненным тоном, какой можно было обычно от нее услышать, когда она бывала чем-то сильно увлечена.

— Знаешь, Вилли, тут есть интересные штучки, — сказала она. — Ничего дельного я пока не нашла, но, кажется, серьезно вгрызлась в старину Джейкоба. Может, даже эссе о нем напишу или что-нибудь в этом роде.

За Клариссу я порадовалась, но, когда повесила трубку, принялась щипать подушку: в голову полезли мысли о Праймусе. Я злилась на него, разжигала в себе эту злость и все равно не могла не думать о нем. Он мерещился мне везде, во всех видах — то купающимся на рассвете в озере, то среди туристов, гуляющих по Главной улице, то на вершине багровых туч, пролившихся всепоглощающим ливнем.

Он мерещился мне, когда мы с матерью сидели молча на заднем крыльце, любуясь отражением луны в озере и лакомясь шоколадно-мятным мороженым. Его лицо виделось мне вдалеке впечатанным в стены холмов. Проморгавшись, чтобы отогнать видение, я сказала:

— А помнишь, Ви, когда я была маленькая? Помнишь, как мы любили сидеть тут с диетическим мороженым? А нашу маленькую мантру помнишь?

Мать вздохнула и впервые за все время после ссоры с преподобным Молоканом улыбнулась.

— Помню, — отозвалась она. — И как ты ждала, когда я доем свое мороженое, как говорила, что это вкус лета, и как хохотала потом истерично без всякой причины. Я никогда не понимала, почему ты хохочешь.

— Ну так...

— Что «ну так...»?

— Ну так скажи.

— Нет, Вилли, — сказала мать, поднимаясь. — Какой смысл? Можешь вести себя дома как угодно, но ты больше не маленькая девочка, ты больше не ребенок. — И она ушла в дом, закрыв за собой огромную стеклянную дверь.

Я действительно почему-то хохотала, сидя вечерами на крыльце в одиночестве, и смешило меня то, что, какие бы изменения ни происходили с моим растущим телом, какие бы события ни происходили в городе, моя

мать всегда в определенные моменты говорила одни и те же определенные слова, причем одним и тем же тоном и с одним и тем же оттенком иронии. А меня эта ее неизменность веселила — я радовалась тому, что Ви, единственная во всем этом меняющемся мире, не менялась никогда, ни при каких обстоятельствах.

Глава 23

РИЧАРД ТЕМПЛ

Мои родители однажды имели встречу с генералом Вашингтоном, когда я был еще совсем крохой. Моя дорогая матушка была тогда молода и счастлива, отец мой был занят устройством первого Темплтона, того самого, что в Нью-Джерси. Когда громовые раскаты революции подобрались совсем близко, все горожане разбежались. Кроме моих родителей, которые владели поселением и держали трактир.

И вот однажды в нашу дверь постучали. Когда отец открыл ее, на пороге стоял генерал Вашингтон. Он поклонился. И отец поклонился ему. Генерал вошел, и был он таким учтивым джентльменом, что не позволил себе выразить удивления при виде меня, а ведь я-то даже о таких младенческих годах волосат был как мартышка. Он спел мне колыбельную и баюкал меня на коленках, пока дожидался ужина. Многие годы спустя во втором Темплтоне, в том, что в Нью-Йорке, отец мой завораживающим шепотком, несвойственным его громогласной натуре, рассказывал всем желающим о Вашингтоне — о человеке, который, по его словам, излучал добро. Об очень хорошем и поистине великом человеке.

Но для меня история эта может считаться завершенной, только если поведать о событиях, последовавших за этим, то есть о наемном гессенском полковнике Ван Данопе, воевавшем за Англию. Как и Вашингтон, полковник этот тоже постучался в дверь и вошел в наш трактир. Мне запомнилось его узкое хитренькое, как у ласки, лицо и длинные пожелтевшие ногти. В отличие от Вашингтона этот лощеный джентльмен попросту вытаращился от удивления, когда увидел меня. Потом, скривившись, попросил мою мать унести меня прочь. Сказал, что я, видите ли, порчу ему аппетит. Отец мой со злости подсыпал ему в пирог с зайчатинной рвотного порошку, и полковник так занедужил, что на следующий день проиграл сражение повстанцам.

Много лет спустя, уже после смерти моего отца, я просто так, для смеха, рассказал обе эти истории моей жене Анне. Она в это время расчесывалась перед сном, а я любовался ею, глядя по роскошным белокурым волосам. Она тогда была тяжела ребеночком, и мне казалась даже прекрасней, чем в самом начале, когда я, робкий и неуверенный как

крот, понял, что она обхаживает меня. Месяцами эта крепкая румяная фермерская дочка провожала меня домой из церкви и болтала так весело, что мне самому и словца молвить не было нужды. А однажды она взяла меня под руку, и я в панике понял, каковы ее намерения. Я смотрел на нее, такую цветущую и сладкую, и хоть по натуре своей не склонен действовать впрямую да сгоряча, но тогда сразу понял: вот она, моя судьба, — и тут же попросил ее руки.

И вот в тот вечер через год после нашей свадьбы, после того как я рассказал ей эти две истории, она повернулась ко мне, и в глазах ее были слезы. Я очень испугался за нее, не болит ли у нее чего, но она положила на столик гребешок и взяла меня за руку.

— Ах, Ричард, — сказала она. — А знаешь, почему ты рассказываешь эти две истории вместе?

— Нет, Анна, не знаю, — недоуменно ответил я. Я-то думал повеселить ее, а вышло так, что она прослезилась. Тут я совсем непохож на своего брата и совсем не умею смешить людей. — Прости, если причинил тебе боль, — продолжил я. — Я думал, обе истории забавны, если их рассказывать вместе.

— Нет, ты не причинил мне боли. — Она сжала мою руку. — Я знаю, почему ты рассказываешь их вместе.

— Как же ты знаешь? — спросил я мою милую девочку, глядя ее пальцем по щеке.

— А вот знаю, — молвила она. — Рассказанные вместе, эти истории доказывают, что твой отец любил тебя. Ты боишься, Ричард, что он не любил тебя, но где-то в глубине души знаешь, что любил. И когда-нибудь, ты сам знаешь, настанет день и ты простишь его.

Ее пронизательность потрясла меня, ведь я никогда не говорил ей, что готов простить отца, этого я никому не говорил. Я только писал это в моем дневнике, но моя Анна была слишком порядочна, чтобы читать такие интимные признания. Просто она, моя голубка, сама догадалась, зная мою натуру.

Затрудняюсь я припомнить, что сказал Анне после этого, и сие обстоятельство только лишь печалит меня, ибо разговор того вечера стал последним моим воспоминанием о ней. Через неделю она умерла от родов, и наш новорожденный сынок всего через несколько мгновений последовал за своей матушкой, такой крошечный он был, такой безмолвный, такой синенький.

В моменты несуетного спокойствия, когда я, скажем, объезжаю фермы для сбора ренты, на память мне приходят строки Публия Сирия: «Амор

animi arbitrio sumitur, non ponitur», что означает: «Мы выбираем себе любовь, а о ее конце никак не помышляем». Это те крохи знаний, что получил я от вечно пьяного учителя, приставленного ко мне в детстве в Берлингтоне. И слова эти можно в равной степени отнести и к Анне, и к моему отцу, хоть и на разный, даже совершенно противоположный манер. Я даже представить не в силах, что мог бы перестать любить Анну, ее образ отпечатался в моем сердце навеки, он врос туда как золотиносная жила в плоть скалы. А вот любовь к отцу я хоть и хотел бы сохранить, но не могу.

Я обожал его, обожал всем сердцем. Долгие годы, пока отец созидал Темплтон, мы с матушкой жили в доме одни — если не считать слуг и моего подагрического бесноватого деда Ричарда. Когда отец наезжал домой — обычно дважды в год, тихий набожный мир моей матушки словно взрывался и виделся мне будто сад во всем буйстве его цветов и красок, который доселе я мог зреть лишь в унылых серых тонах.

— Ричард! — кричал обычно отец, передавая поводья конюху. — Где ты, мой маленький бабуин?

И я, в свои десять лет уже ростом со взрослого мужчину, пулей выбегал из дому ему навстречу. Он подхватывал меня, подбрасывал в воздух словно щенка и ловил налету. В доме я любил прятаться в бельевом комодe в родительской спальне и оттуда тихонько наблюдать за спящим отцом, стараясь запечатлеть в памяти черты его безмятежного во сне лица. Я таскался за ним повсюду, следовал за ним по пятам, как его маленькая и более волосатая тень.

А во время его долгих отлучек матушка вечерами частенько усаживала меня перед камином и с удовольствием часами говорила об отце. Матушка вязала, я мастерил из щепок кораблики и домики, а мой учитель или похрапывал, сморенный сном, или неустанно трудился над своей эпической поэмой, начисто вытеснившей из его головы всякие мысли о моем образовании. И хоть иногда мне хотелось пойти побегать по улицам, но матушка моя была простодушна, нет, не глупа, а проста и искренна в помыслах и манерах, так что рядом с нею я чувствовал себя вполне счастливым.

Мне очень хотелось поехать поглядеть на Темплтон, собственными глазами увидеть озеро, о котором с таким вдохновением рассказывал отец, увидеть местных жителей, познакомиться со старым Натти Бампо, великим чудачком и великим охотником, о котором столько рассказывал отец. Мне хотелось увидеть громадного зверя, живущего в озере. Зверя, которого индейцы на своем языке называли Древним Духом Печали и в

существование которого я верил, хотя отец мой презрительно посмеивался над этим мифом, говоря, что видят сего зверя одни только женщины да слабоумные дураки. Мне хотелось сидеть рядом с отцом, внимая тому, чему он мог меня научить. Когда отец был в отъезде, мир для меня становился серым, и матушка, моя тихая беззлобная матушка с ее книгами и цветами, с ее вечными беременностями и мертворожденными младенчиками, вновь занимала полноправное место в моем сердце. Но я продолжал грезить о Темплтоне, об огромном озере, мерцающем по ночам, о далеких холмах; я представлял себе Темплтон цветущей золотой Аркадией, где улицы сияют полированными мостовыми, где ветер поет в деревьях, где люди сыты, румяны и благородны, как мой отец.

Но однажды, приехав домой из Темплтона, отец нашел матушку в совершенно невменяемом состоянии, причиной коего стала большая доза опиума — зельем этим накачал ее доктор, после того как она потеряла очередного ребенка и впала в отчаяние. Отец с ревом носился по дому, едва не разгромив его в пух и прах, швырнул доктору в лицо его шляпу и велел слугам паковать вещи. Всю ночь я не сомкнул глаз, дрожа от предвкушения радости. Да и как же мне было не ликовать, ведь мы уезжали в Темплтон! Вот подоспело время отъезда, и все вещи были собраны и упакованы, и дом пуст, кроме комнаты моей матушки. Еще не придя в себя от действия опиия, с трудом ворочая языком, матушка уселась намертво в кресле и отказывалась встать и пересест в повозку. Тогда отец в ярости схватил ее вместе с креслом и, держа высоко над головой, отнес вниз как королеву. Нес по всему дому, вниз по лестнице, а я бежал сзади, простирая руки, чтобы в случае падения поймать мою бедную перепуганную матушку. А во дворе вокруг нашего обоза уже собралась толпа, потешавшаяся сим зрелищем, и моя бедная матушка, запрятав от стыда лицо в передник, тихонько всхлипывала, когда отец водрузил ее прямо вместе с креслом на самую последнюю в обозе повозку.

Сделав это, отец повернулся ко мне.

— Ричард, сынок, поехали! — проговорил он и, вскочив на своего прыткого конька, вручил мне поводья кобылы.

Но я не мог оставить мать вот так, одну, дрожащую от страха и унижения, поэтому отворотил глаза. Лицо мое пылало, и сам я сгорал от негодования. Отец недовольно что-то буркнул, прищпорил коня и поскакал вперед, а мне потом еще очень долго казалось, что я прямо-таки слышал треск, когда надломилось мое сердце. И все же я ехал рядом с матерью через весь Берлингтон, ласково и робко держа ее за руку. Когда мы поравнялись с домом моего деда, она вдруг выпрыгнула из повозки как

кошка, побежала в сад своего отца и там укрылась. Мне же не осталось другого выбора, как последовать за ней. Я смотрел вслед удаляющемуся отцу, и меня обуяло невыносимое чувство утраты, словно я видел отца в последний раз.

Но позже, когда мы с матушкой наконец ехали по суровым и диким просторам в Темплтон, сердце мое едва не лопалось от радости. И хотя поселение это оказалось еще очень маленьким и не вполне обжитым, в день приезда оно показалось мне идеальным. Джейкоб появился на свет, едва матушка успела ступить на порог дома, и сразу же огласил окрестности своими требовательными воплями, как он это всегда делал. С тех пор как он родился, матушка словно забыла обо мне. Джейкоб был очаровательным ребенком и таким непоседливым, что и матушке, и Почтенной приходилось обеим приглядывать за ним, и уматывались они так, что иной раз валялись замертво с ног, и тогда бедный Минго вынужден был носиться за малышом, который так и норовил забраться на всю мебель подряд в гостиной. Джейкоб с младенчества был любимцем не только в нашем доме, но и во всем городе, а потому и неудивительно, что жизнь его сложилась так, как сложилась. Иногда меня посещала мысль, что если никто вокруг не хочет проявить к нему строгость, то, стало быть, я как старший брат должен попробовать сделать это. Я бранил его за самые незначительные провинности, но он или сверкал на меня своими черными глазенками, или пинал меня по коленкам, или бежал с воплями к матушке, а та потом укоризненно смотрела на меня и возмущалась, недоумевая, зачем я, взрослый мужчина, мучаю маленького братца. А он, сося пальчик, сверлил меня насмешливым взглядом, этот ребеночек, который уже в два года умел ляпнуть про меня нашему гувернеру такое, отчего старый француз принимался хихикать себе в бороду. Когда ему стукнуло пять, я прекратил всякие попытки, и, должен вам сказать, результат оказался даже лучше.

Но в первые месяцы после нашего с матушкой приезда в Темплтон, особенно после того как я провалил вступительные экзамены в университет (гувернер, прости его душу грешную, так ничему и не научил меня), я стал еще ближе лхнуть к отцу. Отец был занят по горло устройством города и утопал в бумагах. Его помощник-писарь, индейский мальчонка Кулачок, только раз глянул на меня и сразу понял: ему подоспела замена. Через две недели он дал деру, и я стал у отца секретарем.

Летели годы, а мое восхищение отцом только росло. К нему шли все — и кому надо было провести к дому дорожку, и кому жениться, и кого

рассудить в споре. Отец был сильным человеком, и никому никогда не удавалось уложить его в борьбе на землю. Постепенно я стал у него правой рукой, особенно когда он начал вступать в политику. Я объезжал дальние фермы, собирая арендную плату, и вел счета. И все за бесплатно — только за дружеский отеческий хлопок по спине. Все эти кропотливые труды, разъезды по раскисшим от грязи дорогам, холод и сырость — все это терпел я ради того, чтобы мой обожаемый отец вечером, когда я часами напролет строчил под его диктовку письма, всего один раз взъерошил мне на голове волосы.

Когда я был совсем еще мальчиком, мне иногда страстно хотелось быть таким же веселым и беспечным, как мои румяные сверстники, целыми днями съезжавшие на санках с горы или игравшие в парке. Но в четырнадцать я уже не знал, как поговорить с ровесниками, я даже не знал, что имею право залюбоваться девушкой. Уже потом, когда не стало моей бедной Анны, я нет-нет да и поглядывая на чучело рыси в мужском клубе, ловил себя на неприятной мысли, что очень похож на несчастное животное. Я был таким же чучелом, как эта набитая опилками и тряпьем мертвая кошка, ибо мой отец вовсю постарался набить мою оболочку по своему разумению.

Впоследствии мой отец примкнул к тори. Я же если и имел на то время какие сомнения, держал их при себе. К тому же я по-прежнему был без ума от отца, чтобы судить его в душе более или менее строго. Я даже не заметил, когда Элиу Финни отвернулся от нас. Никогда не слушал я сплетен, ходивших о моем отце, — всех этих разговоров о его шашнях с девицами и о взятках. Не заметил я, как мой отец, который когда-то был беден и необразован, начал презирать бедных и необразованных.

А потом случилась та поездка в Олбани, за два месяца до выборов. Мой отец, тогда уже сенатор, поехал заседать на сенатской сессии, и этот его адвокат-дьявол Кент Пек и я поехали с ним. Кента Пека я ненавидел с того самого дня, когда он объявился в Темплтоне. У меня вызывало отвращение и его испещренное рытвинами лицо, и этот гадкий запах, исходивший от его одежды. И бесило меня то, что называл он себя третьим сыном моего отца. Во время таких поездок мой отец с Пеком взяли за привычку опрокидывать по стакану виски в каждом придорожном трактире, так что когда мы наконец добрались до постоянного двора в Олбани, они оба уже валялись из седел. Я отродясь не пил, поэтому занимался поклажей и лошадьми, когда отец с Пеком вывалились из дверей постоянного двора, держа по ломтю сыра и хлеба в каждой руке, готовые к пьяным подвигам в городе.

Увидев меня в конюшне при свете лампы, отец взревел: Ричард, мальчик мой! А ну пойдем-ка с нами! Давай-ка посмотрим, выросло ли у тебя то, без чего не обойтись ни одному мужчине!

Я, как обычно, собирался отказаться — думал, что лучше сделаю какие записи в своем дневнике, перекушу да погреюсь у огня на сон грядущий. Так бы я и поступил, не открой рта этот дьявол Кент Пек.

— У кого выросло? У Ричарда? — презрительно фыркнул он, едва не свалившись в водосточный желоб.

Эти его слова и решили все дело. Я всучил скребницу зевающему конюху и поплелся вслед за отцом и Пеком навстречу ночным приключениям. Несколько часов я угрюмо таскался за ними. Сначала побывали мы в мужском клубе, где многие солидные господа энергично пожимали моему отцу руку. Потом зашли поужинать в таверну, где Пек, как ни упражнялся, все никак не мог попасть в плевательницу.

Наконец уже поздно ночью мы вывалились из заведения, отец с Пеком, обнявшись, распевали во весь голос: «По рюмочке, по маленькой, чем поят лошадей...» Ближе к реке дома начали редеть, жилье здесь выглядело убогим, по улицам шныряли крысы. Вскоре мы постучались в дверь какого-то приземистого каменного здания, отец что-то прошептал в приоткрывшуюся щель, и нас пустили.

Внутри стоял сумрак и какой-то странный, как мне показалось, запах. Вокруг камина на стульях сидели мужчины, многих из них мы уже видели в тот вечер во время прогулки по Олбани. Вокруг них суетились девушки, все, как одна, почти не одетые, и то и дело подносили гостям кувшины с пуншем. При виде этих полураздетых девиц зарделся я и потупил взгляд в пол.

Мужчины из гостиной исчезали по одному и через эту дверь больше уже не возвращались. С ними вместе исчезали и девицы. Наконец дошла очередь до Пека — я видел, как он тоже скрылся за занавеской. Потом я видел, как мой отец шепнул что-то на ухо сидевшей у него на коленях рыжеволосой толстухе, та улыбнулась, посмотрела на меня и пошла ко мне развязной походкой. Усевшись рядом, она принялась поглаживать мое колено.

Это ж надо, какая невоспитанность! Потом она задышала мне в самое ухо, а мой отец тем временем взял за руку какую-то миниатюрную брюнеточку. Вот тогда-то я понял наконец, куда попал.

На моих глазах отец встал, чтобы удалиться со своей девицей, а я оттолкнул от себя толстуху и бросился прочь. Я бежал по ночным улицам и плакал — взрослый, двадцатичетырехлетний, мужчина!

Наконец я добрался до нашей гостиницы, забрал свои вещи, оседлал коня и пустился скакать прочь. Всю дорогу думал я о своей бедной матушке, такой маленькой и хрупкой, такой незащищенной и благочестивой. Я считал, что должен рассказать ей все, что она обязательно должна узнать об этом, даже если такая новость опять сломит ее дух.

Но за время долгого пути эта моя решимость порядком ослабла, так что, когда с тяжелым сердцем подъехал я к воротам Темплтон-Мэнора, я уже знал, что должен оградить матушку от того, что знаю сам. Снедаемый горечью, я спрятал в глубине души свою ненависть к отцу и повел себя как ни в чем не бывало, хотя и далось мне это непросто.

Матушка бросилась обнимать меня и расспрашивать, почему я вернулся так рано. Пришлось мне объяснять и скрывать правду за краткосложными ответами и обычной своей неразговорчивостью.

Когда отец вместе с Пеком вернулся, то первым делом отозвал меня в сторону.

— Ричард, сынок, — начал он. — Мне нет прощения и оправдания нет. Я прошу тебя об одном — о благоразумии. Из любви ко мне, сынок, пожалуйста, молчи.

Прикусив язык, я молчал и делал вид, что ничего не произошло. Мне пришлось притворяться так месяцами, и все это время страшная тяжесть камнем сковывала мне сердце.

А в ту ночь, когда отец мой скончался, когда Минго заголосил, оплакивая его, я понял, что произошло. И я, вскочив, бросился на улицу, и чувство, переполнявшее меня, не было скорбью, а было оно, уж такова, видать, черная моя душа, самым настоящим облегчением.

И все эти годы, все эти долгие годы, исключительно ради матушки, я доверял мою ненависть лишь своему дневнику. Мою ненависть к Джейкобу, который медленно проматывал наше состояние сначала своими неудачными попытками в торговом флоте, потом обхаживаниями этой глупой Софи и своих многочисленных дочерей, — все свое недовольство я поверял дневнику. Ему поверял я те чувства, которые переполняли меня, когда я видел, как страдает матушка в разлуке со своим любимым меньшим сыночком, моим младшим братцем. Ему, моему дневнику, поверял я ревность, которая обуревала меня во время наездов Джейкоба домой. И только дневнику поверял я свою скорбь и горе, когда умерла моя Анна. Без нее я больше не был мужчиной, а только каким-то жалким бестелесным скелетом. И с ее уходом вся моя былая благость куда-то испарилась из меня. Я больше уже не находил для людей добрых слов, не находил шуток и смеха. И мало от чьей доброты ко мне — только Дэйви,

Хетти, Маджа — слезы еще по-прежнему наворачивались на мои глаза.

Со временем я предпринял попытку в овладении пером. Ничего особенного. Никаких длинных цветистых фраз, которыми изъяснялся в своих сочинениях мой братец, никаких мудреных слов, в написании которых я не был уверен. Я просто попытался рассказать правду о своем отце Мармадьюке Темпле, да и правдой-то это, в общем, не было, просто это было то, что я знал о нем. Написанное мне понравилось, и я назвал свое сочинение «Колонисты Темплтона». Все это я честно записал в своем дневнике.

Но однажды, вернувшись домой поздно и зайдя в свой кабинет, я обнаружил: дневник исчез из надежного места, где я хранил его. Тогда я припомнил, что раньше в тот же день слышал, сидя за рабочим столом в кабинете, как мой братец говорил внизу нашей матушке, что собирается написать величайший роман своей жизни. И вот поздно вечером я смотрел на ограбленный тайник, и беспомощная ярость застилала мне глаза. Попадись мне в тот момент мой брат, я бы свернул его тоненькую шейку двумя пальцами. Свернул бы и смотрел, как жизнь медленно покидает его. Я, не раздумывая, оставил бы его дочерей без отца, без тени сомнения обогрел бы свои руки кровью. Я не усомнился бы и не дрогнул, ибо понял, что произошло — мой братец, преклонявшийся и благоговевший перед нашим отцом, прочел те записи в моем дневнике и был потрясен прочитанным. Ведь его версия жизни отца должна была остаться в веках, а тут такое! Вот он и избавился от другой версии, уничтожив мое сочинение, утопив его как ненужного котенка.

И все же я не мог причинить ему вреда. Он был моим братом, а узы крови сильнее злости и ненависти. В тот вечер я сидел за ужином рядом с матушкой и слушал, как мой братец разливается в словах, рассказывая гостям (у него к столу всегда бывали гости) о своей будущей книге. Он обещал, что это будет шедевр. Шедевр о нашем отце, о великом Мармадьюке. Матушка моя трепетала от радости, Софи вслух мечтала об экипаже, который они купят на вырученные за роман деньги. А Джейкоб все стрелял глазенками на меня — к нам словно снова вернулось детство, и он провоцировал меня, вынуждал раскрыть рот. Но я молчал. Молчал и мысленно благословлял брата. Я желал ему счастья и процветания и молча жевал ужин. А потом отправился к себе домой в кирпичный домик на берегу озера — домик, который я выстроил для Анны и наших будущих детей, мы о них так мечтали! Только теперь дом мой был пуст, даже слуг не было — они все ушли на танцующие, — и встречало меня лишь гулкое эхо, бродившее меж стен.

Много часов подряд — в сущности, ночь напролет — просидел я в молчаливом одиночестве, снедаемый горем. Передо мной не было моих драгоценных страниц, которым я мог бы поверить обиду и гнев — гнев, черневший и сгущавшийся у меня внутри. И я знал — со временем, рано или поздно, гнев этот пожрет меня. Уже в тот момент я чувствовал: он наполовину завершил свою трапезу и скоро примется за то, что осталось.

Глава 24

ЧТО БЫВАЕТ, ЕСЛИ ДО ПРЕДЕЛА НАТЯНУТЬ СТРУНУ

Работая в библиотеке через несколько дней после разрыва между моей матерью и преподобным Молоканом, я вдруг поняла, что Джейкоб Франклин Темпл почти никогда не писал о женщинах. Вернее, выписал несколько картонных образов дам, чья единственная роль состояла в том, чтобы оттенять врожденное благородство своих мужчин. Его индейские охотники были все, как один, благородными молчаливыми героями, его моряки тоже все, как один, благородные, только еще и пели постоянно, благородные господа — в высшей степени благородны и утонченны, а его лучший персонаж Натти Бампо был просто благороден, и все тут. Даже его длинноствольное ружье было не простым, а исключительно *la longue carabine* — благородным оружием.

К литературным трудам моего предка я не прикасалась с того самого лета, когда в раннем подростковом возрасте меня однажды прошибла джейкобо-франклино-темпломания, и меня тогда распирало от жуткой гордости, что я родственница великого писателя. Помнится, я любила посидеть с какой-нибудь из его книг на берегу озера у нас на заднем дворе, в гигантском разломе старой ивы, в которую много-много лет назад угодила молния. Я просиживала там до самого обеда, читала в те времена, конечно, ради сюжета, и проглотила четыре книги подряд, потому что Темпл если что и умел делать как писатель, так это лихо закручивать сюжет.

Но сейчас, в попытке перелопатить все его творчество, я интересовалась не сюжетом, а чем-нибудь, что помогло бы составить представление о самом писателе. Хэйзел Помрой, помогая мне найти что-нибудь исключительное, уже начинала клевать носом. Питер Лейдер заботливо растирал мне плечи, отчего они только еще больше сковывались и поднимались чуть ли не к самым ушам.

И вот что я выяснила.

Как и я, Джейкоб Франклин Темпл был циник. В «Записках из американской жилетки» у него сказано, что «равенство в социальном

смысле можно разделить на два типа — равенство условий и равенство прав. Равенство условий несовместимо с цивилизацией и может существовать только в обществе, которое лишь на самую малость отодвинулось от первобытного состояния. На практике такое равенство может означать лишь всеобщую нищету».

В отличие от меня он страдал излишней стыдливостью. Взять, к примеру, его «И наконец-то снова дома», где он пишет о своих поездках за границу и выражается так: «Женщины имеют отвратительную привычку закапывать себе в глаза белладонну, дабы те сверкали как бриллианты, коими унижены их пальцы, да еще разрисовывать себе щеки и губы румянами, дабы подстегнуть в себе похотливые мысли, да обнажать пышные белые груди, тем самым выставляя свою сладострастную сущность на всеобщее обозрение и на потребу обществу».

Он совершенно иным, нежели я, образом тоже имел глобальную проблему отношений с отцом. В его романе «Рот Люцифера» главный герой Корнелий (Корни) Ледж, непутевый юный бездарь, лишенный милости богатого отца, отписавшего все свое состояние его брату, отправляется из Олбани в далекий городок Рот Люцифера, получивший название благодаря двум озерам, своим расположением и формой напоминавшим губы — по преданию губы Люцифера, отпечатавшиеся на земной поверхности, когда, сброшенный с небес, тот упал на землю. Там Корни заново учится жить и постепенно становится богатым и могущественным человеком. Он возвращается в Олбани, чтобы показать отцу, чего добился и кем стал, и старик, узнав ставшего знаменитым сына, умирает, подавившись куском баранины.

А вот о женщинах я у него не узнала ничего. Ни в одной книге ни одна не изменяет мужу. Ни разу нигде не упомянуто о любовнице. В мире, созданном пером Джейкоба Франклина Темпла, женщины все невинны и непорочны, а некоторые целомудренны и отважны одновременно.

И все же кое-какая надежда во мне пробудилась — благодаря Клариссе. Когда я позвонила ей накануне, голос ее дрожал от возбуждения.

— Я кое-что отправила тебе, — сказала она. — Уж не знаю, что ты ищешь, но мне это показалось любопытным.

И как я ни молила ее сказать мне сейчас, как ни требовала, как ни угрожала, она лишь посмеивалась и твердила:

— Вильгельмина Аптон, имей терпение! Подожди немного, сама увидишь.

И вот, с нетерпением дожидаясь бандероли, я сидела в библиотеке, погруженная в поиски. Тот день казался мне нескончаемым, и когда

Хэйзел тряхнула наконец своими козьими буклями, намереваясь турнуть меня из читального зала, я зевнула, потянулась и провела рукой по волосам.

Весь день у меня от голода сосало под ложечкой, но я была так увлечена работой, что не обращала на голод внимания. Теперь же я ощутила эти колики с новой силой — даже за живот схватилась и закрыла глаза.

Открыв их снова, я увидела в дальнем конце библиотеки Зики Фельчера. Окутанный золотистыми лучами солнечного света, он сидел на стуле и ждал меня. На коленях у него лежала книга Джейкоба Франклина Темпла. Видя, что я заметила его, он заулыбался, и симпатичная ямочка заиграла на ее щеке — такая милая, она отвлекла мое внимание и от этого дурацкого спортивного костюма, и от его редящих волос.

Он ждал, когда я тоже улыбнусь и окликну его, и только потом сказал:

— Вильгельмина!

Мы оба долго молчали. За окном сверкало озеро. Стайка чаек посыпалась на зеленую лужайку клочками разорванной бумаги. Хэйзел покатила в подсобку скрипучую тележку, а мы все смотрели друг на друга и лыбились как юродивые.

Но тут у меня снова скрючило желудок. Поморщившись от боли, я схватилась за живот.

— Вилли, с тобой все в порядке? — спросил Иезекиль Фельчер, мгновенно подскочив ко мне.

— Да какой там в порядке! — простонала я.

— Давай-ка я отвезу тебя домой, — предложил он, обняв меня за плечи.

Он подождал, когда я соберу в сумку книги, вывел меня из сумрачной библиотеки на дневной свет и усадил в свою машину. Пока ехали, колики отступили, и, открыв глаза, я обнаружила, что мы проезжаем мимо Музея ремесел.

— Ты в порядке? — спросил он.

— Сейчас уже да, — отозвалась я. — Наверное, что-то не то на обед съела.

— Может, просто что-то жирное, — сказал он с неподдельной озабоченностью.

Мы ехали к моему дому, когда Иезекиль Фельчер вдруг остановил свой грузовичок и повернулся, словно собираясь что-то сказать, но вместо этого наклонился ко мне, потом еще ближе и полез целоваться. Я была так ошарашена, что продолжала смотреть в лобовое стекло, и вдруг увидела мать — она выбежала из дома в одной только медсестринской курточке и в

обвислых трусах.

Она постучала нам в окошко, и Иезекиль, покраснев, поспешил отодвинуться. Я выскочила из кабины, а мать, запыхавшись, сообщила:

— Солнышко, там Кларисса на телефоне, да так говорит странно, мне что-то не нравится. Что с ней, не сказала!

Чертыхнувшись, я ринулась в дом, оставив Иезекиля и полуодетую Ви тарашиться друг на дружку.

Подскочив к телефону, я схватила трубку, но поначалу ничего не услышала там, поэтому испуганно крикнула:

— Кларисса, детка, ты где?

И Кларисса убийственно спокойным, почти клиническим голосом, каким она всегда говорила, когда бывала сильно расстроена, сказала:

— Мне кажется, Вилли, что Салли бросил меня.

— Подожди! Что ты такое говоришь?!

— Салли меня бросил. Ради йоги-инструкторши из Аризоны. Это произошло десять минут назад. Пока мы с ним выясняли отношения, она перетаскала все его барахло в машину.

Я так опешила, что смогла только выругаться.

— Не знаю, что мне теперь делать, — сказала она.

Я снова выругалась.

— Ты б ее видела — длиннющая дылда, года тридцать четыре, зубки паршивенькие, и не то что не смазливая, а вообще никакая, — продолжала моя подруга. — Зато у нее есть одно обалденное преимущество — она здорова. Просто пышет здоровьем. Никаких волчанок в заднице, вообще ничего. Они познакомились в больничном буфете, пока я была на процедурах. Как ее туда занесло, такую здоровую? — Кларисса зловеще усмехнулась. — Да заноза у нее, видите ли, засела в ее розовеньком пальчике.

— Ой, Кларисса, я прямо не знаю, что и сказать...

— А ты и не говори. А то я расплачусь. А если уж я начну плакать, это конец.

— Все, я еду к тебе! Сегодня же выезжаю.

— Не надо. Я ненавижу эту квартиру, ненавижу этот город, они напоминают мне Салли. Я не могу здесь находиться.

— А я ненавижу Салли.

— А я его люблю, — сказала Кларисса, и вдруг ее понесло: — Я не знаю, что мне делать! Не знаю, куда мне пойти! Не знаю, что делать! Мне кажется, я убью его, если увижу!

По опыту я знала: подобного рода разговоры всегда были для Клариссы

началом конца. Она, как сильная личность, громила и изничтожала все вокруг, включая себя саму. Вдохнув поглубже, я начала лихорадочно думать, но у меня не получалось — у меня самой мир начал раскалываться на части.

И тут в трубке раздался голос моей матери, которая все это время, оказывается, бесовестно подслушивала нас из своей комнаты:

— Что значит, ты убьешь Салли? Что за ерунда?! А, Кларисса? Давай-ка лучше приезжай сюда, в Темплтон! Я работаю в больнице, пусть и не в ревматологии, но могу тебе гарантировать, что у нас тут лечение первоклассное! К тому же я буду спокойно ухаживать за тобой. И покормлю... У тебя здесь своя комната, и она ждет тебя.

— Ви, но ты же работаешь в отделении по уходу за умирающими, — промямлила вконец перепуганная Кларисса.

— Да, Ви, ты подумай, что говоришь, — вмешалась я.

— Замолчите обе! — стояла на своем Ви. — Разжужжались! Разумеется, Клариссу никто не будет класть в отделение для умирающих. Просто здесь, в Темплтоне, ей будет лучше. Кларисса, детка, я закажу тебе билет и попрошу своего старого приятеля отвезти тебя в аэропорт. Он живет в Ной-Вэлли. Дай мне только пятнадцать минут.

— Мне надо идти, — сказала вдруг Кларисса. — Мне просто очень надо!..

В трубке что-то брякнуло, и мы с матерью хором крикнули:

— Кларисса!..

Я прижимала трубку к уху, слушая дыхание матери, а она сказала:

— Ладно, я ей сама перезвоню, как только обо всем договорюсь.

— Спасибо тебе. Огромное тебе спасибо, Ви!

— А ты-то чего? Я же не для тебя стараюсь, так чего благодаришь?

И тут я почувствовала, как у меня внизу живота что-то лопнуло, и я посмотрела вниз, на свои голые ноги. В ужасе я только и смогла вымолвить:

— Ви...

— Ну что, Вилли? Мне надо звонить в аэропорт!

— Ви, ты мне нужна... Прямо сейчас. Прямо сейчас!..

Я бросила телефонную трубку и услышала материны шаги, несущиеся по лестнице. Пока она неслась мимо всех этих многочисленных огромных комнат, я старалась не шевелиться.

Ворвавшись в мою комнату и глянув на мои ноги, мать в ужасе прикрыла рот рукой. Мы обе стояли, замерев и глядя на мои ноги, по которым алыми струйками стекала кровь, уже пропитавшая коротенькие

штанины моих шорт.

Глава 25 БУРЯ

Я видела все совершенно отчетливо, но происходило это будто не со мной. Мозг мой словно отключился, а тело двигалось само по себе, когда я стягивала с себя шорты и промокалась полотенцем, которое дала мне мать, когда надевала чистое белье и джинсы и даже когда не забыла прихватить толстенный конверт, который получила в тот день по почте — чтобы было что почитать в больничном коридоре. Я послушно последовала за матерью на улицу и села в машину, которую она гнала со скоростью, угрожавшей дрозифильным жизням прогуливающих по улицам туристов. Она пролетала мимо них с таким свистом, что бейсболки слетали с их голов, а купленные в сувенирных магазинах бейсбольные биты вываливались от испуга из рук. Свернув на Речную, мы вскоре подъехали к больнице. Мать усадила меня на каталку и повезла в кабинет дежурного врача, который вправлял плечевой сустав какому-то маленькому мальчику. Когда она не вполне внятно объяснила, что со мной произошло, у мальчика глаза вылупились так, что, я думала, сейчас просто лопнут, и я мрачно представила себе, как они потекут по его личику эдакими раздавленными виноградинами. Дежурный врач, не говоря ни слова, оставил мальчика на санитарку и последовал за моей матерью в смотровой кабинет, где помог ей раздеть меня, а потом, когда мать, все больше не сдерживаясь, начала просто-напросто орать, вытолкал ее в коридор, где ее толстозадые подружки медсестры принялись, утешая, душить ее в своих медвежьих объятиях. А доктор, уложив меня на покрытую бумажной простыней кушетку, спокойным и невозмутимым голосом попросил меня расслабиться.

Глава 26

ПОСЛЕ БУРИ

После ультразвука, оставившего, словно слизень, сопливые жирные следы на моем животе, после осмотра у помятого заспанного психиатра, от которого почему-то пахло попкорном, я, дрожа на своей бумажной подстилочке, ждала приговора. С минуты на минуту мне должны были сообщить, потеряла ли я Комочка. Я думала о Клариссе, о Ви, о привидении, густеющем сейчас в моей комнате, и старалась не представлять себе Комочка, не представлять, как он, если он еще там, до крови рвет себе ладошки от горя, не желая родиться у такой идиотской мамы. Я прямо видела, как он, обвинившись пуповиной, старается просунуть в петлю свою крошечную кротовью головку.

Время шло, а я все лежала, прислушиваясь к всевозможным звукам — к шарканью обуви медсестер, к приглушенным голосам, — и даже уловила прилетевший из буфета кофейный запах.

Пока время нескончаемой тяжестью давило на меня, я думала о нашем озерном чудовище, об одиночестве, веками сопровождавшем его под толщей воды, и мне хотелось плакать от жалости к бедному милому зверю. Это ж надо — столько времени жить в таком одиночестве и в таком холоде! Бедный Глимми, с какой тоской он, наверное, смотрел из глубин на моторные лодки, разрезающие гладь воды, — должно быть, вот точно так же мы смотрим на киноэкран, чтобы увидеть там отражение самих себя.

Наконец, низко опустив голову, вошла моя мать. Затаив дыхание, я в ожидании смотрела на нее, пока она брала стул, придвигала его к моей кушетке и садилась. Взяв меня за руку, она поцеловала ее.

— Ага, значит, я все-таки потеряла его, — сказала я. — Ну что ж, ладно. — Опустошения и страха я в тот момент не испытывала, облегчения, правда, тоже — только какое-то оцепенение.

Но мать все молчала, только раскачивалась тихонько на стуле с закрытыми глазами — видимо, собиралась с духом и молилась про себя.

Потом она открыла глаза, прокашлялась и сказала:

— Солнышко, когда ты поняла, что беременна, ты анализы сдавала?

— Господи, какие еще анализы? Нет, конечно.

— А почему, детка?

— Ну потому что месячные у меня прекратились и меня тошнило все время. И так все было ясно.

— Ага. — Она снова закрыла глаза.

В кабинет ворвались больничные звуки, только теперь к ним прибавился еще новый — это мать нервно постукивала ногой об пол.

— Так вот мы думаем, Солнышко, что ты на самом деле не была беременна.

— Как это? — растерянно моргая, спросила я.

— Ты когда-нибудь слышала о таком понятии, как ложная беременность? Это случается на нервной почве. Женщине кажется, что у нее все симптомы беременности, но на самом деле она не беременна.

— Как это? Но у меня-то не такое...

— К сожалению, очень похоже, что как раз такое.

— Подожди, Ви, но я же не сумасшедшая! У меня три месяца подряд не было месячных! Меня все время тошнило. У меня живот стал расти. Нет, никакая это не ложная беременность, а самое настоящее кровотечение. Это был Комочек.

— Вилли, твое кровотечение — это просто обильная менструация. А все остальное у тебя в порядке.

— В порядке? — воскликнула я, переходя на истеричные нотки.

— Видишь ли, человеческий мозг иногда бывает сильнее тела и проделывает с ним всякие фокусы, заставляя его поверить в то, чего на самом деле нет, — объяснила мать. — А иногда как раз боязнь беременности вводит в заблуждение эндокринную систему, заставляя ее поверить в то, чего нет. Психиатр сказал, что у тебя все в норме, просто ты, похоже, находилась какое-то время в состоянии чудовищного стресса.

В образовавшейся тишине я слышала бубнящий в холле телевизор, проехавшую по коридору каталку и нытье какого-то маленького ребенка, просящегося домой.

— Господи, да я просто не могу в это поверить! — недоумевала я.

Ви устало улыбнулась:

— Вильгельмина, ты на свете не одна, с кем такое произошло. Представь себе, такое случалось даже с мужчинами. Со многими случалось, и не только в этой больнице.

— Хорошо, Ви, тогда назови хоть кого-нибудь!

Мать покопалась в памяти.

— Английская королева Мария Тюдор. Она очень долгое время считала, что беременна, а сама, конечно, не была, потому что была

стерильна.

Я удивленно вытаращила глаза.

— Ты имеешь в виду Кровавую Мэри?! Эту женщину, казнившую тысячи подданных?

— Вообще-то я не говорила, что это всегда происходило только с психически здоровыми людьми, — ответила мать, пряча усмешку.

— Но ты же сказала, что психиатр признал меня нормальной.

— Да, признал, слава Богу.

— Ой, меня, кажется, сейчас вырвет.

— Что ж, зато мы хоть знаем, что это не из-за беременности, — утешила меня Ви.

И она заулыбалась, сверкнув амальгамой зубных пломб.

— Знаешь, Ви, — сказала я, — я люблю тебя ужасно, но иногда мне кажется, что и чуточку ненавижу тоже.

— Ну, это понятно. — Она встала и поцеловала меня в лоб. — Я тоже тебя люблю. И совсем не хотела тебя обидеть. Мне искренне жаль, что так получилось, сочувствую твоей потере.

— А я ведь потеряла, Ви. Правда, потеряла что-то. У меня правда такое ощущение.

Она убрала с моего лица волосы и внимательно посмотрела в глаза.

— Я тебя хорошо понимаю, Вилли. И мне очень жаль, что так получилось.

Ви ушла оформлять бумаги, а я все водила и водила руками по животу, но так и не уловила там внутри никакого сердцебиения. Кишки, кровь, пустой воздух и всякие жидкости — вот что там было. И никто, оказывается, не рос у меня внутри — никогошеньки, никакого даже самого крошечного Комочка!

Долго я ждала Ви на этой больничной койке, пока не поняла: она ушла специально, чтобы дать мне возможность побыть одной. Тогда я взяла в руки конверт, который принесла с собой, конверт, подписанный размашистым почерком Клариссы. Быть одной мне сейчас совсем не хотелось. За окном уже сгущался вечер, когда я надорвала конверт и извлекла из него ксерокопии книжных страниц. Я прочла их на одном дыхании дважды подряд. Ви все не возвращалась. В тот вечер я читала и перечитывала эти страницы снова и снова, потому что благодаря им могла не думать о Ви, о несуществующем Комочке, о Клариссе и о зловещем красноватом свете вокруг меня. И это была благодатная передышка.

Глава 27

НАБРОСКИ И ФРАГМЕНТЫ

Вот что я увидела, когда открыла конверт.

1. Записка, настроенная сумасшедшим почерком Клариссы:

В., проверь-ка вот это. Нашла в одном сборнике. Называется: «Наброски и фрагменты. Посмертное собрание неизданных произведений Джейкоба Франклина Темпла, составленное и опубликованное его дочерью Шарлоттой Франклин Темпл». Издано в 1853 году типографией «Финни и сын», Темплтон, Нью-Йорк. В конце также приведены примечания Шарлотты. Может, разгадка найдется там?

С любовью, К.

2. Отрывок со страницы 334:

...содержит в себе настоящие загадки! Например, в прошлом году по городу гуляла такая вот странная история. Как-то раз три девицы отправились в лес по землянику, сбились с пути и заблудились. Бесцельно блуждая по темной чаще, преисполненные горя и отчаяния, девицы начали ссориться, и одна, разобидевшись на подруг, убежала от них. Страшась приближающейся ночи и огромного медведя, по слухам, обитавшего в тех лесах, две другие девицы пустились бежать и вскоре нашли потерянную тропинку. Спеша домой, они услышали донесшийся из чащи вопль, и такая жуть их обуяла, что кровь едва не свернулась в их жилах. Изодранные колючками и потерявшие дар речи от ужаса, прибежали они по домам. Третья девушка так и не вернулась к утру, и тогда мужчины со всего города отправились на ее поиски, но нашли только обрывок ее подола, а посему было решено, что девушка заблудилась и сгинула в лесу навеки.

Но глубина этой тайны не исчерпывается сказанным, ибо к следующей весне исчезнувшая девушка обнаружилась — она преспокойно жила у себя дома, словно ничего не произошло вовсе. Родные ее на все расспросы молчали, будто воды в рот набрали, однако вскоре всевозможные очевидные факты стали объявляться сами собой, порой противореча

всему остальному — тому, например, что на лице девушки имелось теперь три ужасных шрама на-вроде следов от огромных когтей, и что в ее некогда черных, как вороново крыло, волосах безвременной сединой застыл пережитый ужас, и что ее мать, женищина щуплая и сухая как жердь, скрываясь от людских глаз всего только месяц, ни с того ни с сего произвела на свет божий волосатого младенца-великана, и что городской почтальон видел ее однажды в Онеонте, когда она стирала в реке белье, и мог бы поклясться, что женищина отнюдь не была беременна. Но самым странным в этой истории было, пожалуй, одно наблюдение, и заключалось оно в том, что девица та, всякий раз заведев одного местного джентльмена, начинала дрожать как тростинка на ветру и бежала прятаться. И странным было как раз то, что сей джентльмен хоть и был, по общему признанию, похож на медведя, но происходил, из семьи почтенных и уважаемых горожан, считался благодаря своей робости и мягкости едва ли не бабой и никогда бы не смог...

3. Примечания Шарлотты:

Этот фрагмент представляется мне наиболее загадочным, ибо мне достоверно известно, что мой отец скрывал от всех эту историю и держал ее среди своих самых важных бумаг. Это как раз и любопытно, потому что основана она на всем известных слухах, которые я помню с самого детства. В той настоящей версии девушек было не три, а четыре. Только две из них благополучно вернулись в тот вечер домой, одна вообще не вернулась, а возвращение еще одной было таким, как описано выше. Той девушкой, что не вернулась, была юная Люсиль Смолли. Бедняжка Ада Финни явилась домой в точности так, как было описано выше, и, возможно, смерть от кори, постигшая ее вскорости после ее внезапного появления, была для нее благодатным исходом, потому что беспрестанные слухи о том, что ее брат на самом деле был ее сыном, покрыли бы ее имя несмываемым и нестерпимым позором. (Кстати, неправдой следует назвать и все разговоры о подозрительной волосатости Саймона Финни, у которого уже с пятнадцати лет на макушке имелась проплешина.) Две другие девушки, те, что благополучно вернулись домой, сделались впоследствии почтенными городскими матронами. Юфония Фолкнер, урожденная Шипман, стала ревностным членом методистского церковного хора, а Бетти Райс, урожденная Кокс, вышла замуж за нашего обожаемого мэра и народила на свет десятерых ребятишек.

Глава 28

САГАМОР (Чингачгук — Большой Змей)

Как-то ночью я понял, что девчонка — дикарка. Лет ей тогда было восемь-девять. Проснулся ночью и слышу, как она бродит по хижине. Подняла шкуру и выглянула в ночь — ясную такую ночь, небо в россыпях звезд. Отломил сосульку и запихнула себе в рот. Я поскорее глаза закрыл, понял — она готова проглотить весь мир.

А то было ей еще семь. В семь мы держали Безымянку в хижине. Это внучка моя — Безымянка. Такие страшные вещи с нею произошли, с нею, с ребенком — язык она себе откусила, и было ей всего четыре или пять годков. К девяти она уже выросла в красавицу. Кожа гладкая как гриб — без солнечного света-то — да нежная что мышинное брюшко. Личиком и на Кору похожа, и на моего сына: глаза Ункасовы, а статью в Кору пошла. И созрела рано, быстро выростала из одежек, что шил я ей из звериных шкур. В двенадцать она уже была готова иметь мужа.

Соколиный Глаз все норовил убежать в леса на охоту — лихорадило его рядом с ней. Да разве ж мог он предложить ей сердце? Молода ведь еще очень была. Зато благодаря ему ели мы вволю. Спала она на шкурах.

Вечерами я пел ей старинные песни. Учил ее всякому ремеслу. Корзинки она плела из прутьев таких тонких, что дамы за ткань их принимали. Только, видать, тянуло ее к людям — целыми днями смотрела со склона вниз, на Темплтон, на озеро.

А я целыми днями продавал корзины, откладывал для нее денежку на ту пору, когда меня не станет. Старик я уже был древний, уж кости мои стали каменеть. Болели косточки мои, аж мочи не было терпеть. Все думал выпить травки да и отправиться поскорее в лучший мир. Да вот терпел, монетку к монетке складывал в мешочек. Для нее, для Безымянки.

Вот как-то вернулся я, а у нее волосы мокрые, сама запыхалась, и лицо сияет что твое солнышко. Оказывается, тайком купаться бегала в озере. Беда, да и только. В Темплтоне народ грубый живет, а индейская девчонка для них вообще не человек. Она для них добыча. Но поругать ее у меня духу не хватило. Надо было втолковать ей, остановить, а я этого не сделал

— уж больно радовалась, вот и дал слабинку.

Всю весну прибегала она домой с мокрыми волосами. А однажды что-то, видать, там приключилось. Еще пуще она радовалась, прямо дрожала вся от восторга на своих шкурах, и улыбалась сама с собой. Расспрашивал я ее и так и эдак, а она знай молчок, ни знаком, ни жестом ничегошеньки не объяснила. Только повернулась ко мне спиной да смеялась беззвучно, да как-то странно смеялась — ну точь-в-точь как Дэйви.

Стал я тогда поглядывать за ней и через десять дней увидел это в ее теле. Двенадцать лет девчонке, мужа нет, семь лет сидела безвылазно в хижине — и вот на тебе, носит в себе ребенка.

И кто же это был? Подозрения глодали меня, но я промолчал. Замуж ее надо было выдавать, и я выдал ее за Соколиного Глаза. В день их свадьбы сидел я потом всю ночь на скалистом берегу озера Оцега и все думал о своей бедной девочке. Все думал и смотрел на воду, пока не выплыл на ее поверхность старый белый зверь. Перевернулся, подставил брюхо ночному небу, а я все смотрел, пока он снова не ушел под воду.

Первый раз, когда Безымянка явилась в город, замужняя молодница с ребеночком в животе, там все остолбенели. Такая вот красавица была. Даже красивее Розамунды Финни. Ажно лошадки на улицах спотыкались на ходу. Мальчишки про мяч свой забыли. Вдова Кроган так и застыла с метлой в руке в облаке пыли. А какой-то бедный воробышек при виде моей красавицы внучки сложил крылышки на лету и рухнул с высоты наземь. А Безымянка ступала по городу и вся светилась нежной невинностью. Всяк, кто увидел ее, подумал тогда о чуде.

Тяжелела моя Безымянка, все раздавалась вширь. Уж лето пожелтелопозолотело, за ним осень пришла, и осыпалось золото. Студеным стал воздух, пошел снег. Тогда и настало время для Безымянки. Соколиный Глаз по-прежнему думал, что это его ребенок. Весело напевал он, проснувшись в тот день.

Но я не так думал, меня глодали подозрения. Страшные подозрения. Они больно грызли меня, когда я сидел у порога хижины, где хлопотала одуревшая от виски повитуха Бледсоу. Дэйви, пьяный в муку, носился взад-вперед по тропинке — боялся того, что, как он думал, натворил. Боялся он, что убил девчонку своим семенем. Из особняка пришла служанка, чисто прибралась в хижине. Такое, дескать, было распоряжение госпожи. Это они помогают бедным, благотворительностью называют.

Ни единого крика не вырвалось из этого безмолвного горла. Бедная моя Безымянка, бедная моя маленькая дикарка. Всякий раз, когда повитуха Бледсоу убирала с ее вспотевшего личика разметавшиеся волосы, я все

хватался за свой томагавк. Ждал я, когда выйдет на свет ребенок, и, случись ему было оказаться таким, каким я ожидал, сдается мне, не удержалась бы моя рука, поднялась бы, чтобы размозжить голову его о каменный очаг. Или понесся бы я, скрипя старыми костями, в Темплтон и нашел бы там этого ужасного человека, который сотворил с ней это. Убил бы его одним ударом, хотя сделать это нужно было еще тогда, когда он в первый раз появился на этом озере. Когда он, выйдя из лесу, стоял на обрыве. Когда, увидев озеро, опустился на колени и было ему видение. Вот тогда и надо было его убить, когда не успел он еще наложить на все это лапу, объявить все это своим. Слишком многое, даже больше, чем все, объявил он своим.

Глава 29

«КУПИЛ КАРОВУ ДА ПРАДАЛ СНОВА»

Я забылась сном, а когда очнулась, в палате было темно. Ви дремала рядом в кресле, склонив голову на грудь.

Я позвала ее, и она тут же вскочила.

Она помогла мне одеться и даже вышла вперед на разведку, потому что мне совсем не хотелось ни с кем встречаться на выходе из больницы. Меня вообще бросало то в жар, то в холод, и я радовалась, что на дворе почти ночь.

В нашей старенькой машине, разглядывая бледный профиль матери, я сказала:

— Ты не представляешь, Ви, как я от всего этого устала!

— От чего? От чего ты устала?

— От всей этой кутерьмы. Вся жизнь у меня почему-то кувырком, уже сыта по горло.

Мы свернули на дорожку к дому. Эверелл-Коттедж был освещен, в окне прихожей маячил пышный силуэт преподобного Молокана.

— Знаешь, Вилли, просто так ничего не бывает, — сказала мать. — Выходит, не хватало тебе терпения или чуточку смирения.

Возражать у меня не было сил. Я просто кивнула, вылезла из машины и пошла за матерью в дом. Обняв преподобного Молокана, она прильнула к его мясистой теплой груди. Я слышала, как он шепнул ей:

— Кларисса прилетит завтра днем.

Мать буркнула ему усталое «спасибо», и Молокан улыбнулся мне. В этой улыбке было столько жалости, что я от смущения опустила голову. Когда, обойдя их, я направилась к лестнице и увидела, как они обнимаются, эти два уже потерявших форму, стареющих тела, в душе моей зашевелилась черная зависть.

Когда я проснулась, за окном стоял серый дождливый день и запах отсыревшей августовской пыли, превращавшейся в грязь. Хотя обычно я и вставала с рассветом, но сегодня провалялась позже восьми — все слушала, как дождь стучит по крыше и стекает струйками вниз. Я знала,

что, если не открою глаза, снова усну. Усну и забуду обо всем — и о вымышленном Комочке, обманувшем мой мозг и мое тело, и о Праймусе Дуайере, и о неустроенном, неприкаянном Иезекиле Фельчере, и о вечно ошивающемся поблизости преподобном Молокане, и о своем спермоносном папаше, и о путаной многовековой истории моей многовековой путаной семьи.

Всем этим я по уже сложившейся привычке собралась поделиться с Комочком, но потом вдруг вспомнила, что никакого Комочка не существует и никогда не существовало.

Тогда я решила погрузиться в пятидневную кому, забыться сном, чтобы стряхнуть с себя тяжесть накопившихся мерзостей. Но не успела я даже мало-мальски сосредоточиться, как мать постучалась и вошла в мою комнату. Она стояла над моей постелью и теребила перламутровые пуговицы на своем дурацком обвислом оранжевом кардигане.

Наконец мне надоело притворяться спящей.

— Что это такое жуткое на тебе? — спросила я.

Она оглядела себя и отщипнула несколько свалывшихся катышков.

— Это? Это Джон мне связал на Рождество. Очень теплая штучка.

— Он вяжет? — удивилась я.

— Не знает, чем занять шаловливые ручки. А вот ты, я смотрю, наоборот, совсем завяла. Тебе четыре дня осталось до отъезда. Всего четыре дня, а твое расследование стоит!

— Какой отъезд, Ви? Я не поеду в Калифорнию. Я просто не могу!

Мать присела на постель, и та страдальчески закричала под ее весом.

— Вильгельмина Солнышко Аптон, ты должна поехать туда. Поехать и во что бы то ни стало закончить диссертацию. Я отправляла тебя учиться не для того, чтобы ты в последний момент все бросила.

— Ви, но там же Праймус!

— Ну и что тебе этот Праймус? Ты характером в десять раз сильнее его. Я вообще удивляюсь, как такое получается. Чтобы я уговаривала тебя уехать из Темплтона, когда всю жизнь боялась, что ты никогда сюда не вернешься? Нет, Вилли, тебе обязательно нужно вернуться в Стэнфорд. Ты потом сама пожалеешь. Знаешь, как неприятно будет чувствовать себя неудачницей?

— А как же Кларисса? Как же она приедет сюда, а меня здесь нет?

— Уж кто-кто, а ты ей здесь точно не нужна. Ей нужен покой и уход. Ухаживать за ней я буду хорошо, можешь не сомневаться.

С чувством огромного облегчения я посмотрела на Ви и вдруг заметила, что лицо ее больше не выглядит таким усталым, как месяц назад,

когда я только приехала. Такое впечатление, что разгребание моих проблем подействовало на нее омолаживающе.

— Ты любишь, чтобы было с чем бороться. Правда?

— Да, мне приятно добиваться всего в борьбе. **И** ты, кстати, вся в меня.

— И тебе будет не трудно ухаживать за Клариссой?

— Я люблю Клариссу.

— А-а, понятно, — сказала я, садясь на постели. — То есть к тебе приехала непутевая дочка и ты нашла ей более подходящую замену?

Ви усмехнулась:

— До этого момента я ни о чем таком не думала, но после того как ты сейчас это сказала, думаю, так оно и есть. Да, я жду не дождусь, когда она приедет. Милая девочка. Уж от нее-то я получу все уважение, какого заслуживаю. Мечта моя наконец станет явью. — Она стянула с постели одеяло и подождала, когда я встану и начну одеваться.

С одеялом в руках она стояла и внимательно наблюдала за мной, тогда я, не выдержав, спросила:

— Чего?

— Ничего. Просто мне скоро на работу и я хотела убедиться, что у тебя все будет в порядке.

— У меня все будет в порядке, — ответила я.

— Точно? Помочь ничем не надо?

— Нет, Ви. Поможет мне только одно — если я снова засяду за работу. Сразу же отвлекусь от всяких мыслей.

— Это я как раз и хотела сказать. — Ви уже направилась к двери. — Вообще, я смотрю, ты стала умнеть на старости лет. Я, кстати, твои любимые сдобы испекла, с корицей. Они еще теплые.

— А ты, я смотрю, стала добрень на старости лет, — бросила я ей вдогонку, выбежала из комнаты и, когда она уже была внизу лестницы, крикнула: — Ви, прости, что не сказала этого раньше, но я очень счастлива, что ты счастлива. Что ты наконец позволила себе быть счастливой!

Мать склонила голову вбок, и ее толстенная коса свесилась на сторону.

— Спасибо, — сказала она, и лицо ее залучилось такой радостью, что мне в этот момент захотелось летать.

Рано утром в субботу я позвонила Хэйзел Помрой. Я представляла себе, как она в пижаме, шаркая тапочками, тащится к телефону и ворчит себе под нос. Вместо обычного «алло» она встретила меня дребезжащим старушечьим «слушаю!».

— Мисс Хэйзел Помрой, это Вилли Аптон. Извините, что беспокою, но мне нужно кое-что прочитать вам. Вы позволите?

— Подождите, я принесу свой чай. — Тяжкий вздох.

Она стукнула трубкой о стол и надолго удалилась. Ее не было целую вечность. Снова услышав на другом конце провода ее дыхание, я сказала:

— Хэйзел, я не знала, что вам придется кипятить воду, а то бы просто перезвонила.

— Да нет, я же старая женщина — просто забыла о вас, вот и все. Случайно увидела, что трубка лежит не на рычаге, и вспомнила. Ну а теперь давайте читайте, что вы там хотели.

Когда я прочла ей вслух ту историю, она проговорила:

— Это хорошо знакомая мне вещь — «Наброски и фрагменты». Так что вы хотели мне сказать по поводу этого?

— Ничего. Просто прочла. Вы же советовали мне читать между строк, а здесь, как мне показалось, между строк просматривается много чего любопытного. Вы, например, не считаете, что Ричард как раз и есть тот самый мужчина-медведь, о котором пишет Джейкоб Франклин Темпл? Как думаете, такое возможно?

Я ждала ответа, и сердце мое отчаянно колотилось — мне казалось, что я близка к разгадке.

Она вздохнула.

— Ох, Вилли, все это я могла вам уже давно сказать, просто я не считаю, что подобное могло иметь место. Я думаю, эта история целиком и полностью вымысел, целенаправленный, намеренный вымысел. Ведь дело в том, что всю свою жизнь Джейкоб был зол на брата. Злился на то, что тот родился первым, что был у отца любимчиком. И позже, когда Джейкоб промотал семейное состояние, Ричард вызвал Джейкоба домой из Европы и грозил ему, обращался с ним как с тем капризным маленьким мальчиком, каким тот был в детстве, и Джейкоб вынужден был это терпеть. Вот он, я думаю, и написал подобное из мести, но так и не закончил. Слишком уж смехотворно это выглядело. Вещь эта не вылилась в роман, а так и осталась в набросках.

— Хорошо, но история эта откуда-то взялась, правильно? Даже если подобное и литературный вымысел, это не означает, что у Ричарда не могло быть незаконнорожденного потомства. Пусть не это, а что-то подобное ведь могло же произойти, не так ли? А может быть, у него просто был роман с этой самой Адой Финни.

— Дело в том, что я слишком хорошо знаю эту семью и считаю, что такое просто невозможно, — принялась возражать мне Хэйзел. — Ричард,

насколько мне известно, был, что называется, чистая душа. Мармадюк всегда говорил, что у его старшего сына добрейшее сердце. О нем известно, что он был жутко целомудренным. До такой степени целомудренным, что боялся обратиться к любой женщине, кроме своей матери, и так, говорят, сторонился женщин, что его будущей жене Анне пришлось долгие месяцы ходить вокруг него кругами, прежде чем он открыто взглянул ей в лицо. Кроме того. Ада Финни, как выяснилось, бежала той же осенью в Онеонту. С каким-то молодым повесой по имени Гар Уилсон.

— Но возможно, хоть часть истории правда? — продолжала настаивать я, чувствуя в душе, что все мои тщательно продуманные версии начинают рассыпаться в прах. — Может, Ричард изменил своей натуре и спутался с какой-нибудь девицей? Может, он бежал с той самой Люсиль Смолли. Ведь она же не вернулась!

— Нет, — решительно заявила Хэйзел. — Это просто невозможно.

— Но почему?

— А потому, Вильгельмина Аптон, что к тому времени, когда произошла эта история с походом за ягодами, Ричарда уже не было в живых.

Хэйзел замолчала, и я долго слушала в трубке ее дыхание, потом, не выдержав, воскликнула:

— Но как же так?!

— Это жизнь, Вилли. И мне вообще странно, что вы звоните мне по поводу этой истории, потому что мне казалось, что вы находитесь на правильном пути.

— На правильном пути к чему? — проговорила я, немало удивившись.

— В поисках недостающего звена, ведущего к происхождению вашего отца, конечно, — сухо ответила она.

Уставившись в окно, я стояла, ослепленная солнечным светом, пока до меня не дошло, что Хэйзел только что проболталась.

— Вот старая дура! — усмехнулась она. — Опять язычок распустила.

— А кто вам сказал, что я ищу своего отца?

— Ваш приятель Питер Лейдер. Он знает, что я веду исследования истории вашей семьи, вот и проговорился как-то на днях.

— Чтоб ему перевернуться!

— Послушайте, детка, у меня всегда были подозрения, что ваша мать что-то скрывает; я только не знала, что и до какой степени. Так что можете не беспокоиться. А теперь сами решайте, хотите вы или не хотите послушать, что я думаю по поводу того, кто может быть вашим шальным

предком.

— Конечно, хочу! — воскликнула я. — И кто же он? Губернат Эверелл?

— Может быть, — сказала она. — Не знаю только, как много вам удалось бы найти сведений про него. Насколько я поняла, он был неграмотным, так что мне всегда казалось, что искать надо у Мармадьюка.

Опешив, я спросила:

— Вы шутите? Что, правда Мармадьюк? — О Хетти и Губернате, у которого тоже, как и у Мармадьюка, были рыжие волосы, веснушки и свирепый пронзительный взгляд, я уже думала. Конечно, Хетти могла быть не единственной в жизни ошибкой Мармадьюка — мало ли кто еще мог согреть его постель холодными зимними ночами в отсутствие Элизабет. — Но разве он не был квакером?

— Да, но только... — Хэйзел вдруг перешла на шепот, словно нас кто-то подслушивал. — Только есть еще одна вещь, о которой вам никто не скажет, кроме меня. Тайна одна. Дело в том, что Мармадьюк не умер от пневмонии, как пишется во всех книгах. Он был убит, Вилли.

Я онемела. Обретя наконец голос, я только и смогла вымолвить:

— Убит?..

— Знаете что, Вильгельмина... приходите-ка вы ко мне домой, как только сможете. Я вам кое-что покажу.

День за окном был серый, как крылья голубки, и только над дальними холмами мутный ватин облаков прошивали блестящие солнечные нити да зелень какой-то одинокой рощицы причудливо отдавала золотинкой. Я нарядилась в коротенький желтый сарафанчик, оставшийся еще со школьных времен, — мне казалось, что только его веселый озорной цвет мог рассеять мою грусть. Бредя в тумане, я думала о Мармадьюке Темпле. Как выяснилось, я даже на самую малость не продвинулась в своих поисках, но остановиться уже не могла — мои многочисленные предки с укоризной взирали на меня с портретов в холле Эверелл-Коттеджа, ожидая, когда я открою тайну бесчестья знаменитой семьи.

Жилищем Хэйзел оказался аккуратный, выкрашенный в зеленое с черным домик, приютившийся неподалеку от Помрой-Холла на восточном берегу озера. Бывший летний домик, на котором еще осталась старая вывеска — прибитые гвоздями дощатые буквы составляли дурацкую надпись: «Летний дом «Купил карову да прадал снова»».

Постучав, я бесконечно долго ждала, слушая, как Хэйзел, шаркая и ворча себе под нос, тащится к двери. Повозившись с замками — по звуку я

насчитала их три, — она наконец распахнула дверь, представ передо мной в тонкой белой ночной сорочке, застегнутой до подбородка, и в шлепанцах в виде лягушек.

— У вас все в порядке? Что-то вы слишком бледная, — Она искоса глянула на меня.

— У меня все отлично, — ответила я. — Летний дом «Купил карову да прадал снова»?

— А-а, ерунда, — буркнула она, впуская меня.

В доме у нее пахло, как ни странно, весьма приятно — яблоками и сырой землей, и самую малость старушечьим духом.

— Семья, выстроившая в 1880 году этот дом, выручила деньги на него от продажи единственной семейной ценности — племенной телки. Отсюда и название. Глупость жуткая. Да вы присаживайтесь. Я испекла печенье.

Я села на неудобный старинный резной стул, обитый кожей, и она поставила передо мной блюдо. Лежащее на нем печенье было подозрительно идеальным на вид. Пахло от него химией.

— Нет, спасибо. Хотя это так мило с вашей стороны. Так что там насчет Мармадьюка, насчет того, что он был убит? И почему об этом никому не известно, кроме вас? Ведь убийство — это слишком громкое событие, его не замолчишь.

Хэйзел уселась на такой же, как у меня, кожаный стул, и лягушки у нее на ногах выкатили на меня свои выпученные глазищи.

А вы подумайте сами, Вильгельмина, — проговорила она с оттенком раздражения. — Свидетелей того убийства не было. Дело было ночью, да к тому же шел снег, который засыпал все следы. В те времена не было принято валять в грязи имя уважаемого старейшины города, а Мармадьюк, несомненно, являлся таковым. Любые подозрительные слухи передавались шепотом. И все же. — Она вынырнула из вороха бумаг на столе, размахивая увесистым крафтовым конвертом. — И все же кое-что просочилось в прессу. Вот, взгляните на это.

Хэйзел открыла конверт и извлекла из него пожелтевшие потертые листки — страницы из «Фриманз джорнал» тех времен.

— Хэйзел вы стащили это из библиотеки? — ужаснулась я.

— О, велика беда! — прошамкала она, жуя печенье. — У них теперь все в компьютерах. Вы лучше почитайте.

И я стала читать — не только из любопытства, но и чтобы не видеть этой противной каши у нее во рту.

**ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ
«ФРИМАНЗ ДЖОРНАА» ЗА 6 ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА**

Внимание, темплтонцы!

Оглядитесь в ужасе вокруг себя, берегите свои избирательные голоса, оградите уши своих жен и детей от бессовестной трепотни, ибо среди нас затесался мошенник и плут! Человек, готовый предать сословие, в котором был рожден, готовый разрушить устои нашей новорожденной демократии. Человек, вышедший ниоткуда, сколотивший себе состояние на выгодном браке, умело приумноживший это состояние и ставший одним из богатейших людей в этой новой стране. И этот человек теперь выступает за партию, ратующую за формирование американской аристократии и за то, чтобы эта аристократия держала простых людей под своим каблуком. Этот человек, который должен быть благодарен простым фермерам за то, что с их помощью так приумножил свое богатство, заделался отъявленным федералистом!

«О ком это ты говоришь, Финни?» — наверное, спросит меня добропорядочный читатель этой газеты, с досады потрясая ее страницами. Конечно, нет нужды называть это имя, но на тот маловероятный случай, если кто-то не узнал в описанном выше портрете этого человека, этого прощельгу и мужлана, я скажу, что это никто иной, как землевладелец Мармадьук Темпл.

Имя это я произношу теперь с горечью, а ведь когда-то Темпл был мне почти братом. Когда в далеком 1786 году я прибыл в Темплтон и моя юная романтическая душа горела желанием перемен. Пять лет проработав газетчиком, я вознамерился посвятить себя земле. Вдохновленный философскими трудами великих умов, я искренне верил, что единственно настоящей жизнью может быть только жизнь трудяги фермера, человека, из-под чьих ногтей не выводится чернота матушки-земли. Сейчас, в возрасте зрелом, едва ли не почтенном, владея крупнейшим издательским домом в штате Нью-Йорк и этой газетой, я дивлюсь на самого себя, дивлюсь тому, как в те далекие дни мечтал возделывать землю и добывать свой кусок потом и кровью. Впрочем, безрассудство и смелые устремления — это удел молодых. Когда я явился в его контору, в эту убогую развалюшку, в которой он сидел, в те первые годы, он бросил на меня один только взгляд и громогласно расхохотался. Моя известная всем щуплость и маленький рост вызвали у него такое веселье.

«И ты думаешь заняться земледелием? — сказал он. — Собрался возделывать землю этими вот белыми ручками да с университетской

мутью в голове?» Такая откровенная насмешка только подзадорила меня, и я, выпрямившись во весь рост, сказал решительное «да».

К его чести будет сказано, Темплу понравился мой настрой и решимость, и он продал мне участок земли у реки, который какой-то поселенец уже очистил под освоение и вернул Темплу по более высокой цене. «Если вздумаешь заняться чем другим, Финни, я буду рад помочь тебе. Нам в городе нужны образованные люди», — сказал он мне тогда.

Не могу похвастаться, что я протянул на этом своем участке год или хотя-бы даже шесть месяцев. Через два месяца, грязный и простуженный, притащился я обратно к контору Темпла. Он отвел меня в трактир и долго отпаивал горячим флипом. Тогда-то я и поведал ему, что был газетчиком в Филадельфии, а на следующий день, когда я отлеживался в постели в гостиничном номере, он ворвался ко мне и объявил, что заказал мне печатный станок, а мой земельный участок на отшибе обменял на другой, в центре города. Он объявил, что я буду выпускать газету и что называться она будет «Темплтон таймс». Но я назвал ее «Фриманз джорнал».

В те времена я восхищался Мармадьюком. Он очень многое делал для простых людей, правда, как теперь выяснилось, делал это только для личной выгоды. Где многие до него, пытавшиеся освоить дикие земли, потерпели неудачу, он преуспел, ибо сам был из низов и знал, чем удержать людей на земле. Но постепенно Темплом завладела лихорадка алчности, и он вообразил себя истинным представителем знати. Он выстроил себе Темпл-Мэнор, огромный каменный особняк со сверкающей на солнце желтой крышей. «Зачем человеку столько пространства? — спорил с ним я. — Лучше потратить деньги на обустройство города». Но он только подмигивал мне. А позже до меня начали доходить слухи о его других, более темных делах. Мармадьюк Темпл начал обхаживать богачеев, втираться в их круг и, как следствие этого, принял их взгляды. Мрачным для меня стал тот день, когда я узнал, что он обсуждал с ними кандидатуру губернатора от федералистов. В тот день я понял, что он уже не откажется от своих нечестивых устремлений и что я больше не смогу быть на его стороне.

Темплтонцы, я не разговариваю с Мармадьюком Темплом уже целый год, и за этот год я понял одно — что он больше никогда уже не будет тем здравомыслящим добряком, каким был когда-то, и что ради продвижения своих кандидатов ок не постоит ни перед чем и с готовностью пойдет на ложь и обман. И очень жаль, что в его власти многое, поскольку он является окружным судьей. Мне очень неприятно

настраивать общественность против избранного законом чиновника, но я твердо знаю, что Мармадьюк Темпл будет обманывать народ, я знаю, на какое коварство способен этот человек, забывший о понятиях чести и морали. Но в это предвыборное время пусть он знает, что огромное множество людей ненавидят Мармадьюка Темпла, ненавидят настолько, что готовы участвовать в уличных волнениях и что от проклятий, обращенных к нему, у него бы полопались уши. И если бы он захотел прислушаться, то я бы сказал ради старой своей дружбы с этим человеком: берегись, Мармадьюк Темпл! Берегись!

И в заключение, друзья мои, скажу: я буду наблюдать за этими выборами, как ястреб с высоты. А как же иначе? Ведь если газеты не будут настороже, не будут проявлять бдительность к таким вот коррупционерам, то мы можем похоронить свою демократию. Так давайте же будем надеяться, что ради мирного будущего нашего города справедливость все же восторжествует, и эти выборы, а также все последующие пройдут правильным, надлежащим образом.

Темплтонцы, вы смело можете быть уверены в одном: «Фриманз джорнал» всегда будет начеку.

Главный редактор и издатель Элиу Финни.

Я посмотрела на Хэйзел — глаза ее сияли, рот, набитый кондитерским крошевом, расплывался в улыбке.

— Чутье какая, — сказала я. — Вы что, думаете, Финни убил Мармадьюка?

— Почему бы и нет? Выборы могли быть только общим фоном для какой-то более личной обиды. Он же говорит, что этот человек забыл о понятиях чести и морали. Нет, здесь кроется что-то личное. Возможно, по этой как раз причине это убийство — а это было убийство, я в этом уверена — и предпочли замолчать.

То есть вы хотите сказать, что старина Мармадьюк водил шашни с женой Финни?

— Или с его дочерью. Розамунда Финни была известной красавицей и известной кокеткой. Ее легкомысленные похождения даже вызвали скандал, за коим последовал поспешный брак с каким-то дальним родственником. — Глазенки Хэйзел возбужденно горели. — Помните, я говорила вам, что вы находитесь на верном пути? Ну так вот, Розамунда Финни была матерью Ады Финни, той самой бедняжки, что пропала в лесу.

— А Ада, надо полагать, была матерью Саймона Финни, — проговорила я в задумчивости. — Так-так, Финни значит...

Я озадаченно моргала, подумав о единственном знакомом мне Финни, который теоретически мог оказаться моим отцом. Это был прапрапраправнук Элиу, невысокий, лысенький и ядовитый на словцо Фрэнк Финни, владелец местной газетенки «Фриманз джорнал». Ну надо же, Фрэнк Финни! Вот черт, дела-то какие, подумала я и улыбнулась. Я вспомнила, как таскала ему из кафе стаканчики с горячим кофе, когда во время учебы в колледже работала на практике у него в газете, и как однажды чуть не рухнула со стула, до слез хохоча над какой-то его дурацкой шуткой. Он вообще любил отпускать по каждому поводу шутки, и я была единственным человеком, кто искренне смеялся над ними, даже когда они оказывались неудачными. И тут же я с ужасом вспомнила: детишки! Я же приходила к нему посидеть с двумя его непоседами — Джошуа и Тилли, — когда он бывал в отъезде, и я, помнится, все гадала, что за скрытая причина не позволила мне укокошить их тогда.

— Господи! — *Я* встала, — Кажется, мне нужно идти и поскорее поговорить с Ви.

На радостях я чмокнула Хэйзел в сухонькую щечку и только сейчас, наклонившись, увидела в корзинке для бумажного мусора дешевенькую коробку из-под печенья, которым пыталась потчевать меня Хэйзел, выдавая покупку за вершину собственного кулинарного искусства.

По улице я неслась на всех парах. В голове от перевозбуждения образовалась легкая пустота, от выброса адреналина ноги будто летели. Да и как же иначе? Ведь я представляла себе, как брошусь в объятия Фрэнка Финни с душераздирающим криком: «Папочка!» Мне даже виделся маленький пикник на ухоженной лужайке перед зданием театра — там будут Ви, Фрэнк, шампанское с пирожными, и мы все будем весело смеяться в золотистых лучах предзакатного солнца. Невероятная тяжесть свалилась с моих плеч — мое бесконечное расследование закончено, и я теперь обрела отца. Я уже чувствовала, как обожаю Фрэнка Финни, он же один из моих любимых «побегов», а значит, из него получится превосходный папаша. И значит, я смогу вернуться к Клариссе, к своей нормальной жизни в Сан-Франциско.

Однако вскоре меня начали грызть сомнения, а у лестницы, ведущей вниз к озеру, к скале Старейшин, я и вовсе остановилась в нерешительности. Тогда я спустилась к воде и решила посидеть на берегу, подождать, когда уляжется в душе весь этот сумбур. Озеро тихонько плескалось о берег, и я, уставившись в его рябь, думала... Думала и начинала понимать, что ничегошеньки-то у меня не сходится.

Конечно, не сходится! Коротышка Фрэнк Финни с толстыми пальцами и оттопыренными ушами. Да разве я похожа на него? Если только подбородок, да и то чуточку. И даже будь он моим отцом, разве это правильно? Бросить в него эту динамитную шашку — бросить меня в его жизнь. Жена его Линда, и так-то сварливая, тогда и вовсе его запилит, и детям будет неудобно, и сам он, бедняга, будет все время жить с чувством вины, оно будет терзать его постоянно. Я только привнесу в его жизнь еще больше проблем. И дружбе нашей, такой теплой и душевной дружбе, тогда конец.

Еще несколько минут назад я дрожала в восторге от того, что теперь привело мою душу в состояние опустошения. Бежевый бумажный пакет сдуло ветром. Я бросила в воду палочку, и она подпрыгнула только один раз, прежде чем утонуть. На душе у меня было мутно и тягостно. Домой идти я просто не могла.

Так я просидела минут пять, когда вдруг увидела, как слева ко мне приближаются здоровенные коричневые ботинки. Только когда они подошли совсем уже близко, я узнала их. Их, и темные джинсы, и кожаный ремень, застегнутый на последнюю дырочку, и голубую рубашку. Потом я разглядела название книги, зажатой в крепкой мозолистой руке, — Спиноза. Полное собрание сочинений. Я тупо таращилась на эту книгу, затем медленно подняла голову и увидела знакомую шею, и подбородок, и лицо.

— Зики! Как я рада видеть тебя! — воскликнула я, поддавшись внезапному наплыву какого-то теплого чувства, на минуту прогнавшего мою грусть.

— Ну да, я. Эта-а... — Он как-то вдруг растерялся, покраснел, сунул книжку в рюкзак и сказал, присаживаясь рядом со мной: — Слушай, Вилли, мне так нравится это твое платьице. Желтенькое, такое милое. А у меня, представляешь, сегодня выходной. Я видел, как ты выходила из дому час назад, и ждал, когда ты пойдешь обратно.

— Да-а? А зачем?

— Хотел пригласить тебя пообедать. — Он покраснел еще больше и отвернулся.

Задумчиво хмыкнув, я решила подержать паузу. Сразу стало слышно, как вокруг полным ходом идет жизнь — чайки галдят над бакеном, сзади нас по улице грохочут машины, Саскуиханна полощет в своих волнах мшистые валуны. И вдруг день, казавшийся таким мрачным и безнадежным, обернулся, благодаря желтенькому платьицу и Зики, во что-то более приятное и легкое. Сзади на дороге резко просигналила машина, я

от неожиданности вздрогнула и покраснела, а Зики улыбнулся и вокруг его рта опять появились милые ямочки. Я посмотрела на них и почему-то вдруг позвала:

— А ну пошли!

Позже я, конечно, понимала, что тогда делала, но в то время мне казалось, что я наблюдаю за всем со стороны. Я взяла Зики за руку, и все остальное в этом мире словно ушло в тень — я забыла обо всем и только чувствовала тепло его мозолистой ладони.

Вот так, взявшись за руки, мы с Иезекилем перешли через дорогу и через ворота больничной территории вышли к реке. Здесь всюду цвели поздним цветом какие-то кусты; от их мускусного аромата у меня мурашки побежали по коже, чувства обострились, и я ощущала каждую волосинку на своем теле, каждый камушек под подошвой. Мы прошли вдоль больничной ограды, завернули за угол и оказались перед старинным каменным мостом через Саскуиханну — викторианским сооружением с зубчатыми перилами и цепью на входе.

Я шагнула за цепь, Зики последовал за мной. Я слышала, как он дышит мне в затылок. По мосту мы перешли в дальний лес. С одной школьной попойки мне отчетливо врезалась в память крохотная полянка, поросшая папоротником, ее даже было видно с тропинки, по которой мы шли, только нужно было знать, куда смотреть. Туда-то я и привела Зики, и пока я любовалась папоротниками, колышущимися на ветерке, Зики осмелел — стоял теперь совсем рядом со мной, обнимал меня за талию, и руки его слегка подрагивали.

— Погоди. А надо ли? — спросила я.

— Может, и не надо... — Он растерянно ковырнул землю своим огромным коричневым ботинком.

— Эх! Надо, не надо... — Я потянулась к нему. От его теплых губ веяло мятным холодком.

Позже, слушая выровнявшееся дыхание Зики и наблюдая за парящим в небе дроздом, я почувствовала, как чернота снова начала сгущаться вокруг меня. На фоне всего, что произошло за последний месяц, этот коротенький момент с Зики стал чем-то приятным и гладким как шелк. Правда, получилось все черт знает как — неловкие движения, липучая сосновая смола, шепот Зики в одно ухо, назойливое жужжание мухи в другое... Сейчас мне меж лопаток больно врезалась сосновая шишка, и все же я чувствовала спиной жизнь земли, наполненную тысячами мельчайших шорохов и шевелений, растений, насекомых; я чувствовала, как земля

распахивает передо мной объятия. Осторожно выскользнув из-под Зики, я оделась. Зики спал, открыв рот, как ребенок, доверчиво выставив в небо гладкую голую попу. Переходя обратно через мост, я представляла себе, как он проснется через час-другой среди колышущихся папоротников, оглянется вокруг, увидит, что один, и начнет гадать, не приснилось ли ему все. Он погрустнеет, встанет и оденется, а потом обнаружит пропажу Спинозы из рюкзака и тогда все поймет.

Дома я первым делом глянула на портрет дородного Мармадьюка и, укоризненно покачав головой, сказала:

— А ты, дружище, мошенник. Но мы-то теперь знаем про твои тайные делишки.

Уголок его рта чуть дернулся, а может, мне это лишь показалось. Но я вдруг почувствовала ужасную усталость, и сдоба эта с корицей все еще не улеглась у меня в животе, и только мысль о белой пухлой подушке казалась здоровой. Но вздремнуть в тот день мне так и не удалось. Поднимаясь в свою комнату, где-то на середине лестницы я вдруг почувствовала, как в груди у меня что-то ужасно забилося и заклокотало и кожу словно обдало холодком. Лестница стала как будто растягиваться и искажаться, перед глазами у меня все поплыло, я полетела вниз и, очнувшись, обнаружила, что сижу на нижней ступеньке, держась за виски. В ушах как будто что-то хлюпало, перед глазами было темно. Когда я открыла их, то все вокруг было словно покрыто какой-то масляной пленкой.

Поднявшись на слабые дрожащие ноги, я почувствовала это в себе — какую-то тяжесть, что-то тяжелое, огромное и страшное, — и еще я уловила пульс. Но это не были удары моего сердца, и это находилось не у меня в животе, где еще совсем недавно якобы жил Комочек. Оно находилось выше, в мышце между плечом и горлом — как будто бы второе сердце. Я хотела потрогать это место руками, но у меня не получилось. Ноги одеревенели, я не могла шевельнуть головой. И не могла напрячь зрение и разглядеть, как внизу вокруг подола моего платья колышется тончайшей паутинкой какое-то эфемерное облачко.

Мои одеревеневшие ноги пошли сами собой, я как бы со стороны наблюдала за тем, как они поднимаются по лестнице. Они ступали медленно, шаг за шагом, словно тот, кто теперь сидел внутри меня, разучился ходить. А со стен на меня пристально смотрели лица моих предков. Проходя мимо ванной, я краем глаза увидела в зеркале свое отражение — этот мрачный лик показался мне ужасным. И тут я поняла,

что это. Это мое привидение, мой незримый доброжелатель-надзиратель, теперь кружился вокруг меня. Теперь я стала желтком в каком-то яйце, ходячим мозгом, а телом, в котором жил этот мозг, было мое привидение.

Вот так слепившись в одно целое, мы с ним пришли в мою спальню и взяли с постели какую-то книжку. Мои чужие непослушные руки, дрожа, как крылышки колибри, листали ее и наконец остановились на какой-то странице. Палец скользил по тексту, пока не наткнулся на слово. Потом палец отметил ногтем слово и дождался, когда я произнесу его вслух.

Лошадь, — услышала я собственный голос, только какой-то приглушенный, будто уши мои были заткнуты ватой.

Лошадь, — привидение стучало моим пальцем по слову.

Лошадь, — палец перестал постукивать.

Не понимаю, — сказала я.

Потом тот, кто сидел во мне, издал унылый вздох, но у меня уже захватило дыхание, и, выронив из рук книгу, я бросилась вон из комнаты. Я неслась вниз по лестнице, через холл, через большую гостиную в столовую. Не отдавая себе отчета, я подскочила к обеденному столу и схватила в руки лошадку на колесиках. Повертев ее в руках, я поставила ее на стол, встала над ней, подбоченившись, долго смотрела на нее, потом изрекла: «Ну да. Лошадь».

И тут, понукаемая привидением, я начала разбирать ее.

— Стоп! — сказала я, когда отстегнула застежку на маленьком седлышке и оно соскользнуло вниз.

Мои непослушные чужие пальцы вцепились в кожаную подкладку седла и оторвали ее. Под ней я нашла кусок хрустящего пожелтевшего пергамента. Когда я взяла его в руки, привидение с каким-то чпокающим звуком выскочило из меня, и я, согнувшись в три погибели, несколько мгновений задыхалась, чувствуя, как воздух обжигает легкие. Пергамент был очень хрупким, и я старалась держать его нежно, как лепесток. Привидение пурпурным облачком начало перемещаться к выходу.

Постепенно дыхание мое стало ровным, и я все стояла и смотрела на листок, колышущийся на моей ладони от невидимого сквозняка. Края его истерлись, и он, казалось, готов был вот-вот рассыпаться на части прямо у меня в руке.

Я собралась аккуратно развернуть его и прочесть, что там написано, но сначала глянула на привидение — дрожащим волнистым облаком оно продолжало удаляться.

— Кто же ты все-таки есть? — спросила я, но оно не ответило, а только еще больше потемнело из пурпурного в устрашающе баклажанный цвет.

Перебрав в памяти присущие ему черты — положительность, суровую любовь к чистоте, — я, хоть и не произнесла этого вслух, поняла: это, наверное, Хетти. Снова посмотрев на бумагу, я развернула ее и увидела нацарапанные каким-то детским почерком слова «Губернат Эверелл». И стала читать.

Глава 30

ЭЛИЗАБЕТ ФРАНКЛИН ТЕМПЛ

Я часто видела это во сне, задолго до того, как оно случилось. А ложных видений у меня не бывает — я же из квакеров.

Каждую ночь, ворочаясь на жесткой постели, я слышала это — скрип мужских сапог, запах смолистого дымка в морозном зимнем воздухе. И снежок, сеявший с неба по ночам. И где-то вдалеке шум веселой пирушки — он доносился со Второй улицы, с перекрестка, где друг на дружку глядели «Орел» и «Драгун»: в одном собирались федералисты, в другом — антифедералисты; в одном галдели, упиваясь радостью победы, в другом переживали горечь поражения. В голове моей все плыло после горячего крепкого флипа: я воображала себя Мармадьюком, когда я словно вселялась в дородное тело моего супруга.

Луна-молодица, словно прибитая к небу гвоздями, светила над озером и припорошенными снегом холмами. А передо мною лежал город — от холмов до озера в одну сторону; от академии для мальчиков и церквушек до скотоводческих ферм на окраинах; и справа до самого утеса Горный Вид, где приютилась хижина Дэйви Шипмана; и до нового здания суда и тюрьмы слева. И волна неслыханной гордости поднималась в моей душе, распирала мое тело, тело мужа, в котором теперь обитала я, его жена Элизабет.

А потом раздавался этот странный звук, который я затрудняюсь описать, а следом за ним еще более мрачный звук в моей собственной голове — как будто гигантская тыква шмякнулась оземь. И все перед глазами начинало качаться и ходить ходуном, и мое дородное тело, потеряв равновесие, рухнуло. Рухнуло в жесткую мерзлую землю, пропахшую конским навозом. И я валялась посреди дороги, вдавившись щекой в студеную землю. Валялась и смотрела затуманенным взором на пень, торчащий из земли, и вдруг начинала чувствовать, как что-то горячее собирается в лужицу у меня в ухе, шум далекой пирушки постепенно рассеивался, и вместо него теперь раздаются в ушах отчаянные удары сердца. А потом меня окутывала тьма, и вместе с тьмой приходило облегчение.

Смерть мужа я много раз отчетливо, будто наяву, видела во сне. Тайной

всегда оставалось только одно — кто его убил? Врагов у него было много, особенно после этих спорных выборов, прошедших несколькими днями ранее. Подсчет голосов должен был закончиться как раз в тот день. Несдержанным человеком он был, мой Мармадьук, вечно задибался да лез на рожон и из-за силищи своей да бычьего здоровья лишь наживал новых врагов.

Но в ночь убийства я поняла, кто убил его. Еще до его смерти поняла, кто и за что.

А сутками раньше я всю ночь наблюдала за хижинкой Дэйви Шипмана и видела, как всю ночь горел там в окнах свет. Безымянка разродилась только к утру — иначе они погасили бы свет, чтобы дать ей отдых после родов. Уж как хорошо я, родившая семерых, из коих выжили только двое, понимала, каково ей сейчас, бедняжке. С нетерпением ждала я рассвета, хотя из снов своих знала, что грядущий день, вернее, следующая ночь, станет последней для моего Мармадьюка. Стоило мне забыться сном, как приходило это видение, и я просыпалась в ужасе, и волосы стояли дыбом у меня на голове. Стояли дыбом, как шерсть на загривке у зверя. Потом я встала, совершила омовение с моим французским фиалковым мылом, облачилась в мое любимое серое платье и нарумянила щеки.

Тихо прокралась я в западное крыло дома в комнату Мармадьюка.

Открыла дверь и вошла. Сразу увидела, что он не спит — сидит на постели за пологом и смотрит на меня. Он раскрыл мне навстречу объятия, и я, прямо в одежде, упала в них. Я была такой маленькой рядом с ним — я никогда не переставала дивиться тому, как мы смотримся вместе. Так мы и сидели обнявшись — неподвижно, молча. Я вдыхала его запах, он поцеловал меня в висок. Он был горячим как печка, и я, всегда зябнувшая, в кои-то веки согрелась всем телом.

Подумала я тогда, что надобно рассказать ему, что предупредить — это мой долг: пусть побудет дома хотя бы пару вечеров, пока не минует опасность. Но что-то меня удержало, какой-то безотчетный страх. Ведь Мармадьук всегда был непредсказуем и все делал наперекор, вот и боялась я, что захочет он бросить вызов судьбе. Возьмет и выйдет нарочно на улицу, из духа противоречия. Я все пребывала в сомнениях, пока не услышала, как Почтенная бормочет что-то себе под нос на кухне, — стало быть, завтрак готовит. Вот тут-то я наконец отважилась.

— Дьюк... — Но он не дал мне договорить, задушив поцелуем.

— Не надо. Давай лучше помолчим.

— Мармадьук... — повторила я, но он со вздохом отодвинулся и взял

меня за руку.

Мы долго сидели молча, разглядывая столбики кровати да полог, и я уж собралась предпринять новую попытку, как на лестнице послышались шаги Минго, несущего Мармадьюку завтрак, и я поспешила спрятаться за дверь и выскользнула в коридор, когда Минго, зайдя в комнату, присел на корточки перед камином. На пороге я оглянулась и бросила на мужа долгий прощальный взгляд. Даже в ночном белье он казался таким могучим и неуязвимым, что я усомнилась в своем вещем сне.

День тот я пережила с трудом — едва не задохнулась от невыносимого напряжения.

А вот что было потом, после обеда. В гостиной мой младший сынок Джейкоб играл в шашки со своим братом Ричардом. Я сидела с книжкой, Мармадьюк грел ноги у огня. Каждый час кто-нибудь из слуг бегал в хижину Шипмана справиться о Безымянке да поднести повитухе Бледсоу очередной стаканчик виски. Повитуха говорила — для санитарных целей, хотя Почтенная утверждала, что повитуха Бледсоу вечно ходит с подозрительно красной рожой. С каждым часом Безымянка теряла силы. Почтенная каждый час, ухмыляясь, подбегала к Мармадьюку и докладывала о подсчете голосов в конторах «Фриманз джорнал». Говорила, подсчет еще не закончился, и качала головой, и глазенки ее победоносно сверкали. Не нравилась мне эта торжественность, боялась я за мужа.

Близился вечер. Безымянка маялась родами уже сорок часов, и повитуха ничего не могла поделать. Пришел доктор Френч. К вечеру толпа у контор «Фриманз джорнал» рассосалась, и только дымок в трубах придавал городу обитаемый вид. Из окна я видела Элиу Финни — как он считал, считал и пересчитывал и перепроверял избирательные списки. Я наблюдала за ним. Он сидел там до самых сумерек.

Когда уж стемнело совсем, хоть глаз коли, в дверь постучался Кент Пек. Его в городе считали красавчиком, а по мне, так деревяшка краше. Он принес в дом запах конского навоза и свежесвыпавшего снега. Я даже съезжилась под пледом. Мялся все на пороге, шляпу свою фетровую, перед тем как вручить ее Минго, сжимал в руке так, что из треуголки она превратилась в шестиуголку.

— Финни опубликовал результаты, — сообщил он. — Издал

спецвыпуск. В одном только Оцего обнаружил пропажу сорока трех бюллетеней. Подсчитал примерное количество федералистов и антифедералистов и обнаружил несоответствие в восемьдесят голосов. Утверждает, будто это из-за того, что мы всучали людям бюллетени чуть ли не насильно.

— Мы действительно всучали бюллетени насильно. А что в этом такого? — сказал Ричард да рассвирепел разом, побагровел, кулаки сжал.

Бедняжка мой Ричард, он такой серьезный, такой праведный. И что-то неладное творится с ним последние несколько месяцев, как я заметила.

— У Финни-то тоже рыльце в пушку сам всучал бюллетени насильно, я своими глазами видел, — продолжал Ричард. — И урны я развозил и могу присягнуть, что нигде, ни в одном месте до самого Олбани, нарушений никаких не было. А этот злопыхатель Финни просто ужасный человек, мерзавец он, вот он кто!

Все приуныли и приумолкли, а Дьюк сказал:

— Тут теперь главное не что произошло, а что будет. Буйных голов везде полно, и, если верить уличным слухам, что-то у нас скоро случится.

И я, сидя в своем уголке, поняла, что он имеет в виду. Слишком хорошо знала я Мармадьюка, а из слов его поняла: он повинен в каком-то ужасном нечистом деле. Я поняла: замарался он как-то на этих выборах, и обернется все это теперь бедой.

Несколько часов подряд судили они да рядили, что делать, как быть.

Пек предлагал спрятаться где-нибудь, отсидеться, обратиться в суд штата для разбора дела, а пока затаиться и носу не показывать — пусть, дескать, народ уgomонится и все забудет.

Джейкоб сказал, что надобно задать этому плюгавому шотландскому хорьку Финни хорошую трепку, но губернёр одернул его и ответил, что детям положено быть на глазах у взрослых да помалкивать в их присутствии. Зато Мармадьюк остался доволен своим десятилетним сынком, смотревшим на окошко и потрясавшим кулачками.

Ричард ратовал за то, чтобы безотлагательно затеять публичный процесс, привлечь к полемике общественность и настаивать на своей невиновности.

Мармадьюк долго хранил молчание и заговорил, только когда пробили в холле большие часы.

— А я считаю, — проговорил он, — нам надо сделать вид, что все это нас нисколько не задевает. Что Финни состряпал эту шумиху исключительно из злобы. Будем праздновать и делать вид, будто ничего не

произошло. Будем делать то, что полагается делать после победы на выборах.

Сказал он это, и все приумолкли.

— Тогда надо отметить победу, — предложил Пек и трижды постучал курительной трубкой о колено для пущего эффекта. — Идемте в «Орел»!

— Да, и найдем скрипачей, — поддержал его Ричард-

— И подеремся на кулаках, — прибавил Мармадюк и рассмеялся. — Ох, с удовольствием побьюсь я на кулаках с этим «плюгавым шотландским хорьком Финни»! — Он подмигнул Джейкобу, и мальчонка радостно закивал в ответ.

Они поднялись, засобирались, Минго кинулся в прихожую за шляпами, тростями и плащами. Нет, подумала я, этого нельзя допустить, Мармадюку нельзя идти. Я уж хотела встать и подойти к мужу, да переговорить с ним с глазу на глаз, когда в комнату своей лебезящей угодливой походочкой влетела Почтенная. Влетела вся в слезах, и то и дело поглядывала многозначительно на Мармадюка. Тот сразу зарделся, нахмурился.

— Вы только послушайте, какие новости, — заговорила Почтенная. — Эта бедняжка Безымянка, благослови Господь ее невинную душу, умерла от родов.

И Почтенная осенила себя крестным знаменем, а я в своем доме этих католических выходок не терплю. Но на сей раз стерпела. И даже Мармадюк, как показалось мне, уши наострил — слушал новость с интересом.

Вошел Минго. Ричард с Кентом Пеком одевались.

— А ребенок? — спросила я.

Почтенной, по всему видать, не терпелось выложить остальные новости. Шептала она на всю комнату:

— Девочка. Здоровенькая. Да только знаете что, госпожа Темпл, уж больно она крупная для младенца. — И, глядя на притихшего побелевшего Мармадюка, Почтенная набралась смелости и прибавила: — И вся покрыта рыжими волосами. Рыжими! И глазенки голубенькие, каких у индейцев отродясь не сыщешь!

Сказала и ухмыльнулась, носатая, жутковато так ухмыльнулась, как ведьма.

А я тотчас же подумала об этом рыжем волосатом младенчике великане и о сынке моем рыженьком Ричарде, что болтал сейчас оживленно в прихожей с Кентом Пеком, помогая тому надеть пальто. Но я-то знала, что нет на свете человека добродетельней, чем мой Ричард. А матери-то

виднее. Знала я, что никогда не поцелует он ни одну женщину, кроме матери своей. И уж коль женится, то на девушке скромной и простой, да еще долго будет робеть перед ней даже после свадьбы. Это уж я наверняка знала.

Вот тут-то и подумала я о Мармадьюке; посмотрела на него, а он бледнее полотна. Поймал мой взгляд и улыбнулся — неловко, словно выдавил ту улыбку.

— Ну надо же какие чудеса!.. — Стоит бормочет, а глаза от меня прячет... — Надобно послать Дэйви Шипману бочонок вина.

Откланялся и пошел к двери, по дороге потрепав ласково Джейкоба по голове. А мальчонка весь побледнел, гувернер поспешил увести его, испуганного, в другую дверь. И вот стояла я рядом с Почтенной у полыхающего камина, так близко к огню стояла, едва подол не занялся, и смотрела, как надевает он свою шубу. И казалось мне, будто целая вечность прошла, пока влез он сначала в один рукав, потом в другой.

Выходит, слепа я была, когда думала по приезде в Темплтон: вот избавлюсь от этой Хетти, и будет Мармадьюк верен мне. Мне верен и клятве, что давал он перед Богом, когда венчались мы в Берлингтоне. И тут вдруг услышать такое, узнать, что Безымянка, это невинное индейское дитя, произвела на свет рыжеволосого младенца. В тот вечер состарилась я сразу лет на десять.

И на мгновение остались мы с ним в комнате одни — он да я, и больше никого. Разве что сон мой вещей навис мрачной тучей. А во сне том луна в три четверти и шум какой-то да удары глухие в голове. И рухнувшее тело, и кровь, и вечная тьма впереди.

Могла я тогда спасти его? Могла. Удержать дома, не выпустить на улицу, да только не сделала этого.

Мой Мармадьюк, отец этого города, великий человек, великий мечтатель, заглянувший вперед, великий ум и великий дурак. Не удержала я его, дала ему надеть шубу. Дала взять трость и шляпу. И вот повернулся он, чтобы попрощаться со мной, да обвел каким-то тоскливым взглядом комнату. А я словно онемела — так и не нашла в себе сил удержать его, предостеречь, чтоб не шлялся по темным перекресткам.

От смерти не уберегла, но смерти ему, по чести сказать, и не желала.

И вот простучали его сапоги по полу дома, что выстроил он из ничего.

А потом смотрела я в окошко на припорошенные снегом следы, что вели со двора. Смешались те следы, вихрилась над ними поземка, и уж не различала я, где муж мой ступал, а где сын.

И остались мы с Почтенной одни в комнате, и лицо ее заискивающее подрагивало словно мордочка у перепуганного кролика. Сказала мне она, что Дэйви Шипман прямо-таки взбеленился, как увидел у младенчика эти рыжие волосы да голубые глазенки. Словно взбесился, крушить начал все в хижине и повитухе Бледсоу сказал, что убьет судью Темпла. Сказал да выбежал из хижины с ружьем. И Чингачгук, этот старый индеец, туда же все смотрел на мертвое тело малютки Безымянки, а потом схватил свой томагавк да пошел по дороге в сторону города. Повитуха бедная тряслась, из ума чуть не выжила спьяну да со страху. А тут еще этот Элиу Финни напился после подсчета голосов, чего теперь от него ждать?.. Замолкла Почтенная и махнула рукой в сторону дороги.

Не стала хитрющая произносить вслух самое страшное — мне предоставила думать да смекать. Дескать, мое это дело предостеречь его об опасности, от врагов уберечь, домой вернуть. Но я и во второй раз удержалась — только смотрела в черное окошко, в ночь, на серый снег.

Остались мы в гостиной одни — я и Почтенная. Она мне хоть и вражина, но теперь вроде как друг.

Что-то в душе у меня с треском раскололось. Почтенной, конечно, не услышать было того треска, только сидела все рядом, ни на шаг от меня не отходила. Потом позвонила, чтоб принесли чаю. Тут я ей и говорю:

— А я ведь тебе никогда не рассказывала, как на самом-то деле познакомилась с моим мужем. Как обручились и обвенчались мы с ним.

Такого Почтенная ну никак не ожидала — растерялась, заморгала. Видела я, конечно, что хочется ей сбегать на кухню да посудачить там о рыжем Безымянкином младенчике, да здесь-то искушение сильнее вышло. Удивляюсь я вообще, как сердце у нее не разорвалось в ту ночь от возбуждения. Позвонила она, чтоб принесли чаю да ее вязанье, потом уселась рядом со мной и за руку меня взяла.

— Ах, госпожа Темпл, — говорит и жадно так пожирает меня глазами. — Умираю, как хочу послушать эту историю.

И я рассказала ей.

Была я чиста и невинна, двадцати трех лет от роду. Его знала сизмальства, еще с тех пор, как встречались мы на квакерских молебнах. А был он всего лишь приемышем, удрал из многодетной фермерской семьи

Темпл. Чуть не голышом удрал, в одних подштанниках и белье, рубахи даже на нем не было. Босой, без чулок удрал, а мечтал о каретах, о коврах пушистых-ворсистых, всем Берлингтоном завладеть мечтал. И повезло ему, по обыкновению. В тот же день, как удрал из дому, принял его в свою семью Финиас Дорли и стал учить бочарному ремеслу. Когда заприметила я его на молебне, стукнуло ему уже девятнадцать, уже мастером был по бочарному делу. Только неграмотный был, да распутник, да пьянь забубенная. И девкам головы кружил так, что на всю округу прославился. Даже я, благопристойная дочь богатейшего в Нью-Джерси вдовца, наслышана была о его похождениях и выходках.

И вот увиделись мы в тот день на молебне — ждали в молчании, когда снизойдет на нас Слово Божье, осенит нас своим благодатным светом. Стужа стояла лютая, аж ноздри слипались от мороза, и пар клубился над многолюдным собранием, витал над нами, словно вознесшиеся души.

Сидела я на женской половине, и сестра моя Сара рядышком. Как ненавидела я сестру свою в то утро! Такой жгучей ненависти ни один квакер не испытывал. Сара была моложе меня. Моложе и красивее, и легкая как бабочка. Всего через две недели предстояло ей стать женой состоятельного квакера из Филадельфии, вот и трещала она об этом без умолку, остановиться не могла. Даже на молебне только о свадьбе и думала. А ведь замуж идти полагалось мне. Мне, а не ей, распорядиться приданым, что собрала и сготовила я собственными руками. А ей как младшей сестре надлежало состоять при отце и заботиться о нем до самой его смерти. О замужестве ее и речи быть не могло, но ее будущий муж ухаживал за ней тайком, и когда согласилась она, и батюшка наш благословил, то весь мир мой перевернулся вверх дном. Теперь выходило, что мне придется состоять всю жизнь при отце. При нашем брюзгливом надменном богатее батюшке Ричарде ФранкLINE, который ежевечерне топил себя в мадере, но община спускала ему это с рук, так как был он богат, а богатые квакеры могут позволить себе безнаказанно маленькие грешки.

Представила я себе тогда свою будущую жизнь, показалась она мне пустой и беспросветной, и мысли эти грешные даже Бога от меня заслонили. От гнева черны были мысли мои как деготь, как спекшаяся кровь.

И черная злость эта двигала мной, когда я, забыв о Боге, стала поглядывать на мужскую половину, выискивать там кого-нибудь в клубящихся парах, исходивших от множества человеческих тел. И тогда поймала я на себе пристальный взгляд этого распутного красавчика

Мармадюка. Не в моих правилах это было кокетливо переглядываться и улыбками заигрывать с мужчинами, но, видать, злость подхлестнула меня тогда. Только переглянулись, да и дело с концом, а в понедельник оторвалась я от книжки, выглянула в окно, чтоб не видеть сестрицы, что роется в белье да пересчитывает мое приданое, и увидела Мармадюка. Большой, грузный стоял он под дубом и смотрел на мое окошко. Тоскливо смотрел, как бездомный пес.

И почувствовала я тогда власть над ним, и чувствовала эту власть, когда приходил он снова и снова и стоял на холоде под моим окном каждый день целую неделю. Кучер наш выходил к нему выкурить трубочку за компанию и, возвращаясь, всегда ухмылялся над какой-то шуткой. Повариха наша выносила ему украдкой горячего супа в миске, и по игривой ее походке я понимала: между ними что-то когда-то было.

Так наблюдали мы с Мармадюком друг за дружкой, а к концу недели, когда батюшка мой уехал в Филадельфию сделать последние приготовления к свадьбе сестрицы, Сара украдкой вышла к дубу поговорить с Мармадюком. Вот ведь жестокая дрянь! Слышала я, как она хихикала, когда, вернувшись в дом, побежала в свою комнату, а на следующий день я ничуть не удивилась, когда, спустившись к чаепитию, увидела Мармадюка у нас в гостиной.

Он сидел, раздавив своим мощным телом жалкое креслице, — громадный, грубый, в ужасных желтых перчатках. Бедняжка. Совсем не умел вести себя в приличном обществе. Позже он мне признался, что перчатки ему всучил проклятый хитрец галантерейщик. Вот ведь как посмеялась над нами обоими язва-сестрица, пригласив его! Над ним посмеялась и надо мной.

Чашка моя стучала о блюдец, и от стыда я не могла поднять глаз. А сестрица едва со смеху не прыскала, глядя на его неловкость, потом выбежала из комнаты — якобы альбом какой-то принести, а сама уж просто смех не могла сдержать. Тут Мармадюк осмелился заговорить со мной. Голос его дрожал, когда он робко начал:

— Ваша сестрица, мисс Франклин, была так добра, что пригласила меня...

Я перебила его:

— Не добра, а жестока, мистер Темпл. Мысли ее об одном — как бы нам насолить. Невоспитанность вашу хотела она подчеркнуть да и напомнить лишней раз, что замуж мне вроде как теперь не положено. А положено мне заботиться о батюшке до тех пор, пока Господь не призовет к себе его душу.

Насупился Мармадюк:

— Но ведь вы старшая сестра...

Я жестом остановила его — услышала шуршание сестрицыных юбок. Нагнулась к нему, дрожу вся как пташка в руке, и шепчу почти в самые губы:

— Женитесь на мне, мистер Темпл! Женитесь как можно скорее!

Вошла сестрица. А вскоре и часы пробили на англиканской церкви. Ничегошеньки я тогда не видела, кроме блеска его сапог. Этих огромных сапог, что смотрелись так чудно в нашей маленькой дамской гостиной. А ночью услышала я тихий свист под окном. Сара уж спала — должно быть, во снах ей виделась Филадельфия. А я затушила свечку и глянула вниз — там Мармадюк, и лошадка при нем. Столкнула я в окошко сундук свой с приданым, прижала к груди молитвенник (единственная память о дражайшей моей матушке), вышла за порог и бросилась в железные объятия Мармадюка. **И** вот повел он лошадку под уздцы, взвалив себе на плечи мой сундук, сверкавший в лунном свете словно блестящий жучий панцирь. **И** отчий дом мой все удалялся, уменьшался в размерах, и я представляла себе сестру — как она вопит что есть мочи, обнаружив мое бегство, и как отец носится по городу и орет, распугивая воробьев, орет так, что впору мертвым подняться из могил, и так, что даже матушка моя усопшая ворочается в своем гробу. Представляла я себе все это, и душа моя наполнялась радостью, и хохот мой разносился в ночи.

С той ночи стали мы с Мармадюком жить вместе. Жили в разных домах. Сначала была мазанка с земляным полом и грязными, заляпанными жиром стенами. Мармадюк, увидев ужас на моем лице, пообещал мне клятвенно, что будет у меня красивый дом. Потом еще была хижина в Берлингтоне, ничем не лучше первой. Через год мы переехали в другой дом. Он стоял на земле, что дал нам мой отец, желая таким образом наказать Мармадюка — дескать, выше фермера не прыгнет. Но Мармадюк умудрился превратить свое владение в процветающий городок. Это и был его первый Темплтон, его первый колониетский опыт.

А затем мы перебрались в большой кирпичный особняк в Берлингтоне, откуда Мармадюк выносил меня однажды в один позорный для меня день на руках вместе с креслом. И откуда позже выманило меня письмо, выведенное рукой индейского мальчика Кулачка. А говорилось в письме о том, что смазливая рабыня Хетти подозрительным образом забрюхатела. Одной только этой новости мне хватило, чтобы перебраться в этот вот огромный особняк, в Темпл-Мэнор, где в конце концов пришлось мне дожидаться ужасной новости о смерти моего мужа.

К тому времени как я закончила рассказ, Почтенная уж клевала носом. И немудрено — час был поздний. Огонь в камине погас, одни угли мерцали, и в темноте хорошо видны были звезды и луна в три четверти да заснеженная улица за окном. Я представила себе моего Мармадьюка — как стоит он, обливаясь потом, выиграв поединок на кулаках у своего соперника, у старины Соломона Фолкнера, мужчины крепкого и дюжего и лишь нарочно уступившего победу хозяину. Представила, как осушил мой Мармадьюк залпом огромную кружку пива и аж закачался. Ричард с Пеком посмеивались в углу у очага, а Минго прикладывался к стаканчику на кухне в компании косоглазой поварихи, которая не прочь бы побаловаться с ним, не будь он чернокожим. Вдова Кроган выставила моему муженьку новую кружку пива, но он, кивнув, сказал, что сначала хочет выйти на улицу проветриться. Давила на него, видать, не только духота пивнушки, но и тяжкое чувство вины, когда вспоминал он Безымянку — как вышла она когда-то к нему навстречу, худенькая голышка, из озера, и струйки воды стекали с ее точеного гибкого девичьего тела, как не устоял он тогда, не удержался. И тут же перед глазами его возникала другая картина — мертвая девушка в грязной хижине Шипмана и рыжеволосый младенец, горланящий на руках у пьяной повитухи. Быть может, он хотел как-то облегчить жизнь этому бедному младенцу, этой своей новоявленной дочери.

И вот виделось мне, как выходит он из душной пивнушки на темный двор, одинокий, не думающий об опасности. А опасностей в переулках и подворотнях таится множество. В «Драгуне» гудят-галдят антифедералисты, заливают горечь поражения. В «Драгуне» шуму даже больше, чем в «Орле», где празднует победившая сторона. И вот бредет мой Мармадьюк к озеру, любит его ледяной гладью, поблескивающей в лунном свете, любит городом, этим своим детищем, что выстроил он собственными руками.

И, видя все это, я знала, чуяла, когда будет нанесен удар. Я знала, что сделал это не кто-то один. Я тоже приложила к этому руку. Тем, что не предупредила, не предостерегла, не удержала дома. Это я, продрогшая до костей в теплом доме, — я убила его.

Сначала убила, а потом ждала, когда найдут на дороге его обмякшее тело. Ждала, когда кровь вмерзнет в укатанную льдом улицу. Ждала, когда принесут его домой, когда завоет тоскливо в ночи наш пес, когда Минго втащит это хладное тело в комнату, старательно пряча От меня глаза, чтоб не заметила я в них победного ликования. Свои глаза я тоже прятала потом

на похоронах, смотрела в землю, чтоб не видеть того же победного ликования на всех этих исполненных ненависти лицах. В ту ночь ждала я и дождалась. Дождалась, когда постучали, и открыла я дверь, и внесли его тело в дом. В дом, что видел он в мечтах и выстроил для меня. Муж, чье хладное обмякшее тело видела я теперь перед собой. Муж, который никогда по-настоящему не был моим.

Глава 31

ИЗ ГЛУБИН К СОЛНЦУ И ВЫШЕ

Прошло всего несколько часов, а мне показалось — целая бездна времени.

Я сидела с кружкой кофе в руке, с оцепеневшими мозгами и тупо пялилась на Губернатову полуистлевшую бумагу.

Кто-то стучался в гаражную дверь и, не выдержав, пошел звонить с парадного входа. Я живо представила себе Иезекиля Фельчера — как он ежится под мелким дождем в своей тонкой рубашке с короткими рукавами. Я видела каждую морщинку на его джинсах, каждый мускул на его спине, напрягшейся при ходьбе, когда он пошел прочь.

Но я не могла отвлекаться. Сидела и сосредоточенно смотрела, как на моих глазах комната погружается в сумерки.

Дождь прекратился часам к восьми, и лягушки в пруду не преминули отметить это событие радостным хором.

Я все сидела впотьмах, пока не увидела за окном фары подкатившей машины. Только тогда мое оцепенение словно рукой сняло.

Я услышала во дворе голоса и веселый смех Клариссы. Пока они шли к дому, я повернула бумагу так, чтобы на нее падал скудный лунный свет, и еще раз прочла.

ПРИЗНАНИЕ ГОСПОДИНА ГУБЕРНАТА ЭВЕРЕЛЛА СДЕЛАНО 24 ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА

Сиво дня видел, я смерть Мармадьюка Темпла и не смогу уснуть пока не напишу все это на бумаге. А как напишу то засуну бумагу в лошадку которую украл я у малявки Джейкоба Темпла, чтоб не давила на меня больше эта тайна которую нет сил у меня боле держать в себе. Думал я не рассказать ли отцу моему, да потом решил дудки. Больно жирно будет Мармадьюку. Город наш может и принадлежит ему (теперь уж так я понял, принадлежал), город, но не я.

А было время когда любил я Мармадьюка за то что всигда при встрече давал он мне монетки и гладил по головке. Но однажды увидел я его в окошко галантерейной лавки, как примерял он там обновку перед

зеркалом. Увидел я его отражение и прямо врос в землю. Заметил вдруг что очень мы с ним похожи. Заметил я это и с тех пор стал все думать об отце маем Джебедии Эверелле, стал приглядываться к нему и увидел, что ничем мы с ним не похожи. И о маменьке сваей думал, о Хетти Эверелл, как была она рабыней в Темпл-Мэнор еще до того как я родился на свет. И припомнились мне тогда все насмешки и шуточки каких наслушался я в школе. И не трудно мне было смекнуть, что один да один сложить, то выйдет два, и маменьки сваей с тех пор стал я сторониться. Покоя не давала мне эта мысль, изводила все мае нутро. И стал я по ночам шастать в Темпл-Мэнор. Кругами ходил вокруг дома да все злился на малявку Джейкоба Темпла за то что было у него все а у миня ничего. Украл я у него за это много игрушек. Солдатику оловяного украл, мячик кожаный, прыгалки и эту вот красногривую лошадку в которую засуну я мае признание когда его закончу.

Нет, не люблю я этого Темпла вот и решил никаму ничего не рассказывать. В канце-то концов мне десять годков всего и магу я просто прикинуться испуганным маленьким мальчиком.

Так вот что случилось сиводня ночью, когда бродил я по улицам злой на отца за то что лишил он миня за ужином сладкого. За то лишил что плохо я выдубил кожу. А выдубил плохо потому что хотел я играть с мальчишками в мячик на улице. Об этом только думал, вот и испортил ослиную шкуру. Вот и таскался я один по улицам сишбал со злости сосульки злой на отца. Клял его всяко да отправлял ко всем ч...ям. Так забрел я на Вторую улицу, услышал там шум и гам и вспомнил про выборы. В Орле орали громче, вот и подумал я, что фидиралисты выиграли. Подкрался я к окошку и глядел как виселятся там внутри, как скрипочка играет, как дядьки взрослые жуют табак да хлещут пиво кружками, и как Мармадьук Темпл бьется на кулаках с этим здоровенным мидведем колонистом Соломоном Фолкнером. Как потом жали они друг другу руки и как Мармадьук Темпл сказал что хочет вытти проветриться. Пойти отлить — вот что это всигда означало, вот и нырнул я за угол, чтоб не заметил он миня в подворотне и чтоб я дальше мог подглядывать в окошко.

Но он-то и впрямь решил праветриться. Вышел на перекресток Второй и Пионеров да стал любоваться озером и городом. Улыбался даже. И тут у видел я вдруг что-то мелькнуло. Увидел как Элиу Финни вышел из Драгуна, трость у него было в руке с медным набалдашником. Вышел и крадется по улице — вроде как убить собрался Мармадьюка. А тут еще вижу с другой стороны идет Дэйви

Шипман увидел Финни и нырнул в проулок за Драгуном. Нырнул и застыл как вкопанный — увидел как со стороны реки появился старый Чингачгук с томагавком в руке. Замер Дэйви в пяти шагах от Мармадьюка и не стал мешать старому индейцу когда тот всадил свой томагавк в голову Мармадьюка Темпла. Раскроил ему череп в одно мгновение. Откуда только такое проворство у старика, да еще в плед обернутого? Звук раздался такой словно тыква имякнулась оземь. Рухнул Мармадьюк, обмяк весь а на улице вдруг стало ни души. И Финни и Дэйви и Чингачгук — все куда-то подевались. Один только Мармадьюк лежит на земле и черная лужа крови вокруг него растекается. И я стою — оторопел, будто вмерз в землю, не знаю что делать. А потом выбежал Минго, этот большой черный раб, и давай кричать что есть мочи, давай звать на помощь. И тут же понабежало народу из Орла и из Драгуна. И Ричард волосатый прибежал и давай рыдать над телом отца. Как ребенок плакал-надрывался, а Минго подхватил Мармадьюка как пушинку и домой понес. И вся толпа в молчании последовала за ним. Все молчали будто онемели, кроме волосатого Ричарда — тот плакал как ребенок. Ушли они и все стихло.

Тогда только вышел я из сваего укрытия, дрожал весь тряся, потому что испугался увиденного и этой черной крови на льду. Пабежал скорее домой и вот спать не магу и пишу теперь это. Индейца это рук дело. И понимаю я пачему Чингачгук совершил такое. Ведь слышал я что маменька моя говорила сиводня вечером отцу про Чингачгукову внучку Безымянку и Мармадьюка Темпла, про то как сделали они ребеночка, рыжеволосую малютку — а ведь всяк скажет что индейские детишки не бывают рыжеволосыми. Маменька моя уж и имя дала новорожденной девочке. Юфония Шипман. И Дэйви мне жалко — на свете всего-то и была у него только Безымянка, а треклятый Мармадьюк отнял единственное. И сам я с тех пор как заметил свае сходство с Мармадьюком, так ненавижу его лютной ненавистью. По правде сказать даже рад я ею смерти. Г.Э.

Я отложила листок в сторону и перевела дыхание. Слова Губерната жужжали у меня в голове, как пчелы в улье. Жужжали так громко, что я не услышала даже, как открылась входная дверь. В прихожей зажегся свет. Я стояла на кухне и ждала.

Потом включился свет в кухне, и я, проморгавшись, увидела Клариссу, мою красоточку. Кудри ее потемнели, но такой же шапкой окутывали голову, на осунувшемся личике запечатлелась усталость. И тут то, что я

прятала где-то в глубине себя с самого начала ее болезни, вдруг прорвалось наружу.

— Кларисса! — Я шагнула к ней навстречу и осторожно заключила ее в объятия. Крохотной щупленькой птичкой была она в моих руках, но тоже обняла меня.

— Вилли!.. только и смогла она вымолвить.

— Я рада, что ты наконец-то дома, сказала я, усмехнувшись.

И тут на пороге появились Ви с преподобным Молоканом — красные, запыхавшиеся, они тащили багаж Клариссы. Я снова бросилась ее обнимать. Моя мать, не зная, куда деться от смущения, принялась ошипывать ворсинки на плече преподобного Молокана.

За ужином Кларисса почти ничего не ела и все время держала меня за руку. Ви суетилась и радостно щебетала, преподобный Молокан забавлял нас нескончаемыми цветистыми историями своей семинарской юности и беспокойно поглядывал на всех поочередно (словно прикидывал, не переборщил ли где с подробностями), так что поговорить за столом возможности нам почти не представилось. Молокан наконец встал и направился в ванную, и тогда я взяла Ви за руку — как раз в тот самый момент, когда она потянулась за пирожным. Она воинственно прищурилась и попыталась выдернуть руку, но я сжала крепче.

— Ви, — тихо сказала я. — А ведь это Соломон Фолкнер. Да?

Она что-то буркнула и отвернулась.

Я отпустила ее руку и выложила на стол два листка — отрывок из «Набросков и фрагментов», что мне прислала Кларисса, и пергамент Губерната. Выложила и зататорила:

— Послушай, Ви, я во всем разобралась. Вот смотри. — Я придвинула к ней пергамент Губерната, хотя она по-прежнему смотрела куда-то в сторону. — Смотри, Ви. Вот это написал Губернат Эверелл в ночь смерти Мармадюка. Здесь говорится о том, что в ночь убийства Мармадюка родилась девочка с рыжими волосами. Из-за этих рыжих волос все посчитали виновником ее рождения Мармадюка, хотя мать ее была замужем за неким Дэйви Шипманом. По городу тут же разнеслась весть, что Мармадюк сделал ребеночка чужой жене. За это его и убили в ту ночь. Теперь смотри. Девочку называли Юфония Шипман. Тогда я вспомнила, что это имя встречалось мне в другом месте.

Не замечая, что перешла на возбужденный крик, я придвинула к ней отрывок из «Набросков и фрагментов». — Вот здесь, в конце, в примечаниях Шарлотты, написано следующее: «Юфония Фолкнер,

урожденная Шипман, стала ревностным членом методистского церковного хора»... Ви, ты слушаешь? Прямо так и говорится — «Юфония Фолкнер, урожденная Шипман». А это означает, что эта самая Юфония Шипман, незаконнорожденная дочь Мармадьюка, вышла замуж за некоего старого колониста по имени Соломон Фолкнер. Соломон Фолкнер! И все знают, что сына Юфонии звали Соломон Фолкнер, и его сына тоже звали Соломон Фолкнер, и так оно шло из поколения в поколение, пока не оказалось, что Соломон Фолкнер пятый, один из «молодых побегов» и мой старый друг, приходится мне отцом. Вот так-то, Вивьен Аптон! Мой отец — Соломон Фолкнер!

Преподобный Молокан, еще не успев дойти до ванной, охнул, как девушка, и заспешил обратно за стол. Кларисса прикрыла ладошками рот и устала на меня сочувственный взгляд. А мать, округлив глаза, безмолвно задрожала. Мы напряглись, словно резиновые дубинки, и ждали. Ви протянула руку и коснулась моей щеки. В этой натужной тишине голос ее прямо-таки прозвенел:

— Ай да Солнышко! Ну и ну!.. Поверить не могу! Просто не могу поверить! Ну надо же, раскопала!..

Глава 32

РАСПЛЕТАЯ НИТИ, ПОДКОРРЕКТИРУЕМ КАРТИНУ

Юная прыщавая Вивьен с пацифистской висюлькой на шнурке трясется в автобусе, везущем ее домой из Сан-Франциско. Пока она еще ну ни капельки не беременна. Пока меня еще нет в ее животе. Тут я всегда чуяла какой-то подвох — ведь по ее словам выходило, что я проторчала в утробе цельных десять с половиной месяцев.

Когда в своем кабинете старый адвокат Чонси Тодд шарил по Ви блудливыми глазенками, она не была беременна. Она не была беременна, когда, не попав на родительские похороны, окаменело протягивала потом на поминках руку для сочувственных рукопожатий. Когда почтенные матери семейств, пряча за скорбными гримасами неприязнь, бубнили ей свои убогие соболезнования.

«Ох, Вивьен, — говорили они. — У твоей мамы было столько хорошей одежды. Если будешь хоть чуточку следить за собой, то влезешь в ее размер». Или так, например:

«Твой родители так ждали тебя зимой на Рождество. Очень жаль, что ты не смогла приехать навестить их в последний разок перед смертью». Или: «А чем это ты душишься? Что это за запах? Пачули? Надо же, как мило!..»

Все они, как один, подозревали тогда, что она беременна, но она не была беременна. Она просто любила булки с маслом и пончики. Потом, когда придет время, они станут ее своеобразным алиби.

Зима таяла вместе со снегом, уступая место напиранию весне. Птички на ветвях деревьев уже вовсю флиртовали, выводя любовные трели. Все окна в Эверелл-Коттедже Вивьен распахнула, чтобы впустить в дом побольше свежего мартовского воздуха. Голову она повязала красной хиппняцкой банданой и целыми днями носилась по городу, расклеивая объявления о срочной продаже дома, благодаря чему заметно порастеряла свой девичий жирок. К наркотикам, без которых она раньше уснуть не могла, ее почему-то совсем не тянуло последние несколько недель, И личико ее чудесным образом очистилось от прыщей. Наверное, аллергия на

каннабис была, решила она. А может, просто из-за грязи — почаще надо умыться, как выяснилось. Очутившись снова дома, она быстро привыкла к порядку, в котором росла сызмальства, — бесконечные уборки с одержимостью чистюли.

На радость привидению, великому поборнику гигиены в любом ее проявлении. Оно теперь снова являлось Ви и одобрительно ухало, когда та гордо шествовала мимо него с половой тряпкой в руках.

А в один прекрасный день Ви взгромоздилась на шаткую стремянку и принялась белить пожелтевший от времени потолок, деловито напевая себе под нос. Пол она предусмотрительно застелила, чтобы не запачкать, поэтому самозабвенно предавалась своему занятию, не глядя вниз. А когда все же глянула, удивлению ее не было предела — внизу стоял какой-то мужчина и придерживал лестницу. На его кучерявой рыжей копне красовался мазок белой краски — будто птичка нагадила.

— Опа-а! — воскликнула она, с интересом разглядывая его серый костюм и галстук, завязанный виндзорским узлом. — Вы кто же будете?

Про какашку из краски он, судя по всему, не знал благодаря своей пышной шевелюре, потому что моргал смущенно и растерянно. Сообразив, чего от него хотят, он робко представился:

— Я Сол. Соломон Фолкнер. Пятый.

— Ах вот оно что! Пивной магнат, стало быть?

— Ну вроде как да...

Они смотрели друг на друга. Ви задумчиво пробубнила себе под нос: «Он идет, восхищая вас, словно стих прекрасный, или даже больше...»

— Прошу прощения.. — вконец растерялся Сол.

— Ой, извините. Уолт Уитмен. Великий поэт.

— А-а, Уитмен? Знаю... Только читал его последний раз в колледже. Сколько лет прошло...

Ви отложила малярный валик и одарила Сола лучистой улыбкой:

— Кто дружит с Уитменом, и мне друг. По-моему, вы проголодались. Я приготовлю что-нибудь. Гости ко мне редко заходят, зато я вчера такие помидорки роскошные купила. Да, забыла представиться, меня зовут Вивьен Аптон.

Она слезла и пожала Солу руку, которую тот не замедлил украдкой вытереть носовым платком, пока шел за ней на кухню.

— Благодарю вас, — сказал он, удивленный приглашением. — Это очень мило с вашей стороны, но я пришел к вам поговорить о деле. У меня к вам деловое предложение.

— Деловое?.. — разочарованно протянула Ви, выставила на кухонную

стойку бутылку оливкового масла и понюхала помидорчик. — Ой, так есть хочется! Кому они вообще интересны, эти дела, этот бизнес?

— Ну не скажите. Вот мне, например, интересны. Я учился в бизнес-колледже.

— А мне не интересны. Ну нисколько не интересны! — И она обиженно насупилась.

Оба замолчали. Сол наблюдал, как Ви режет дольками помидоры. Паузу нарушил Сол:

— То есть я должен понимать это так, что вы не заинтересованы в продаже Эверелл-Коттеджа?

— Ах вот вы о каком деле! — В глазах Ви запрыгали озорные огоньки. — Ну, такое, может, мне и интересно. Вы бы хоть присели, что ли, для начала. Садитесь, откупорьте вот эту бутылку вина и расскажите мне все о себе, мистер Сол Фолкнер. Я хочу все знать о человеке, с которым мне предстоит вести дела.

Что это было? Она с ним заигрывала? Очень может быть— в голове у нее все шло кругом после этой краски, да и у Сола ладони подозрительно вспотели. Вивьен вывела Сола Фолкнера из кухни на лужайку и усадила за резной чугунный столик, подернутый ржавчиной.

Усадила и принялась носиться туда-сюда — на столе появились помидорные салатки, свежий хлеб с закуской из брынзы собственного приготовления, здоровенная бутылка вина и ее знаменитый рыбный салат, красиво украшенный свежей зеленью.

Наконец она тоже уселась и залпом осушила бокал вина.

— А теперь ешьте, — сказала она Солу Фолкнеру, жадно глядевшему на угощения. Бедняга весь день работал, сейчас было уже три, отец никогда не отпускал его нормально пообедать, а разрешал только перехватить бутерброд, на который сегодня у него времени не хватило, поэтому он с удовольствием набросился на еду. Каждый прожеванный кусок он сопровождал глотком кислого вина. Минут через десять он ослабил узел галстука, через пятнадцать голова у него уже чуть-чуть кружилась, и он вдруг представил, как хороши скоро будут вишни в цвету. Он прямо видел эти цветущие вишни и радовался так, словно никогда раньше не видел их. А может, и правда не видел. Ведь если хорошенько припомнить, у него никогда не хватало времени даже на маленькие радости, он никогда не болтался с друзьями, про любовь слыхом не слыхивал, танцевал только иногда в одиночестве в пустом доме, приглушив радио.

А Вивьен налегала на вино и с интересом наблюдала за симпатичным

гостем. Подождав, когда он начнет жевать менее энергично, она задала ему всего один-единственный вопрос:

— Итак, кто же вы такой будете, мистер Сол Фолкнер?

И тут гостя прорвало. Он рассказал ей, что закончил Гарвард и бизнес-колледж, что ему двадцать пять лет. Что семья его живет в своем старом темплтонском доме только летом, а остальное время в Висконсине, где у них пивоварное дело. В этом году они заехали рано, и отец решил сделать его своим личным помощником, и вот теперь он надрывает задницу бесплатно; правда, считается, что отец учит его бизнесу, хотя, откровенно говоря, бизнесом может заниматься безо всякой учебы даже обезьяна. К тому же пиво — это такая вещь, от которой люди и так никогда не откажутся; и кроме того, он никак не может взять в толк, какое отношение к пивоваренному бизнесу может иметь контрабандная торговля сигарами в Манхэттене. Но так или иначе всем этим ему еще долго придется заниматься, если старый осел папаша не загнетса и не передаст ему свое дело.

— Ну надо же... — протянула Вивьен, кивая.

А между тем солнце клонилось к закату — там, где еще недавно все было залито его светом, теперь сгущалась тень. С уходом солнца снова возвращалась зима, и с озера задувал промозглый ветерок. Сол так увлекся рассказом и так распалился, что Ви постеснялась перебить его и пригласить в дом. Чтобы не замерзнуть, она продолжала налегать на вино.

А подвыпивший Сол, развалившись на стуле, с новой силой пустился в откровения. Дескать, старый козел навесил на него и еще одну заботу — скупать старинную недвижимость в Темплтоне, чтобы она, упаси бог, не досталась каким-нибудь современным пронырам, которые могут скупить здесь все, уничтожить всю красоту и понастроить всяких там фастфудов и мегамоллов. Не далее как сегодня утром, когда до них дошел слух, что Ви собирается продавать Эверелл-Коттедж, папаша орал со своего трона (тут Сол-пятый объяснил Ви, словно она была маленькая, что имеется в виду унитар), что удавится, а не позволит Ви продать дом с участком каким-нибудь заезжим прохвостам, которые понастроят тут мегамоллов, что он удавится, а не допустит мегамоллов в Темплтоне. Поэтому Сол клятвенно пообещал папаше перебить любую цену, какую предложат Ви за дом, лишь бы только тот не достался чужим.

— Ну надо же... — говорила Ви и рассеянно кивала, любуясь роскошным молочным отливом, каким теперь покрылось озеро на предзакатном солнце.

Она грела руки, подложив их под себя, и мечтала поскорее попасть в

дом, но гость разошелся не на шутку и холода вовсе не замечал. Теперь его понесло рассказывать про родственников. Ви знала только, что это была состоятельная семья, но понятия не имела, что они происходили от первых колонистов, что Соломон Фолкнер-первый пришел в эти края вместе с Мармадьюком, который продал ему большой кусок земли.

— Поговаривают даже, — шепотом сообщил пьяный Сол, — что Мармадьюк путался с молодой индианкой, что та родила от него девочку, на которой и женился первый Соломон Фолкнер. Нет, вы представляете? Внебрачная дочь Мармадьюка вышла замуж за Сола-первого! Говорить вслух об этом не принято, но если это правда, то выходит, что я, как и вы, потомок Мармадьюка и тоже состою в родстве с Темплами. Вот ведь как интересно! — Тут он заговорщицки приложил палец ко рту, чтобы показать всю святость хранимой им тайны, на что заинтригованная Ви понимающе заулыбалась и закивала.

Сол продолжал откровенничать, доверительно сообщив, что в семье Фолкнер принято жениться в преклонном возрасте и иметь только одного сына. Все пять поколений Соломонов Фолкнеров женились на склоне лет на молодухах. Сначала они были фермерами и жили на отшибе, пока Юфонию Фолкнер на старости лет не посетила блестящая идея выращивать хмель. Старинное поместье Фолкнеров сохранилось до наших времен. Когда-то там размещались три с лишним тысячи сезонных рабочих (больше, чем самих жителей тогдашнего Темплтона!); поместье это даже получило название «Город хмеля». Там все было свое — и парикмахерская, и мясная и бакалейная лавки, и кузница, и пекарня, и даже танцевальный зал.

— Ну надо же... — продолжала поддерживать разговор Вивьен, представляя себе огромную плантацию хмеля, золотящуюся на ярком августовском солнце.

А Сол, которого теперь не слушался не только язык, но и все остальное, все мычал что-то про плантации, про то, как в течение лет пяти был у них переизбыток хмеля, отчего цены совсем упали, а потом случилась Великая депрессия и семья едва не разорилась, но спас ситуацию его отец, Соломон Фолкнер-четвертый, придумавший открыть пивоваренное дело именно в Висконсине, и что теперь в окрестностях Темплтона никто не выращивает больше хмель, и что есть только небольшое поле при Музее ремесел. О себе Сол-пятый сказал, что провел все это лето в Темплтоне, потому что всю свою жизнь был без ума от этого города.

— Мне нравится, что он вообще не меняется, — промычал он, хлопая отяжелевшими веками. — Ведь это здорово, правда?

— Ну да, — согласилась Вивьен, трясаясь не только от холода, но и от возбуждения, в которое приводил ее этот разговор. Для нее это было что-то неслыханное, самая длинная беседа в ее жизни. Единственное, конечно, очень ей хотелось поскорее попасть в дом и согреться, поэтому, положив руку Солу на колени, она попросила: — Поцелуй меня!

Он перегнулся через чугунный столик и затолкал пропахший вином язык ей в рот. Она ответила на поцелуй. Потом они побрели, шатаясь, в обнимку в дом, и там на паркете в столовой, на паркете, который когда-то гордая красotka Хетти Эверелл, ползая на коленках, начищала до блеска собственными руками, на этом самом паркете и была зачата я.

Закончив рассказ, Ви повела нас в столовую и с торжественным видом указала нам точно то самое место, откуда началось мое существование на этой земле. Сбившись в кружок, мы стояли и пялились на пол. Быть может, мне почудилось, быть может, это была только игра воображения, но я могу поклясться, что увидела на том месте какое-то светлое пятно. Чтобы не прослезиться, я даже отвернулась.

— Ну надо же, какие превратности судьбы, — изрекла Кларисса.

Ви только вздохнула и повела нас обратно в кухню.

— Я осталась здесь, — сказала она. — Потому что он на следующий день уехал в Манхэттен, а я все ждала, ждала и ждала, когда он вернется и сделает мне еще одно такое «деловое» предложение. Но он все не возвращался. А потом, когда мы увиделись, я была уже на пятом месяце, а он шел под ручку с женой и я просто не могла сообщить ему такое. О том, что он собирался жениться, я понятия не имела, зато одного взгляда на них мне было достаточно, что-бы понять — эта парочка долго вместе не протянет. Поэтому я решила подождать примерно год (дольше, как мне казалось, они не продержатся), а потом явиться к нему с ребенком на руках и сказать: «Ты только посмотри на эту крошку — она чистая твоя копия!» — Тут Ви умолкла и покачала головой, затем вздохнула и грустно прибавила: — В те времена я читала слишком много исторических романов.

— Но этого так и не произошло. Ты так и не показала меня ему. Да? — спросила я.

— Да, этого так и не произошло, — согласилась она. — Его первый брак продлился пять лет. Поначалу я, конечно, была несколько выбита из колеи. Как-то встретила его жену в магазине, пошла напилась и попыталась подпалить его крыльцо. Оно, правда, было каменное, поэтому не загорелось. Но постепенно я успокоилась на его счет, взглянула на все с

точки зрения здравого смысла и больше уже не хотела, чтобы он узнал. Думаю, Вилли, он никогда не догадывался, кто ты такая на самом деле, а этот дурацкий поджог скорее всего списал на мои антикапиталистические убеждения. Он так и не узнал, что ты его дочь.

После этих слов мы погрузились в молчание. Кларисса задумчиво прихлебывала из кружки чай, и кружка в ее худеньких ручках казалась такой огромной, что мне захотелось вырвать ее у нее, пока она не вывихнула себе запястья. Я посмотрела на мать и в ее глазах увидела какой-то странный блеск — то ли радости, то ли гордости, то ли облегчения. Я нахмурилась, и так мы смотрели одна на другую, пока меня не осенило. Возможно, таков как раз и был хитрый план моей Вивьен. Ведь она знала меня как облупленную, знала о свойственной мне одержимости, знала, что я отнесусь ко всему по-детски. Она не могла просто взять и сказать мне, кто мой отец, она считала, что я должна ощутить на собственных плечах всю тяжесть того, что было взвалено на нашу семью. Это откровение я должна была заслужить, отработать. От переизбытка чувств мне хотелось что-то швырнуть — вазу, книжку, преподобного Молокана, — но мать остудила меня одним жестом, послав мне через стол воздушный поцелуй и усмехаясь в кружку.

И тут я услышала тихий скрежет, как будто у нас под ногами шебуршилась мышь, — я даже заглянула под стол. Распрямившись, я обнаружила, что Ви с Клариссой смотрят на преподобного Молокана. Лицо у того побагровело, щеки раздулись, глаза превратились в щелочки, и этот скрежечущий звук издавал, оказывается, он. Сдерживаться он больше не мог, и тихий скрежет сменился раскатистым хохотом. Он заливался до слез, аж стул под ним ходил ходуном, скрипел, трещал и едва не разваливался. Глядя на то, как он покатывается со смеху, как трясется на его мясистом пузе крест, я тоже не смогла сдержать улыбки.

— Ну ты даешь, Вивьен!.. — с трудом выговорил он, давясь от смеха. — Ну надо же, подожгла ему крыльцо!

— А вот это уже круто, — сказала я матери. — По правде, ни за что бы не подумала, что он отреагирует смехом.

Горделиво поведя бровью, мать ответила:

— А ты думала, я до конца жизни теперь буду общаться только с каким-нибудь занудой?

Кларисса явно хотела что-то сказать, даже губки скривила в своей иронической манере, но передумала и поспешила уверить Ви:

— Кто? Ты? Нет, Ви. Ты и какой-нибудь зануда вместе — да быть такого не может! — И она подмигнула моей матери, а я сделала вид, что

этого не заметила.

Я смотрела на Молокана, как он оттирает вспотевшее лицо и усмехается в чашку, протянула руку и похлопала его по плечу.

— А знаете, — сказала ему я, — по правде говоря, вы только что сняли камень с моей души. Судя по всему, вы действительно подходите моей матери.

— Ну, я рад! — И он снова расхохотался.

Глава 33

ТЕРАТОЛОГИЯ, ИЛИ О ЧУДОВИЩАХ, ЗАПЕЧАТЛЕННЫХ НА ХОЛСТЕ, НА ДЕРЕВЕ, В ЧЕКАНКЕ, НА КАМНЕ, В НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКАХ И В ЗВЕЗДАХ

*Сей образ живет в моем мозгу как нарост.
Чувствую я, что таится в нем какая-то
загадка.*

Джон Гарднер. Грендель

Прошло несколько недель после гибели чудовища, и мы постепенно начали забывать о нем. Съемочные группы разъехались; водолазы выныривали и только разводили руками; глубоководные батискафы исследовали дно, но так и не нашли следов гада или его потомства; даже детишки, забыв о страхах, снова плескались в воде. Последние теплые дни августа и раннего сентября проходили в нормальном и даже, пожалуй, слишком нормальном режиме.

И вдруг, когда мы почти уже не вспоминали о нашем милом звере, он снова напомнил нам о себе. Доктор Герман Хван разразился научной статьей в шестьдесят три страницы — и что примечательно, вышла она в том же журнале «Природа», где была опубликована наша с Дуайером работа. «Новый вид, подвид или семейство? Что мы знаем о темплтонском чуде». Статья с таким названием предшествовала научной работе коллектива авторов под руководством доктора Дуайера «Археологические находки как свидетельство присутствия человека на Аляске более чем за 25 тысяч лет до нашей эры». (Это ж надо было так озаглавить научную

статью! Какая описательность! Все равно как если бы в названии «Анны Карениной» значилось... о женщине, которая оставляет свою семью ради другого мужчины, мучается чувством вины и бросается под поезд, а также о нравственных исканиях Левина, человека, который ищет путь к Богу и наконец находит. Все-таки выбор названия научной публикации требует определенного таланта.)

То есть сразу две научные сенсации, как дуэль на банджо.

Большой интерес, конечно, вызывала статья о темплтонском чудовище. На замысловатом языке непонятных научных терминов (и с чего это ученые взяли, что непонятность изложения выглядит более научно?) доктор Хван утверждал, что чудовище из нашего озера является уникальным и единственным за всю историю жизни на Земле, и далее приводил целый список обоснований своего мнения.

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О ЧУДОВИЩЕ ОЗЕРА ГЛИММЕРГЛАС, ИЛИ ТЕМПЛТОНСКОЕ ЧУДО

Статья гласила, что обнаруженное в нашем озере чудовище было объявлено по результатам ДНК-анализа плацентарным млекопитающим разновидностью *Cetariodactyla*, относящейся к роду, от которого произошли парнокопытные (свиньи, гиппопотамы, олени) и китообразные (киты и дельфины). (Идея довольно дикая — вообразить, что через миллионы лет после того, как первая рыба выбралась на сушу, какое-то глупое парнокопытное глянуло на воду и решило сдуру нырнуть обратно! Так оно, конечно, и было, и никак иначе. Просто вместо того чтобы видеть в китах каких-то мифических непонятных зверей, мы должны представить их себе эдакими гигантскими плавающими козами. Древние, кстати, иной раз были умнее нас — Протей в греческих мифах пас стада Нептуновых дельфинов. То есть был подводным пастухом подводного стада.) Но на этом сходство между парнокопытными и китообразными заканчивалось, так как наше чудовище явно относилось еще и к параллельным гермафродитам. (Гермафродит — это организм, обладающий одновременно мужскими и женскими половыми характеристиками; параллельный гермафродит — тот, кто имеет одновременно органы обоих полов. Есть также последовательные гермафродиты. У них половые железы могут меняться в течение жизни. Тиресий в греческой мифологии был последовательным гермафродитом, так как боги несколько раз превращали его в женщину, а потом снова в мужчину. Среди людей встречаются гонадальные гермафродиты, то есть имеющие смешанный пол, но половые органы у

таких людей редко бывают функциональными. Само название «гермафродит» возникло в честь сына Гермеса и Афродиты, которого боги слили в единое существо с нимфой.) Значит, оно было самооплодотворяемым. В качестве еще только одного на всей планете представителя животного мира, способного к самооплодотворению, называлась некая рыба, поэтому открытие подобной способности у млекопитающих призвано было потрясти мировое научное сообщество.

Благодаря костному анализу удалось установить приблизительный возраст нашего чудовища — более двухсот лет, а также определить общую продолжительность внутриутробного развития по плоду, найденному в чреве чудовища, — около двадцати лет. Подумать только — двадцать лет в материнской утробе! Внутриутробный возраст найденного детеныша составлял примерно десять лет; при этом у него еще не было глаз, он имел размеры шестилетнего ребенка и, несмотря на хвост и очень длинную шею, так трогательно сжимал на груди крохотные ласты-ручки, что одна из женщин-исследователей, мать аутичного ребенка, не смогла сдержать слез, когда детеныша извлекли из материнского чрева. Благодаря этому факту было выдвинуто предположение, что чудовище уже производило на свет потомство хотя бы раз. Уже на следующий день были предприняты новые попытки обследовать дно озера, но все они оказались безрезультатными. Не помогло даже глубоководное океаническое оборудование. После этого ученые сделали еще одно открытие — что сосцы у Глимми носили атавистический характер и выглядели так, словно не предполагали никаких молочных желез.

Ко всему прочему у чудовища были обнаружены острые твердые черные зубы в три ряда, явно рассчитанные на пережевывание рыбы и озерных водорослей, являвшихся для него пищей. Легкие его напоминали огромные резервуары, вмещавшие трехмесячный запас кислорода, благодаря чему Глимми мог выныривать на поверхность только четыре раза в год. Кроме того, животное обладало таким толстым и плотным слоем жира, что наших промысловых китов по сравнению с ним можно было считать легковесами. Одна унция жира Глимми, когда ее зажгли, горела пятнадцать часов и запах имела весьма любопытный, очень свежий — смесь сосновой смолы и озерной воды. Конечно, такой слой жира был необходим животному, чтобы переносить жестокие зимы подо льдом глубоководного озера, а также для поддержания большой массы тела.

Глимми имел четыре конечности; передние напоминали забавные маленькие ручки, очень похожие на человеческие, только без больших пальцев. И хоть животного никогда не видели на суше, было совершенно

очевидно: оно умеет передвигаться и по земле — просто, по-видимому, за последние лет сто — сто пятьдесят утратило этот навык по причине громоздкости.

Подобно киту Глимми имел разделенные ушные косточки. Сложное строение внутреннего уха подтолкнуло ученых к гипотезе, что животное обладало редчайшим и чистейшим слухом, несопоставимым со слуховой системой ни одного живого существа на планете. Именно такой чуткий слух позволил пугливому и осторожному Глимми долгое время оставаться незамеченным — человека он чуял на огромном расстоянии, выныривая только по ночам или в туманную погоду.

Вот такой образ сложился в моем воображении, когда я читала статью о Глимми. Я сидела впотьмах в окружении собранных сумок, привидение нависало надо мной заботливым фиолетовым пятном, и из головы у меня никак не шла грустная картина — холодная бездыханная туша чудовища, распростертая на цементном полу дока. Я представляла себе краны, ворочающие эту мертвую тушу, человечков, копошащихся вокруг нее подобно лилипутам вокруг бедолаги Гулливера, свесившуюся набок голову несчастного Глимми с тремя рядами блестящих черных зубов, извлеченные из туши внутренности, над которыми суетились репортеры с камерами, и гладкую светло-кремовую шкуру, почерневшую вокруг ран.

Эта ужасная картина так не вязалась с моим представлением о чудовище — бороздящем черные глубины озера Глиммерглас, радующемся родной стихии, чудовище с озорными умненькими пытливыми глазками и ручками, хватающими рыбу, — что я отложила журнал в сторону, побоявшись расплакаться.

Глава 34

ОТЪЕЗД

В день моего отъезда из Темплтона я пригласила моего отца пообедать. Пока еще не зная, что он мой отец, он был слегка удивлен, когда я позвонила ему накануне. Я ждала в прохладном сумраке кафе Картрайта, потягивая чай со льдом и пытаюсь прогнать с щек предательский злобный румянец.

Сол Фолкнер пришел нарядный, как на свидание: в дорогой рубашке, хороших брюках, — как будто считал, что девушка вдвое младше его не преминет приударить за ним, а потому разоделся как мог. Видимо, не впервые. Я встала ему навстречу, одергивая подол, и протянула руку. Он посмотрел на мою руку и улыбнулся. Пожимая ее, он сказал:

— Ой, Вилли, разбиваешь ты старику сердце. Мне бы в голову никогда не пришло, что у тебя может быть ко мне дело. — Он уронил свою долговязую фигуру на стул и улыбнулся.

— Дело? Смотря что ты называешь делом.

Над нами уже нависла официантка — постукивая ластиком карандаша по блокноту, она нетерпеливо вздыхала.

Я помнила ее еще со времен школы (она училась на пару классов младше) и сейчас узнала по этим вульгарным зеленым теням на веках и огромным кольцам в ушах, достававшим до плеч. Она сделала вид, что не признала меня.

— Абнер-сэндвич, пожалуйста, — сказала я, не глядя на нее. — Овощной салат без заправки и чай со льдом и лимоном.

Сол заморгал и слегка нахмурился.

— Мне то же самое, кивнул он официантке и отдал ей меню, в которые мы даже не заглянули. — Я всегда беру это, — пояснил он.

— Что ж, все сходится.

— Что сходится?

— Увидишь.

Он развернул салфетку, расстелил на коленях и нагнулся ко мне через стол:

— Ладно, Вилли, хватит этого театрального напряжения. Ты можешь объяснить, что ты там скрываешь? Если ты про деньги за колледж, то об

этом можешь не беспокоиться, ты же знаешь.

Я огляделась по сторонам, не подслушивает ли нас кто-нибудь, но обеденный наплыв посетителей должен был наступить через час, поэтому народу почти не было — лишь семейка туристов да школьник-прогульщик, присосавшийся к коктейлю. Поймав на себе его взгляд, я подмигнула. Он подмигнул в ответ, и изо рта его выпал кусочек гамбургера.

— Тогда слушай, — сказала я Солу Фолкнеру. — У меня есть что тебе рассказать.

— Ну так рассказывай!

— Давным-давно, — начала я, — жила-была девушка. И была она круглая сирота. И вот приехала эта девушка жить в родной город. И в один прекрасный день явился к ней юный красавец принц, и выпили они вместе вина, а потом дело дошло до того, до чего оно обычно всегда и доходит, когда двое пьяны и молоды. Прошло время, и родилось у девушки дитя, только принц об этом ничего не знал. А дитя это выросло и в один прекрасный день решило разыскать своего ни о чем не подозревающего отца. — Я умолкла и выжидательно смотрела на Сола.

Он, вконец смутившись, озадаченно заморгал.

— Какой еще принц, какое дитя? Кто это? — Он оглянулся на официантку, принимавшую заказ у туристов. — Официантка, что ли? Она тайная наследница? Какая у тебя странная история. Зачем ты мне ее рассказываешь, Вилли?

— А вот и не странная. Не странная она, Сол. То есть папочка.

Он вытаращил глаза и уставился на меня, разглядывая мою физиономию. Затем провел рукой по лицу и судорожно вздохнул.

— Нет, Вилли, я что-то не понимаю... Как такое может быть?

— Это ты мне расскажи!

— Но я не могу иметь детей! — воскликнул он. — Я с тремя женами расстался как раз из-за того, что не могу иметь детей! Нет, это просто невозможно!

— Но это случилось, — возразила я. — И я тому живое свидетельство. Можешь даже меня ущипнуть.

Это была шутка, но он и вправду ущипнул — целую неделю потом у меня на руке ниже плеча красовались два параллельных синячка.

— Как же так?! — недоумевал он. — Мне никто ничего не говорил! Я ходил болеть за тебя на все школьные матчи и ничего не знал?..

— Я и сама не знала. До вчерашнего вечера. А вчера вечером мать рассказала мне.

— Но я никогда ничего такого не делал с твоей матерью, клянусь!

— Да? Но мы же с тобой не какие-то призраки!

— Но я ничего такого не делал!

— Нет, делал. Напряги память и вспомни. Погожий денек ранней-ранней весной... почки распускаются на деревьях... Салат из помидорок... Вино...

Я наблюдала и видела, как лицо его (мое лицо) покраснело и его точеный нос (мой нос) уловил что-то глубокое и волнующее. Он растерянно заморгал и откинулся на спинку стула.

— Подожди, что-то вроде припоминается...

— Ты не спеши, папочка. Времени у меня впереди уйма — вся жизнь. — Я улыбнулась. Так широко, что даже испугалась, как бы лицо не треснуло.

Соломон Фолкнер вытер вспотевший лоб и задумчиво сложил губы трубочкой.

— Бог ты мой, точно! Но это так... извини меня... странно! Я ведь тогда вообще не помнил, что мы делали с Вивьен. С твоей мамой. Я проснулся наутро в ее доме — полуголый, голова раскалывается от похмелья. Ну и испугался. Испугался, что моя невеста обо всем узнает и тогда точно убьет меня. Поэтому я очень долго избегал твоей матери. Просто выбросил ее из головы. Вот черт, я даже не знал, что такое произошло! Как дерьмово-то все получилось!

— Да уж, и впрямь дерьмово, — согласилась я.

Он снова выпрямился и заложил руки за голову. Волосы его заметно поредели и поседели с тех пор, как я была школьницей, а он ходил с пышной кудрявой шевелюрой. Сейчас волосы были коротко подстрижены, и ему это шло.

Глаза наши встретились. Мне показалось, он с трудом сдерживает слезы.

— Ты прости меня за то, что я сейчас скажу, — проговорил он. — Но... Видишь ли, я человек не бедный, и... если есть какой-то способ проверить...

Я вскочила, чтобы уйти, но он схватил меня за руку:

— Подожди! Я тебе верю. Просто никак не могу свыкнуться с этой мыслью. Не могу поверить, что такое могло случиться!

— Понимаю.

— Это чудо какое-то! — Он покраснел. — Самое настоящее чудо! Ну надо же, у меня дочь!

— Да, и эта дочь — я, — кивнула я и сжала его руку.

— Да, и эта дочь — ты. — Он покачал головой. — О лучшем я и

мечтать не мог.

Официантка бесшумно поставила перед нами еду, но мы к ней даже и не притронулись. Вскоре в ресторан хлынул народ — туристы и горожане, — подошло время обеда. Были среди вошедших и наши знакомые. Они сторонились нас, будто что-то улавливая, рассаживались за другие столики и поглядывали на нас, недоуменно шушукаясь.

«Ну вот вам, пожалуйста, и четвертая жена!» — наверняка думали некоторые из них. И я могла их понять — что же еще им думать?

Мы долго молчали, потом Сол вздохнул:

— Нет, о таком сюрпризе я и мечтать не мог! Ты не представляешь, Вилли Аптон, как я горжусь тем, что у меня есть дочь. Я... прямо не знаю, как и сказать... Я... тронут до глубины души!..

И все же я уже тогда поняла, что мое копание в предках, даже если его продолжить, вряд ли сильно изменит будущее. Допустим, какой-то первобытный человек перебрался через Берингов пролив и умер, оставив в тундре скромные следы своего существования, чтобы люди из далекого будущего могли раскопать его останки. Но ведь до этого человечка туда, возможно, перебирались другие человечки, огромное количество человечков, и тоже оставляли следы своего пребывания на этой каменистой земле. К тому же у меня теперь был отец, а вместе с ним толстенный пласт предков, и я понимала, что выявить и установить их всех, всех их понять к тому же, просто невозможно, но они в любом случае запечатлятся в ДНК моих будущих детей. Но копаться — это слишком! Разобрать все это и понять — просто невозможно.

И все же нас тянет к этим вещам. Мы делаем вид, что понимаем. Нам обязательно нужно думать о первобытных людях, обитавших в Северной Америке, даже если мы не найдем следов их существования; эти толстые пласты предков за спиной нужны нам как балласт. Иной раз мы не можем сделать какой-то шаг в будущее, если не ощущаем за спиной этого веса, этой тяжести, которая придает нам устойчивости. Даже если эта тяжесть воображаема. И чем больше пугает нас будущее; чем страшнее и сложнее оно кажется, тем больше нам нужен этот надежный вес за спиной. Я смотрела на моего отца, Сола Фолкнера, и чувствовала невообразимое облегчение. И для меня вроде бы даже не имел значения тот факт, что я наконец обрела его. Вроде бы. Но где-то в неизмеренных глубинах моей неподвластной логике души это имело значение. Очень большое значение. Мне было приятно ощущать за спиной его дыхание на этом длинном, уже пройденном мной пути. Мне было приятно осознавать, что на этом пути он

тоже имел свое место.

После того как мы с Солом Фолкнером пожали друг другу руки и даже душевно обнялись на прощание, я рассеянно и задумчиво побрела по улице, пытаясь собраться с мыслями. Изнурительная жара была в самом разгаре, и даже наркоманы-школьнички не пинались и не прыгали друг другу на плечи, а смирнехонько сидели под старым дубом в парке. Дурачок Пиддл Смолли стоял, обливаясь потом, в желтом дождевике наизнанку и, зажав между ног метлу, звонил в колокольчик. Орала младенцы в колясках, машины, казалось, еле двигались, и даже у старой миссис Пи, подметавшей крыльцо почтового отделения, от пота промокла на спине блузка. Пройдя парк, только и оставшийся от Темпл-Мэнора, я увидела кое-кого на противоположной стороне улицы, и вялое, задумчивое оцепенение спало с меня. Я перешла через дорогу и заспешила в благодатную тень от коринфских колонн городской библиотеки, где в тенечке возлежал на ступеньках Иезекиль Фельчер.

Выглядел он шикарно. Мне захотелось потрогать его мускулистый брюшной пресс. И лицом похудел, даже как-то обозначились скулы. И загар очень шел ему. Заметив интерес в моем взгляде, он картинно повел бровью, чем очень насмешил меня. Потом совершенно серьезно и даже с грустью сказал:

— Иди сюда, Королева, давай поваляемся. Клевое тут местечко.

— Очень у тебя радикальный подход, — сказала я, присаживаясь на холодный мрамор.

— Я имел в виду, здесь прохладно.

— Да я поняла, Зики, поняла, что ты имел в виду. Ты сейчас на работе? Машины буксиришь?

— Угу. Просто денек сегодня спокойный выдался.

Я изо всех сил делала вид, что не замечаю, как он пристально разглядывает меня сбоку.

Какое-то время мы молчали, слушая голоса города и реки, где воды уже вполовину поубавилось со времени моего приезда в Темплтон, то есть всего за каких-то несколько недель. Зики повернулся ко мне.

— А знаешь, Вилли, я на тебя вообще-то обиделся, — заявил он. — Ты, я слышал, уезжаешь в Калифорнию?

— Да. — Я ничуть не удивилась его осведомленности. Накануне я заходила в библиотеку, чтобы передать Питеру Лейдеру книжку кулинарных рецептов от Ви. А заодно вернула Хэйзел Помрой листок с откровениями Губерната. Старушка очень обрадовалась и была растрогана

тем, что я так забочусь о ее репутации. Конечно, меня не удивляло, что Зики уже знал о моем предстоящем отъезде, поэтому безо всяких околичностей я подтвердила: — Да, уезжаю, через несколько часов. Надо заканчивать эту чертову диссертацию и двигаться дальше.

— А дальше планируешь остаться в Сан-Франциско?

Я пожала плечами:

— Может быть. Но в конечном счете наверняка вернусь сюда.

— Забавно получится, потому что я как раз собираюсь туда ехать.

Я чуть не поперхнулась.

Что-о? Как это?

— Да вот подумываю податься в Беркли, — сказал Зики. — Не знаю только, возьмут ли такого старика. В Стэнфорде вроде берут.

— Может быть. А как же твои мальчишки?

— Э-хе-хе... Не скажу, что с этим все просто. Очень даже непросто. Вообще, чем ты старше, тем сложнее становится жизнь. Я так понял, это надо учитывать.

— Я тоже так поняла.

— Но ты хоть чмокнешь меня на прощание? — спросил он.

Я придвинулась к нему и поцеловала в щеку, в то самое место, где иногда появлялась ямочка. Поцеловала и встала.

— Жаль, — сказал он. — Я-то надеялся, ты поцелуешь меня совсем в другое место.

— Пока, Зики! Веди себя хорошо, а будешь в Сан-Франциско, заезжай в гости.

Какой-то необъяснимый обмен флюидами происходил в этот момент между нами, в душе у меня защемило, и я испугалась, что, если не положить этому конец немедленно, сегодня я не уеду. Я рассмеялась, нарушая возникшую паузу.

Зики вмиг погрузнел.

— Ну конечно, заеду, Королева, — печально проговорил он и снова развалился на ступеньках. — Рад был узнать тебя поближе. — Он смотрел в сторону, закусив нижнюю губу. Выглядел он сейчас совсем как мальчишка-подросток, которого кто-то обидел.

Для уверенности я сделала пару шагов вниз и, прикрыв рукой от солнца глаза, сказала с улыбкой:

— Думаю, Зики, у нас с тобой еще будет возможность узнать друг друга ближе. В этом можешь даже не сомневаться, старина Фельчер.

Я опять рассмеялась и пошла. Всю дорогу в ушах у меня звучал его грустный ответный смешок.

Перед прощальным ужином мы баловались на крыльце аперитивчиком, и Кларисса захлеб рассказывала, как однажды подрабатывала танцовщицей в стриптиз-клубе. Получалось у нее неплохо, и она даже огребла там кучу денег, артачилась только, когда доходило до откровенных танцев. Концовка была мне известна — Кларисса съездила какому-то обнаглевшему дяде по причинному месту, и ее выгнали.

Дослушивать известную мне историю я не стала, а пошла в дом, чтобы откупорить еще одну бутылку вина. Вот тогда-то в ворохе свежей почты я и заметила открытку. Сердце ушло в пятки, меня даже замутило, когда я вытаскивала открытку из кипы.

Изображено на ней было какое-то казенное муниципальное здание, и внизу в одну строку шла подпись: Редвуд-Сити, Калифорния; Ошкош, Висконсин; Дели, Нью-Йорк. Домишко постройки годов шестидесятых, серое и убогое.

На обороте после моего имени и адреса я обнаружила одно слово: «Извини».

Чувство неизбывной горечи охватило меня в первый момент. «Эх, Праймус!» — подумала я и живо представила его себе, этого мистера Жабу в жилеточке, украдкой запикивающего открытку в почтовый ящик и торопливо семенящего прочь под теплым калифорнийским солнышком. Но, приглядевшись внимательней, я узнала почерк. Четкий, аккуратный, архитектурный. Это писал Салли из своего захолустного городишки в Аризоне.

Держа в руке открытку, я выглянула за порог — Кларисса все еще развлекала рассказами мою мать и преподобного Молокана, который, поводя пышными боками, заходил от смеха. Кларисса изображала все в ролях, грозила кому-то пальчиком, и троица дружно хохотала. Конечно, я могла отдать ей эту открытку сейчас или пойти положить на подушку (на это, видимо, Салли и рассчитывал); и, думаю, именно так я и поступила бы еще месяца три назад. Но я сделала по-другому — выкинула открытку в мусорное ведро. Она тотчас набухла в коричневой жиже кофейной гущи, так что прочесть ее было теперь невозможно. Как ни в чем не бывало я вышла к ним на крыльцо и зааплодировала Клариссе — к тому времени та как раз закончила свою репризу.

Темплтон я покидала в лучах заката, раззолотившего кроны деревьев. В зеркальце заднего вида я видела мать и Клариссу, стоявших рядышком, и, надо сказать, миниатюрная фигурка Клариссы прекрасно смотрелась на фоне дородной стати Ви. Преподобный Молокан обнимал пухлой ручкой

мою мать за плечи, и смотрелись они вместе так, что я готова была остановить машину, вылезти и пристроиться к ним, чтобы вписаться в этот букет. Но я воздержалась. Только прибавила газу, и они стали все уменьшаться и уменьшаться в зеркальце, пока совсем не исчезли.

Когда я проезжала через Саскуиханну, мне живо представился мой приезд домой. И в отличие от моих предыдущих восторженных фантазий это видение было вполне реальным — на руках у меня был младенец, на животике припухлость, время было ночное, и в черной глади озера отражались огни Темплтона. Рядом со мной маячила какая-то тень — муж, надо понимать, и, возможно, он пел, и хоть я не слышала голоса и слов, это пение меня успокаивало и умиротворяло.

С такими вот мыслями и ощущениями покидала я Темплтон. В окошки задувал веселый ветер, надушенный хвойным ароматом сосен. Я думала о Праймусе Дуайере — как он ждет меня в кабинете в Стэнфорде, — думала и не могла сдержать улыбки. Вернее, не улыбки, а ухмылки — этой зловредной сущности, которая так и прорывалась наружу.

А потом змеиные кольца дороги распрямились и мир теперь простирался передо мной сплошной ровной полосой — этот громадный пылающий мир, на который тьме никогда не найти управы. И мой родной город сверкал огнями у меня за спиной. И асфальт шуршал под колесами. И позолоченное закатом озеро подмигивало мне сквозь мелькающие деревья.

Глава 35

И СНОВА «МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ»

Этот рассвет мы все встречали вместе, мы все видели его, и все мы видели золотистый листок, что упал с дерева. Мы вместе разглядывали его, умолкнув, не говоря ни слова. Первый предвестник осени. Мы все смотрели на него, провожали глазами его долгий, медленный путь к земле. На дворе сентябрь, лету конец. Лето было долгим, трудным, но ему конец, скоро полетят гуси. Впереди что? Пар изо рта по утрам, майки с длинными рукавами и треники вместо шорт, и банданы на голове, чтоб уши не замерзли. Рассветы будут темные и приходиться будут позже, и мы со стаканчиками кофе в руке, вдыхая аромат прелой листвы, отклонимся от курса, свернем к футбольному полю и будем там громко болеть за мальчишек, которые могли бы быть нашими сыновьями. Мы будем смотреть, как они резво носятся по траве, и улюлюкать. Сегодня кончается туристский сезон — закроется пляж, Музей бейсбола, и оперные певцы разъедутся на своих скромных седанах в свои манхэттены и топеки. Туристический катер «Вождь Ункас» завтра отправится зимовать в ангар. И мы сами уgomонимся — укоротим пробежки до четырех миль. Это у нас будет подготовка к зиме.

У Большого Тома радость — дочка вернулась. Теперь отходит от наркотиков у папочки дома. Где была, не говорит, но главное, что дома. Маленькому Тому сделали операцию; как будто все обошлось, и уже через несколько месяцев он будет опять бегать с нами. Еще вот планируем обзавестись футболками с надписью «Осторожно — у нас часы со взрывным механизмом». Маленький Том понял юмор — хохочет за чашечкой бескофеинового кофе, когда сидим в кафе. И над Фрэнки смеется. А у Фрэнки все в порядке — он вернул утерянный вес и во время отпуска развеял прах родителей над океаном. Дуга послала к чертям любовница. Променяла на амбала, бывшего бейсболиста, весьма известного, прославленного. Жена его простила, а вот бейсбольная лига — нет. Теперь, конечно, сядет, но ненадолго. Ну а мы уж потом ни словечком ему ничего такого не припомним. У Иоганна дочка-лесбиянка тоже отличилась — привела в дом любовницу. Девка забавная, чудная и правда настоящая мужичка — с инструментами обращается так, что нам никому и

не снилось. Удумали вот теперь отремонтировать гостевую спальню к следующему своему приезду.

Но всех превзошел Сол. Да-да, наш бездетный, трижды разведенный Сол, у которого вдруг откуда ни возьмись появилась дочка — Вилли Аптон. Умница какая, в Стэнфорде учится, к тому же красавица и добрая душа (ведь это она сидела с нашими детишками, когда те были маленькими). А мы-то каковы, а? Куда мы смотрели все это время? Как это Сол умудрился скрыть от нас свой роман с этой старой хиппушкой Вивьен Аптон? Разве такое скроешь? Конечно, о существовании дочки он не знал. Но эта Вилли вернула ему веру в собственное мужское достоинство. Не надо ему больше думать целыми днями о своем детородном органе и не надо бегать в аптеку к Аристабулусу Маджу и получать у него потихоньку всякие там подозрительные травы для подозрительных черных отваров. Сам Сол сказал вчера, что все три его бездетных брака и крупинки не стоят, после того как оказалось, что у него есть дочка, да еще такая, как Вилли!

Мы орали и радостно гомонили, когда услышали от него это, — даже побежали быстрее. А потом Большой Том такое нам сообщил, что мы пару миль чуть не пешком плелись. У всех дар речи разом пропал. Не то что дар речи, а даже и дыхание нарушилось — никто ни разу не сплюнул. Так порадовал, что несколько дней опомниться не могли.

Даже сейчас бежим вот и радуемся, и кажется нам, будто знали мы это уже давно. Знали то, что рассказала чокнутая Томова дочка, эта наркоманка — как, дескать, она, купаясь в три часа ночи в озере, нырнула. Нырнула и под водой открыла глаза. И увидела — прямо лицом к лицу столкнулась — маленькое белое чудовище, которое разглядывало ее с любопытством и хвостом своим рыбьим виляло. Утверждает, что было оно точь-в-точь как наше большое чудовище, что вытянули мы из озера в июле. Точь-в-точь, только в миниатюре. Забыла девка про глубину начисто, увлеклась, и ушла под воду все глубже, а зверушка вместе с ней — вроде как пасла ее. Разглядела девчонка у той зверушки живот огромный вздутый, шею гибкую и тонкую и ручки-ножки чуть ли не с пальцами. И открывало то маленькое чудовище свою пасть с черными зубами, будто лыбились — в этом Томова дочка может прямо поклясться.

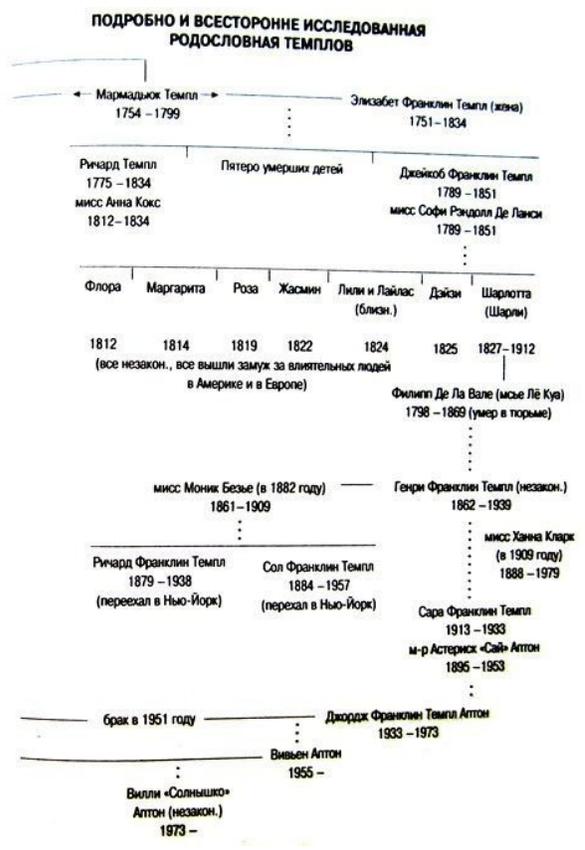
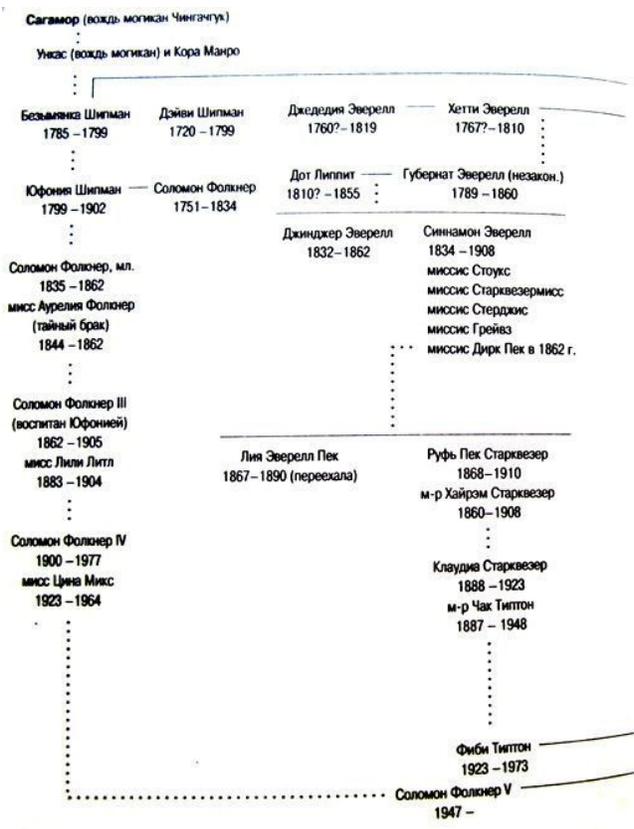
И так девчонка расслабилась, что забылась и чуть не начала дышать под водой. Чуть не набрала полные легкие воды и не захлебнулась, и чуть не пошла ко дну. Вовремя спохватилась, задрыгала ногами да вынырнула, и на поверхности долго не могла отдышаться. Чудовище провожало ее до берега и наблюдало, как она выбиралась на сушу.

И девчонка его нисколечко не боялась — прямо, говорит, чувствовала, что не причинит оно ей вреда. Дружить оно хотело — это она точно поняла. На прощание потрогала его пальцем, и от этого прикосновения сладким добрым теплом словно обдало ее всю. А чудовище улыбнулось ей черным своим ртом и нырнуло в пучину.

Такая вот история. Все размышляем над ней, пока бегаем. В озере нашем, оказывается, опять живет чудовище — детеныш, потомство старого. Наверное, надо куда-то доложить по инстанциям, но мы боимся — боимся, что опять понаедут эти водолазы, ученые, репортеры. Это что ж — опять отдать наше чудовище на расправу? Ведь оно наше, темплтонское, и мы должны сохранить его для себя. Никому не отдавать и не показывать.

Нет уж. Лучше вылезем мы на озеро в следующем году четвертого июля — на моторках, на всем, что только может плавать. Напьемся на радостях и будем нырять на закате, а на набережной тоже будет праздник в разгаре, и ветерок донесет до нас запах сладкой ваты, а как стемнеет, будем мыс воды любоваться салютом, что запустят в небо пушки в Фэйри-Спрингз. И будем мы барахтаться, плескаться среди разноцветных этих огоньков, отраженных в воде, и будет нам хорошо и радостно, потому что в глубинах под нами плавает белый зверь, прекрасное доброе создание — оно радуется вместе с нами, молодое и озорное, резвится, касаясь спиной наших ног. И оно только наше, темплтонское, и больше ничье.

***ПОДРОБНО И ВСЕСТОРОННЕ ИССЛЕДОВАННАЯ
РОДОСЛОВНАЯ ТЕМПЛОВ***



ЭПИЛОГ

И в день своей смерти думает Чудовище:

«Рыбы, рыбы, рыбы, рыбы и рыбы...

Скоро мрак рассеется, скоро солнце откроет глаза.

Станет скоро видно ему под глубинами извилистое пещеристое дно.

Только вот черной жуткой волной поднимается во всем теле чудовища боль...

Как увидит оно скоро ноги людей, барахтающиеся там наверху, на блестящей яркой поверхности, и как всегда нравилось ему наблюдать за этим барахтаньем, и как будет оно опять надеяться, что люди, чьи это ноги, вдруг забудут вынырнуть и начнут тонуть.

Как тонут люди и кричат под водой, рая булькающими своими криками слух чудовища, а потом перестают они кричать и барахтаться.

Как несется тогда чудовище с проворством мелкой рыбешки к такому вот обмякшему безвольному телу и хватает тонущего своей коротенькой ручкой.

Как разглаживается тогда искаженное страхом лицо человека, и воцаряется на нем выражение мира и упокоения.

И как любит чудовище их, этих беспомощных бездвижных человечков, как гладит их по волосам, шевелящимся словно водоросли, как прижимает их к груди, грея их тепленькими тушками свое огромное холодное тело.

И вот снова боль, жгучая нестерпимая боль...

И как иногда эти крохотные мертвые человечки срываются с привязи из водорослей, которыми опутало их чудовище, с тем чтобы они не всплыли на поверхность, ибо даже когда они синеют и лишаются плоти, чудовище все равно любит их.

Даже когда остаются от них одни только отполированные водой и водорослями блестящие кости, чудовище все равно любит их.

И опять боль, боль, боль, ужасная нестерпимая боль...

И когда остаются у чудовища только эти хрупкие косточки, оно бережно берет их и стаскивает к отмели у каменной башни, что соорудили люди всего каких-то два сердечных удара назад, и там хранит чудовище свои сокровища, заботливо очищает их от озерной грязи и укладывает осторожно рядами в илистое дно.

Вот опять пришла боль...

И издает тогда чудовище трубный звук, и трехмесячный запас воздуха вырывается из его пасти, устремляясь к поверхности озера пузырящимся булькающим столбом.

И не хватает сил чудовищу преодолеть расстояние от мрачных подводных глубин к яркому свету, чтобы снова набрать там в грудь воздуха.

Боль теперь все сильнее, приступы ее все чаще, все крепче и мрачнее...

И вспоминает чудовище звуки, что слушало по ночам, звуки Темплтона, звуки жизни людей — как они дышат, двигаются, говорят — и звуки рыб, что обитают в древесной листве.

Совсем почернела боль...

И вот уже меркнет взор чудовища, и силится оно всплыть на просвет.

А вот и последняя мучительная корча.

И какое-то маленькое незнакомое существо с такой же длинной шеей и такими же короткими ручками, подплыв к расплзающемуся пятну крови, смотрит удивленно, моргая любопытными пытливыми глазками.

Большое древнее чудовище и чудовище-малыш смотрят друг на друга.

Устремляется кверху, всплывает большое чудовище, успевая только заметить на прощание, как малыш щелкает чернозубой пастью, хватая проплывающую мимо рыбешку.

И пока опускаются складчатые веки большого чудовища, звучит у него в ушах воспоминание о музыке, что всегда была там, за поверхностью, — об этом сложном и причудливом смешении звуков ветра, человека, животных и всякого другого.

И помнит чудовище, как музыка эта долго спасала его от одиночества.

Думает об этой музыке чудовище, и окутывает его тьма, даже здесь окутывает, на свету, куда оно все-таки успело всплыть.

Тьма окутывает его, а вода вокруг пронизана великим множеством светлых лучиков.

Как же прекрасен он, этот мир.

Как прекрасен.

Прекрасен...»

ОТ АВТОРА

Огромнейшее спасибо всем сотрудникам «Гиперион» и «Войс», чей усердный и кропотливый труд сделал эту книгу сильнее, но особенно моим ударникам — моему гениальному редактору Памеле Дорман и издателю Эллен Арчер, которые уверовали в успех этой книги с самого начала. Отдельную благодарность хочу выразить ассоциативному редактору Саре Лэндис, директору по рекламе издательства «Войс» Бет Гебхард, моему личному агенту по рекламе Элисон Макгихон, моему литературному агенту Биллу Клеггу, который улетел в Луисвилль, навсегда снискав мое восхищение, и всем сотрудникам редакции — Амод Джамаль Джонсон, Джесси Ли Керчиваль, Рону Кука, Джудит Клэр Митчелл, Робу Никсону и Рону Уоллесу.

Особую признательность я выражаю Лорри Мур за ее невероятную доброжелательность и мудрость, участникам проекта, с которыми я крепко подружилась, а именно — Стефану Бедфорду, Кристоферу Кэнгу, Анне Поттер и Рите Мэй Риз, перед которыми я останусь в вечном долгу, Кевину А. Гонзалесу, настоящему другу, на которого можно положиться в любой ситуации, Йедцо и «Вермонт студио центр» (истинному раю для голодных писателей), Энн Эк-стон и всему Отделению художественной литературы университета Луисвилля за неоценимую поддержку и поразительный дух сотрудничества.

Огромное спасибо всем моим друзьям, которых я забросила, пока писала книгу, и особенно Кэти Харпер и Джейми Мьюэль, Лизе Тревер, Мегану Перильо и Джеффу Дину — за то, что, не жалея себя, по ночам просматривали готовый материал, и прототипам «молодых побегов» — Пэту Дитцу, Донни Радцатцу, Джерри Гроффу, Мики Стейну, Бобби Снайдеру и Биллу Штреку — за то, что подстегивали меня всю дорогу.

Я благодарна моему мужу Клэю, нежному великану, первому, кто прочел мой труд, и вообще моему самому любимому человеку в мире, моим отпрыскам Адаму и Саре — зато, что мужественно голодали, пока мама работала, Куперстауну и всем людям, кто живет или раньше жил там или просто хотя бы чуточку любил наш городок.

И наконец, самое огромное спасибо и низкий поклон моим родителям, Джералду и Джанин Грофф, — за их безграничную любовь, за поддержку и за то, что подарили нам в свое время такое бесценное сокровище — наш

родной городок.

Примечания

1

Право первой ночи *(фр.)*.

2

Дорогой господин Лё Куа! *(фр.)*

3

Господин Шарль Де Ла Валле *(фр.)*.

4

Дорогая госпожа Грейвз *(фр.)*.

5

Библия короля Якова. Перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I и выпущенный в 1611 г.